



СОГЛАСИЕ

Дмитрий Шеваров

СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ



Дмитрий Голубков

«ГДЕ ЖИЗНЬ ИГРАЕТ РОЛЬ ПИСЦА»

(Абрамцевский дневник)



Юрий Казаков

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ



В. Кардин

В РУБРИКЕ «ВНЕ КОНТЕКСТА»



5' 1993



СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

№ 5 (22). МАЙ 1993 ГОДА

МОСКВА. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОГЛАСИЕ»

В НОМЕРЕ:

Дмитрий Шеваров
СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ

3

Наталья Аришина
«ЕХАЛ НА МАЛЕНЬКОМ ОСЛИКЕ ЛЕКАРЬ...»
Стихи

37

Д.м. Голубков
«ГДЕ ЖИЗНЬ ИГРАЕТ РОЛЬ ПИСЦА»
*Дневник. Вступительная заметка
и публикация Марины Голубковой*

38

Ю. Казаков
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Публикация Марины Голубковой

72

Ю. Казаков
ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ. *Рассказ. Фрагмент*

75

Л. Аннинский
КАЗАКОВСКИЙ ЗОВ

79

Евгений Шкловский
НЕДУГ. *Рассказ*

86

Владимир Леонович
ЗЕМНЫЙ СВЕТ. *Стихи*

97

Валерий Пискунов
ВИТЕК САЛОМАТИН. *Рассказ*

104

Ольга Ермолаева
«ЭТОТ ГОРСКИЙ, ЭТОТ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВОЗДУХ...»
Стихи

116

Роберт Штильмарк
ГОРСТЬ СВЕТА. *Роман-хроника. Продолжение*

117

Наталья Лаврецова
«МЫ ПРОКАТИЛИ МЕДЛЕННО ТЕЛЕЖКУ НАШИХ ЗИМ...»
Стихи

143

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери
ЦИТАДЕЛЬ. *Продолжение*
Перевела с французского Марианна Кожевникова

144

ПУБЛИЦИСТИКА

Валерий Алексеев
В ОДНОМ НЕМЕЦКОМ ГОРОДКЕ

169

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. П. Кузичева
«ВАШ А. ЧЕХОВ»
(Мелиховская хроника. 1895—1898). Продолжение

179

ВНЕ КОНТЕКСТА

В. Кардин
У ЗИМ БЫВАЮТ ИМЕНА

210

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман. Продолжение.*
Перевела с английского Юлия Муравьева

213

Дмитрий Шеваров

СНЫ О ЧЕМ-ТО БОЛЬШЕМ

Глава 1

ПРИМЕЧАНИЯ К ЛОСКУТНОМУ ОДЕЯЛУ, ИЛИ ОПРАВДАНИЕ ПРОВИНЦИИ

ПРОВИНЦИАЛ. Устар. Житель провинции, местности, отдаленной от столицы... Человек с ограниченными интересами, с узким кругозором и т. п. «Как все провинциалы, он не может один пить и есть, ему нужна компания». Чехов. Холодная кровь. «Послушай, ты, жалкий, несчастный провинциал...» Куприн. Черный туман.

Словарь русского языка. М., 1983, т. 3, с. 470

Вхождение в тему: судьба слова и загадка расширяющегося смысла

Фасмеровский словарь датирует приживание «провинции» русскому языку 1698 годом. Получается, мы на пороге трехсотлетия русской провинции.

Как административно-территориальная единица «провинция» в России не прижилась и со смертью Петра I должна была бы исчезнуть, выветриться из языка как понятие чужое и абстрактное. Но вот давно забылось, что губернии в 1719—1726 годах делились на провинции, а само слово, отлетевшее от земли и ни к чему толком не приставшее, — само слово благополучно бытует. Оно стало одним из тех престранных русских слов (вспомним хотя бы «интеллигенцию»), которые в каждом веке набирались нового смысла и давали название тому, что не обнималось никакими другими, пусть даже самыми острыми и отчетливыми понятиями.

Провинция попала в течение русской мысли, да так и завязла там. Она в большой степени плод русского ума, некий российский Солярис, существующий независимо от смены власти и проходящий где-то через нас. И это где-то еще предстоит определить.

* * *

Провинция — порождение не только российского ума, но и, что давно очевидно, необъятного простора, непостижимого одним, пусть даже гениальным умом. Эта земля является нам из космоса повседневности как населенное, обжитое, насиженное пространство на границе земного и душевного.

«Есть две России: одна — Россия видимостей... И есть другая... Россия существенностей» (Василий Розанов).

Поэтому примем как вышнюю данность: есть провинция и есть Провинция.

В местах, не столь от столицы отдаленных, весь XX век находили укрытие те, кто еще нес в себе крестьянское миропонимание или дворянский кодекс чести. Участь провинции — собирать обломки, рассыпавшуюся память. Поэтому, когда рухнул Союз, его обломки, его потрясенные и надорванные интеллектуальные частицы, рухнули в провинцию и были подхвачены этим течением. Не надо ждать, что

завтра все «общечеловеческое», всемирно ценное будет вынесено вновь на поверхность, к берегам столицы. Многое навсегда останется втуне. Но ведь останется! И в этом сокровении, укрытии за пеленой дождя и километрами размытых дорог, — в этом одна из непознаваемых извне тайн сбережения самой России, страны, живущей на периферии материального процветания, но не на периферии духа.

Запад всегда упрямо смотрел на Россию как на вечную провинцию Европы, редко вспоминая о том, что в IX—X веках вся Западная Европа была культурно и экономически провинцией Византии. В разные эпохи близорукий взгляд на Россию опровергался отечественными мыслителями с разной степенью энергичности. Но всегда опровергался. Само слово «провинция» казалось обидно или даже оскорбительно неточным по отношению к великой державе, ощущавшей себя, и вполне справедливо, Третьим Римом.

Но попробуем же не смотреть поверхностно на понятие «провинция» как таковое. И тогда, согласившись с его крайне пространством значением именно для нас, узнаем в Провинции одну из ипостасей России и обернемся на себя как на законных обитателей этой открывшейся страны. То, что для чужих — дырка от бублика, для нас — родимая сторона.

Не найдя никакого применения в жизни социальной или экономической, «провинция» нашла пристанище в русской культуре. Смысл «провинции» усложнился необыкновенно. И сейчас это если и обозначение территории, то территории странствующей, скорее — глубинного течения. Такого же мощного, как Гольфстрим или течение Гумбольдта в Мировом океане. Его невозможно оценить с поверхности. Поэтому, когда вдруг иссякает интеллектуальный прилив к столице, кажется, что течение это остановилось или замерзло. Но оно теперь может замерзнуть только вместе с народом.

В провинции спасались ссыльные петербуржцы, эвакуированные ленинградцы и москвичи, духовные изгнанники столиц. Вместе с вологжанами, костромичами, свердловчанами и подлиповцами они варили ту кашу, ложку которой довелось отведать и мне.

Эта бесплотная интеллигентская каша лишь частично перетекла в устный эпос и еще меньше — в письменный. Все уходило в маленький, но поступок, в незаметное, но дело. Воплощением духовного дела оставалась подаренная городу библиотека или спасенная икона. Или оставался жить дальше человек, спасенный от расстрела или вылеченный от тяжелой хвори. Или учитель оставлял учеников, людей, не проштампованных официальной школой, с нездешней порядочностью и некими «правилами жизни»...

Часто все это пропадало, пропадало порой на глазах того, кто каждодневно в течение десятилетий совершал свое духовное движение. Надо было иметь иноческую душу и солдатское сердце, чтобы стерпеть уничтожение трудов своих. Но терпели и шли дальше — с той же мыслью, с тем же незлобивым отношением к близким. Шли от затопленных городов и деревень, от сожженных библиотек и просто от порушенного дела...

Почвенность, консерватизм провинции не в том, что она тянется к «старым порядкам». Почва ее не в идеологии, а в ландшафте. Можно спалить усадьбу, дом, собор, можно вырубить парк и снести бульдозером кладбище. Исчезнет человек и даже последнее его пристанище, исчезает последний свидетель его трудов, все будет, кажется, утрачено... Но странным, неведомым нам пока образом человек переходит в ландшафт, в дорогу, в поле, в кромку синего леса. Природа ничему не дает исчезнуть.

В этом и есть главная, непридуманная сила нашей провинции — в близости приливов и отливов, в близости тайги, степи, ночного

звездного дыхания... Все ближе и острее, и сутки здесь длиннее для того, кто слышит всю огромность окружающей тишины. Такими сутки будут для всех землян, когда Луна уйдет по спирали от нашей планеты и умерится тяжесть приливов...

* * *

Для меня провинция — родина. Все это так понятно, но почему-то очень трудно объяснить степень этого родства. Как объяснить родство с любимой липой под окном, с дощатым тротуаром, с привокзальной площадью? Как объяснить и не впасть в мемуары?.. В провинции человек, говорят, рано старится и оттого так рано становится податлив на воспоминания...

Наши представления о Провинции, кажется, навсегда лишены цельности. Они лоскутны, как лоскутное одеяло. В моем одеяле тоже один лоскут больше, другой меньше. Один шит из темного, другой из светлого. Один лоскутик праздничный, другой — холщовый, будничный. С него и начну, с холщового.

ЛОСКУТ ПЕРВЫЙ

... Сегодня мне снилась наша дверь в городке К.¹, так подробно — как карта. Со всеми трещинками, царапинами, почтовым ящиком. Увидел себя, стоящим перед этой нашей дверью. Почему-то я не могу ее открыть. Стою и посматриваю в коридорное окно — не идешь ли ты. Ненавистная улица Победы — вся в бараках, вся в снегу — лежит пустая. Я заглядываю в дырочки почтового ящика — там письмо, а может, два.

Сапоги невероятно скользят на дороге, и я иду в библиотеку сугробами. За баней сугробы мелкие, стаявшие, и пар из форточки, пар из вечно дырявых труб прижимает к моему лицу что-то тухлое. Я бегу по сугробам и выхожу к спортшколе. В левом крыле — знакомая дверь без табличек. По присыпанному снегом крыльцу я понимаю, что там никого нет. Можно только в окно посмотреть на стеллажи. Я смотрю и ухожу.

Здесь пекут плохой хлеб, но я привык к нему. В тоске я прохожу мимо булочной и выхожу на перекресток. Киоск «Союзпечати» стоит здесь как пень на поляне. Киоскерши нет, я прижимаюсь к стеклу и вижу пластинку Визбора. Визбор по-свойски смотрит на меня. «Ну что, дружище?» — говорит он мне. «Ну что, дружище... — говорю я ему. — Твою пластинку я купил. Потом вернулся и, ты знаешь, еще одну купил. Всего на шесть рублей. Вторую подарю кому-нибудь. Скоро Новый год. Я подарю пластинку родителям. А сам я слушать тебя сейчас не могу. Мне сейчас, понимаешь, плакать нельзя. Ни в коем разе нельзя. Служба такая. А тебя ставлю и... и не знаю, брат, что делать с собой дальше. Этот город меня сводит с ума. Здесь рыдать можно с утра и до ночи. А потому — помолчи пока. До лучших времен. Ты же верил в лучшие времена...»

Я иду пешком на другой край поселка, там районная библиотека. Где-то напротив живет наш прапорщик, завскладом, тощий такой человек. Он ко мне хорошо относится, но я не хочу его встречать. Поэтому я иду дворами. Я петляю, как партизан. Иногда мне жутко хочется быть партизаном, уйти с оружием в лес. Чтобы меня ловили, чтобы меня боялись, чтобы на меня охотились все встреченные мной здесь негодяи...

¹ В 1984 году, после университета, я был призван в Советскую армию и служил (до 1986 года) командиром взвода внутренних войск неподалеку от Красноуральска (примеч. автора).

Потом я иду через парк. Я вспоминаю, как мы сидели в этом парке на скамейке. Какой был теплый поздний вечер. Как провожали мы молча еще голубое небо, уже мрачающееся по краям. А в душе был Визбор со своим «Когда мы уедем, уйдем, улетим...».

Вторая библиотека была больше и оттого пустыннее. Я переставлял уже знакомые книги, жадничал, опьянялся, откладывал в стопку, стопка вырастала в кипу. Потом я делал более жесткий отбор и уходил с пятью—шестью книгами.

Я нес «Былое и думы» и чуть не свалился в темноте, у черной ямы стоял еще кто-то. Мы заметили друг друга и дальше пошли вместе. Старик астматик держал меня за локоть, и так мы шли осторожно, пока он не сказал: «Кажется, это мой дом...» Потом мы встретились еще много раз, он как-то зазвал меня к себе и показал мне под великим секретом величайшую свою драгоценность — доклад Хрущева на XX съезде. Издание под грифом — для делегатов. Старик в самом деле был делегатом.

Я подошел к нашему дому и увидел, что наше окно горит знакомым оранжевым светом. Ты пришла... Я попробовал побежать, неловко прижимая к шинели толстые книги. И, конечно, свалился у поворота на нашу тропинку. Больше всех пострадала книга о капитане Скотте. Потом я сушил ее на батарее. И наткнулся на строчки из дневника капитана, погибавшего в одиннадцати милях от склада изобилия: «Боюсь, что мы погибнем... Но мы побывали на полюсе и умрем как джентльмены. Жалею только о женщинах, которых мы оставляем...»²

Под ночь надо было уходить на проверку по караулам. Я нашел сухие портянки, втиснулся в сапоги. Ты уже спала, я погасил свет и немного постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. Я протянул руку к батарее, взял горячую книгу о замерзшем Скотте и положил на подоконник.

Это была, кажется, наша третья провинция. Сейчас мы живем в четвертой. Четырежды провинциалы...

Избранные примечания к первому лоскуту:

¹. Город К. — город Красноуральск Свердловской области. Населения 40 тысяч человек. Почти все взрослое население работает на медеплавильном комбинате. Средняя продолжительность жизни красноуральцев — 45 лет.

². Книга о капитане Скотте—Г. Ладлем. Капитан Скотт. Л., Гидрометеиздат, 1972.

ЛОСКУТ ВТОРОЙ

Только недавно я осознал, что мое детство прошло в месте необычайно глубоко, в чем, конечно же, нет никакой моей заслуги. Просто так получилось. И теперь я часто ловлю во сне или наяву подспудные толчки, идущие ко мне от обхоженной мной земли. И долго мне думать, что значат эти теплые, ясные душе, как сейсмографу, толчки? После этого я обычно стараюсь взять билет и ехать к дому своего детства. Только там, стоя у реки или сидя под нестареющей липой в нашем дворе, я чувствую свою уместность. Все принимает меня здесь, и мне не надо объясняться здесь ни с камнем, ни с деревом, ни со здешним жителем.

Я слишком маленьким когда-то уехал отсюда и только потом узнал, что на месте стадиона, рядом с нашим домом, — был Духов монастырь. Что через два дома от меня жил тогда Виктор Астафьев, а через два квартала — Николай Рубцов.

По нашей улице Жданова, бывшей Фроловской, а ныне Чехова,

спешил на вокзал, чтобы уехать в свою Тимонику, Василий Белов. А в доме на Пушкинской, рядом с магазином «Керасин» и моей школой, жили художники — графики Николай и Генриетта Бурмагины. В 1974 году они написали картину «Дорога». Черная, как ночная река, дорога, заметен только столбик с отметиной «42», сорок второй километр. Через несколько недель Бурмагин погиб в автокатастрофе на шоссе Вологда—Ферапонтово, на том самом 42 км... Гета Бурмагина умерла 10 лет спустя... По печальной прихоти судьбы мне пришлось в «Комсомолке» писать о гибели во время майских боев в Тирасполе 23-летнего Федора Чернавского, племянника Николая Бурмагина...

Вокруг меня жило много светлых, гениально светлых людей, которых я не знал. Но их присутствие рядом что-то творило во мне, со мной — то, о чем мне и сейчас не сказать, потому что не все угадано, не все открылось. И не все откроется. В этом тоже есть свой смысл. Тайна Места должна оставаться неразоблаченной тайной, как все детское, толкающее нас, взрослых, проникновенными, мгновенными толчками памяти. И в памяти этой, в личной нашей античности, в истории нашего древнего мира, — здесь лучше быть не археологом, а поэтом. Место нашего детского пребывания, потерянное во времени, обретается во всем своем обаянии и становится идеальной точкой **прибытия**...

* * *

... А я где-то жил на этой земле. Вот здесь, где пыльная дорога, а были деревянные скрипучие мостки. И здесь, где заросший пустырь, а был овраг, и текла крошечная речушка Копанка, и были две наши грядки с луком, горохом и клубникой. Копанка теперь в трубе, течет под землей. И там же потерянные нами когда-то мячи, воланы и все, что лежало в сломанных в одночасье сарайчиках. Прадедовы сундуки, длинные рогатые палки для подпирания по пятницам бельевых веревок, журналы «Огонек» за сорок девятый год, красные пластмассовые конники...

Из каталога беспочвенных вологодских радостей¹... Стародавняя вологодская радость — прийти на берег, на Соборную горку, и побродить здесь с детьми, стариками, щенком или просто в одиночестве. Горка сама по себе невелика, кажется, одно название, что горка. Но когда стоишь здесь один или за руку с любимой, а позади тебя ясная и седая глава Софийского собора, то осыпается с души все, что мешает ей быть душой. Ты вместе с Софией, вместе с этой горкой держишь низкое небо и понимаешь, что ничего важнее быть не может. Небо здесь низкое, северное, его надо поддерживать.

Года три назад здесь все было перерыто — укрепляли берег. Но теперь снова так, как было, даже лучше. Родник под горкой обложили круглыми валунчиками, и я впервые увидел, что бьется он сквозь песок, как пульс запыхавшегося на долгом подъеме человека, — часто-часто.

По вторникам в картинной галерее — выходной. Но если на вахте тетя Катя и она увидит, что вам и вправду сильно-сильно хочется взглянуть на картины и особенно на одну, то она со вздохом пропустит.

Вот они, родимые, все на месте. Не уплыли на Запад и не скуплены еще «воротилами». Вот Юон, Врубель, левитановский этюд с сарайчиком и портрет грустной дамы с сыном «неизвестного художника пер. половины XIX века» тоже на месте. Мальчик с портрета все так же смотрит на меня, подперев рукой голову. Узнаешь? Ты не должен меня забыть, ведь когда-то я, наверное, чаще других вологодских мальчишек появлялся перед тобой и стоял рядом гораздо дольше, чем заграничные туристы.

Или:

Сумасшедшая синица
 Бьется клювиком в окно,
 Видно, выход здесь ей мнится.
 Но избавленья не дано.

Это тоже нечто чисто вологодское: ранний талант на фоне смутной эпохи. Шаламов в «Четвертой Вологде» вспоминает, как в 18-м году в городе появился «литературоведческий Моцарт» Алеша Веселовский, имевший в десятилетнем возрасте научные публикации.

Шаламовский дом — сразу за собором. В соборе много лет служил отец Варлама Шаламова. В 18-м году отца лишили службы, семью обобрали, и десятилетний Варлам пошел торговать пирожками на рыночную площадь, переименованную в Площадь борьбы со спекуляцией. На торговцев устраивали облавы, загоняли всех во двор ярмарочного дома и отпускали по одному. Или не отпускали. Но спекуляция взяла исторический реванш. В июле 92-го на вологодском рынке беззастенчиво торговали детским питанием с надписью «Помощь ЕС России». Российские мамы подходили, спрашивали почем и отходили. Им бы чего попроще: картошки, к примеру.

Возьмем лодку на лодочной станции. На ней можно плыть от моста к мосту, от церквушки к церквушке, от вечерней зари до первой звезды. Можно долго плыть и бесконечно долго думать, отчего на земле, где всегда туго с самым насущным и безропотные очереди в час подвоза хлеба тянутся по каждому райцентру, — отчего эта земля не устает рожать идеалистов? Отчего Люда Валькова просит от жизни лишь одного: права прийти поутру в свою галерею и сесть за рояль? Отчего наместник президента на вопрос: «Чего вы ждете от жизни?» отвечает мне: «Я жду гения...» Отчего в здешних очередях стоят порой так сосредоточенно и торжественно, будто в храме?

Когда я был в Вологде, нагрязнули поразительные для июля холода, столбик термометра не поднялся выше +12 градусов, а актеры драмтеатра играли премьерный спектакль на открытой площадке, в вологодском кремле. На деревянных скамейках, прижавшись друг к другу, сидели полузамерзшие зрители и смотрели пьесу о Дионисии. Декорациями были стены, купола Софии и вечерние облака.

Автор пьесы стоял в одиночестве на Соборной площади и ждал московских театралов, обещавших посетить провинцию по поводу премьеры. Гости не приехали.

В Вологде никогда не было мятежей. Никогда. Им говорили лет двести подряд: вы живете погано, бедно, скверно... бунтуйте, и будет свобода, будет радость. Отчего же вы, право, такие...

Власти принимали молчание за покорность и ссылали сюда политических, хорошо зная, что сколько на Севере ни митингуй, а из валенок не выпрыгнешь. Герман Лопатин, Воровский, Луначарский, Савинков, Бердяев, Сталин... Последним знаменитым ссыльным здесь был Иосиф Бродский². Транзитом через вологодскую тюрьму его отправили в архангельскую деревню.

Стихи питерского «тунеядца» ходили в списках по вологодским институтам, впрочем, как и многие стихи Рубцова. Одно другому не мешало. Почти в один год они потом исчезли из страны: Бродскому выпала чужбина и Нобелевская премия, Рубцову — местечко на Пошехонском кладбище³.

Последняя вологодская радость — переписать в заветную тетрадку хорошие стихи. Такой вот получился каталог радостей. Экстрасенсы говорят, что Вологда — холодное, глубокое место. Холодное и глубокое для души. Поэтому у человека должно быть здесь много всего теплого⁴.

Из примечаний ко второму лоскуту:

¹ Вологда — один из древнейших городов России. Датой основания принято считать 1147 год. В XIV веке стала предметом распри между Москвой и Новгородом. Через Вологду шел прямой путь из Москвы к Белому морю — главная дорога в Англию. Иван Грозный построил здесь «запасную столицу» на случай повторного бегства из Москвы (в 1564 году он бежал в Александрову слободу).

² Иосиф Александрович Бродский содержался в вологодском изоляторе в 1963 году на пути к месту ссылки в деревню Норенскую Архангельской области. В «Речи о пролитом молоке» Бродский вспоминает «вологодскую стражу».

³ В 1971 году погиб Николай Михайлович Рубцов, в 1972-м выслали И. Бродского.

⁴ Внутренняя молитва провинциала могла бы звучать так: «Укрепишь, ибо никто тебя не укрепит! Удержишь своих правил, ибо никто тебя не удержит! Не утешь ни толики любви к ближнему, ибо найдется всё, кроме утраченной любви! Не суди соседа, смутную эпоху или судьбу, да не судим будешь! Собирай и храни все разбросанное людьми, стихией или временем, ибо, если ты не соберешь и не сохранишь, никто этого не сделает так, как это сделаешь ты! Не мучайся безвестностью и хулой на труды твои, ибо воздастся по плодам трудов твоих! . . .»

* * *

. . . Ты скажешь, читатель: «Вот куда тебя занесло! А где неустроенность, бездомность, хамство, тупость провинции? . . .» Да-да, тупость, грязь, поножовщина и затравливание умных свободных людей — все это, увы, есть, и я знаю об этом . . . Но мы же сразу договорились обдумать существование Другой Провинции — мыслимой и, вероятно, оттого недооцененной и недооткрытой. Как говорил юный петербургский доктор Эдик Дюков, исходивший Вологодчину от одного больного ребенка до другого: «Давайте говорить о благородных людях! . . .» Так он останавливал тех, кто говорил при нем о мерзавцах и подлецах. Вслед за Эдиком, внезапно умершим два года назад двадцативосьмилетним, я скажу: «Давайте говорить о провинции благородных людей!»

ЛОСКУТ ТРЕТИЙ

В маленьком поселке Псковской области Изборске¹, когда-то знаменитом русском городе, каждому знакомо имя учителя Александра Ивановича Макаровского. Его ученикам уже под семьдесят лет, а помнят все.

Макаровский был сыном священника, закончил Псковскую духовную семинарию и Петроградскую духовную академию, в 16—17-м годах читал лекции по русской истории в Псковском землемерном училище, а 1 ноября 1919 года был назначен заведовать изборской школой. Изборск тогда оказался на территории Эстонии, и все годы вплоть до второй мировой войны Макаровский был здесь хранителем русских традиций, языка. В Таллинне ему удалось издать два учебника словесности для русских школ, и до 39-го года преподавание в изборской школе шло на русском языке. В округе бережно сохранялись православные храмы, и до наших дней дошли все сорок четыре часовни. Каждого, кто попадает в эти места, охватывает ощущение, что время здесь счастливо замерло. Люди ходят в те же церкви, что и до революции. Вокруг тот же пейзаж с озерами и холмами, с Тудоровым крестом на здешнем кладбище.

Иван Шмелев, побывавший в Печорах и Изборске в начале осени 1936 года, ходил здесь со слезами, с комком в горле, а последние его

слова в очерке об этой поездке были такими: «И стало так покойно, укладливо, уютно на душе и во всем существе моем, будто все кончилось и теперь будет настоящее».

После войны Макаровскому не дали возможности продолжить работу в изборской школе, и он вынужден был ходить учительствовать по соседним деревням. Потом его арестовали, забрав весь уникальный архив. После освобождения Макаровский преподавал в Духовной академии в Ленинграде. Архив ему так и не вернули.

В Изборске любят вспоминать еще об одном человеке — о Павле Мельникове. Его картины висят почти в каждом доме. А еще они есть в Третьяковке, во многих зарубежных коллекциях. В изборском краеведческом музее бережно хранятся его краски, этюдник, медали. Мельников был фронтовиком, инвалидом 2-й группы. В самом начале войны был ранен во время эвакуации госпиталя через Финский залив, транспорт был разбит, и Мельников четырнадцать часов плавал в холодной воде на матраце. После долгого лечения осел в Изборске, работал учителем труда в местной школе, пристрастился к рисованию. Умер несколько лет назад уже знаменитым самодеятельным художником. Картины землякам дарил, а приезжающим продавал за символическую плату. Максимум, говорят, за пятьдесят рублей.

* * *

В сороковых — пятидесятых годах главным лесничим Кабонского лесничества в Кадуйском районе Вологодской области был потомственный дворянин, бывший офицер русской армии Павел Александрович Березин.

Вот что рассказывает о своем дед, петербургском дворянине, вологодская учительница Татьяна Гоголина: «... Обычно выпивший сосед, желая поругаться, тут же извинялся и успокаивался, когда дед вежливо начинал с ним разговор. Дед не позволял никаких выпивок. Вино, так называемый кагор, появлялось в нашем доме два раза в году — в два самых больших праздника — в Рождество и в Пасху, остальные праздники справлялись вообще без вина. Кагор наливался взрослым в маленькие рюмки, пили его торжественно, молча и с молитвой...»

В школе дадут список литературы, а дед рекомендует свой, и книги деда было сложнее найти, и они были куда интереснее. Он обучал меня немецкому, французскому и латыни... Дед занимался со мной по книгам «Школа изобразительного искусства», подарил мне этюдник, собрал для меня коллекцию репродукций и библиотечку книг по живописи. Занимался он с нами и музыкой, обращал всегда внимание на передаваемую классику по радио, научил играть на балалайке, подарил самоучитель игры на гитаре и гитару. В раннем детстве он познакомил меня с Библией. Дед был пророком — он предсказывал, что вернется то время, когда люди снова обратятся к Богу, поймут, что смерть — это переходный период жизни. Говорил, что не может быть, чтобы жизнь была только на планете Земля.

Будучи бедным лесничим, дед мой не вызывал особых подозрений и за себя он не боялся. Но скрыть свою культуру он, конечно, не мог. Люди приходили за советами по садоводству, за саженцами и рассадой, за лекарственными травами. Он никому ни в чем не отказывал. Нас учили уважать бедных и старых людей, почитать их. Даже в юности, когда я ходила в баню, обязательно мыла какую-нибудь старушку, помогала ей одеться и провожала домой, порой до соседней деревни.

«Чистая совесть — самая мягкая подушка», — говорил дед. «Не быть мещанами, не жить ради живота, быть выше бытовой мерзости», — учил он нас.

Нынче много и грязно пишут о сексе, а у меня же был пример высокой и чистой любви деда к моей скромной бабушке, дочери рыбака. Они красиво и замечательно любили друг друга до последних дней своей жизни. У деда была любовь настоящего дворянина.

Его старший брат Борис, полюбив девушку, во время наводнения в Петербурге спас ее, а когда она через три года умерла от чахотки, не женился, так и остался верен своей любви...

Сергей Максимов писал: «...Растерявшимся в мыслях среди таких невзгод и злоключений не только всякий оберегатель и защитник, но и всякий советчик казался ангелом-хранителем. Те, у которых слово утешения соединялось с делом фактической помощи, порождали в народе искренние чувства беспредельного благоговения. На их могилах ставились неугасимые лампы».

Может показаться парадоксальным, но чем более страшные испытания обрушивались на российскую провинцию, тем чаще внезапно обнаруживались невесты откуда взявшиеся подвижники всяческого духовного вспоможения. И как не стоит деревня без праведника, так и каждый поселок, городок не выстоял бы без своих праведников. Их существование, их зримое присутствие в какой-то мере возмещало утрату храмов, даже если эти люди были совсем не священники и не читали никаких проповедей. Проповедью добра, примирения и христианской любви была сама их жизнь.

Эти люди часто не были местными, их ссылали или пригоняли по этапу или сами они бежали в глухомань, все потеряв в столицах. И вот эти чужие люди становились своими для всех. Они не несли в себе обиды на место, в которое их загнали, пафос их существования блестяще выразила Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях о ссылке: «На кого сердиться за подагру, за боль в сердце?.. На милый мой Кокчетав?.. А кто Кокчетав пожалеет?..»

«А кто Кокчетав пожалеет?»

Вот с чем в душе не «отбывали», а жили в провинции тысячи изгнанников из столиц. Они унесли с собой столичность дум и отношений с людьми, миром. Они не себя понизили до нравов «глуши», они эту «глушь» возвысили до собственной высоты. Рядом с ними невозможным стало совсем уже низкое падение. Строем своих мыслей и речью, обликом они диктовали **уровень**, достойный человека.

Сотни провинциальных одиноких подвижников могли бы сказать о себе словами отца Павла Флоренского, написанными им в декабре 1922 года: «Мое дело маленькое, моя короткая жизнь и мой человеческий масштаб; и я без раздражения и гнева, силою вещей, силою запросов жизни, сознав жизненную ответственность, просто отхожу от жизни — от жизни-забавы и живу по-своему»².

Из примечаний к третьему лоскуту:

¹ Изборск — поселок городского типа в Печорском районе Псковской области, центральная усадьба колхоза «Красный Изборск». Население на январь 1992 года: 921 человек. Летом 1965 года А. Тарковский снимал здесь «Андрея Рублева».

² Слова Павла Александровича Флоренского — из заключительной главы его малоизвестной работы «У водоразделов мысли». Опубликована во втором томе работ П. Флоренского, приложение к журналу «Вопросы философии». М., 1990.

ЛОСКУТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Я шел по маленькому спящему городу в раннее, еще темное утро. Я шел, отработав-отслужив свою ночь, и мне было хорошо оттого, что вот-вот я приду к дому, открою тихонько двери... Я упаду с первыми

лучами солнца и буду спать, пока меня не растрясет дневная жизнь. А пока я справился со сном и на морозе мне так ясно думается, я додумываю то, о чем думал под звездами. А думал я в ту ночь о том, о чем думал две и три ночи назад. Это были размышления с продолжением.

Я намеренно выбирал такие пространные темы, чтобы, во-первых, нельзя было бы ни при каких поворотах мысли прийти уж к особенно мрачным выводам, а во-вторых, чтобы в этом обмозговании все-таки был бы какой-то серьезный смысл. Обязательно серьезный, ведь под звездами, на караульной тропе в тайге, в полном одиночестве можно думать только о серьезных вещах. Юмор ночью спит, а тому, кто вынужден ночью бодрствовать, остается только философия. Днем эта философия может показаться невнятной и просто глупой. Очевидно, поэтому от моих титанических ночных бдений ничего не оставалось, кроме глупого отупения в затылке...

Но сейчас в голове была обманчивая ясность, когда кажется, что ты сон обманул, а на самом деле сон только потянулся за своим пустым пыльным мешком. Я шел мимо домов, знакомых до каждой матерной надписи и таблички «Дом образцового быта». Я знал, кто спит за каждым окном, а кто уже не спит и ищет спички на кухне. Я глядел на мельканье своей шинели в зашторенных наглухо окнах и думал обо всех спящих горожанах со странной, необъятной нежностью. Я думал: «Спите, милые, спите, вот эти часы предутренние — они самые замечательные, если во сне... Если не пробираться по сугробам спросонья... Спите, вы еще ничего не знаете о грусти предстоящего дня, о пропитом авансе, о правдинской передовой, которую нам прочитают — и не сопротивляйтесь! — прочитают по громкому заводскому радио. Вы узнаете, обязательно узнаете о передовых методах мелиорации или о борьбе с волками...»

О борьбе с волками я прочитал накануне в местной газете, и эти волки отравили мне всю ночь. Я их не видел и не слышал, но я почему-то очень хорошо представлял, как они меня окружают и я начинаю отстреливаться из своего «Макара». Я проверял наличие запасной обоймы и шел дальше.

Дома я вырезал заметку про волков и долго носил ее в кармане.

«... С 1 января нынешнего года в районе нашего города проводится двухмесячник по борьбе с волками. Чем это вызвано? Неоднократно в окрестностях деревни Ясьвы и поселка Высокого егери общества охотников и рыболовов замечали стаи, в которых насчитывалось от трех до пяти волков. На лесных угодьях медеплавильного комбината егерь Зуев обнаружил остатки от четырех лосей, задранных волками.

Серые разбойники нанесли урон совхозу «Верхнетуринский», который недосчитался четырех бычков из стада... И это примеры только по нашему району...» (из газеты «Красноуральский рабочий», январь 1985 года).

Волков я почему-то не очень боялся, и они мне не снились. Мне снилось что-то очень хорошее и далекое. Когда я просыпался, я хотел вспомнить, но не мог...

Баратынский писал о безумстве современной ему жизни, когда каждый год, каждый возраст надо оплачивать судьбе «золотыми снами»¹. Снами о лучшем, «о чем-то большем», как пел Б. Г.

Сны Провинция — самая неподатливая и скрытная часть нашего мыслимого материка. Они настолько не от мира сего, что высказать их, описать словами этого мира невероятно, невозможно. Если бы это удалось, весь язык переменялся бы от такого внутреннего возрастания, набухания и прорыва из сокровенного в явное, письменное...

Из примечаний к четвертому лоскуту:

¹ Вот что писал Е. Баратынский в 1825 году:

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас.

Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

ЛОСКУТ ПЯТЫЙ

*В лучезарных пространствах Святой
России осуществлены прекраснейшие го-
рода . . .*

Д. Андреев

Российский энциклопедист профессор-самоучка Петр Колесников¹ много лет выяснял закономерности, по которым рождаются и умирают северные деревни. По летописям он установил, что 5600 только вологодских деревень были основаны еще до XVII века, а две — до XII века. Эти, самые древние, деревни оказались и самыми жизнестойкими. Они были построены в таких экологических нишах, которые обеспечивали автономность их существования в любых политических и экономических условиях. Они стоят на берегах рек или озер, на пересечении старых или современных дорог. Теория Колесникова о выживаемости древних населенных пунктов приложима и к самой Провинции как явлению системному². И тогда речь прежде всего должна идти о выживаемости духовной. Очевидно, что сейчас легче дышится и думается в древних городах, стоящих на «глубоких местах» и сохранивших свое лицо, внутреннюю суть. Самые древние выживают и в самые смутные времена. Эти города уже не станут мегаполисами, пик их расцвета остался далеко в веках. Но они будут жить и, возможно, переживут еще и города-гиганты, построенные в двадцатые — тридцатые годы по соображениям хозяйственной целесообразности. В древних городах, чаще всего ставших сейчас заурядными районными центрами, скрыт огромный запас прочности. Эта прочность в родниках, веками бьющих из земли, и в духовных источниках, незаметных постороннему. Но даже приезжий чувствует на себе духовную ауру старого города, **обаяние места**. Эта незримая духовная защита оберегает местных жителей от превратностей века. В ненавистном многим политикам консерватизме провинции скрыта тайна устойчивости самого государства.

Духовный климат древней нашей провинции сложен из нажитого поколением иконописцев, книжечеев, собирателей, мыслителей. Местные архивы хранят лишь малую толику ими свершенного. Сколько уникальных свидетельств, не прочитанных никем трактатов, сколько духовных открытий, запечатленных в письмах, обратилось в пепел при пожарах, войнах, переездах XX века! Но сколько еще живо в семейных архивах, сколько еще преданий старины глубокой и не очень глубокой можно было бы спасти сейчас, если бы не страшная традиция пренебрежения Провинцией. Эта традиция оставила в безвестности имена и дела стольких пророков и делателей! И сейчас нам трудно представить, что мы потеряли.

Провинция XIX века яснее нам, чем духовное пространство России нашего века. В этом наша обездоленность — мы не услышали, не при-

няли поданные нам откровения. Мы принимаем и слышим громкое, долетевшее извне. И только в редкие минуты просветления мы начинаем слышать и понимать события происходящего рядом.

Когда-нибудь, в лучшие для России времена, будет собрана и издана Энциклопедия русской провинции, где наши дети найдут утраченные пока нами имена и смыслы. Смысл дома, смысл вечерней книги, смысл сумерничания на крыльце перед ликом заходящего солнца, смысл любования красотой привычного, смысл всякого личного движения к истине, к преодолению предписанного географией или историей прозябания...

Открытием для всего мира могло бы стать издание «Истории Провинции» в письмах, свидетельствах, документах духа. Первую попытку собирания такой истории предпринял Петр Колесников в Вологде: он собрал и подготовил к печати переписку русских солдат-вологжан с родными за все четыре войны нашего безумного века — от русско-японской до афганской.

Получаю от восьмидесятипятилетнего Петра Андреевича поздравление с Новым годом (на открытке 1935 года!), он пишет: «С первого января по сей день пишу поздравления и письма. Написал уже более 70. Рукопись закончена, но как издать? Спонсоров нет...»

Из примечаний к пятому лоскуту:

¹ Колесников Петр Андреевич — 85 лет, профессор Вологодского педагогического института, крупнейший специалист по истории северного русского крестьянства, председатель Северной археографической комиссии АН России. В 1992 году Кембриджский университет назвал его «человеком года». Последняя его книга «Родословие вологодской деревни» (Список древнейших деревень. Вологда, 1990) стала библиографической редкостью.

² Кроме теории Колесникова, к провинции как феномену применима и популярная в современной географии теория центральных мест Вальтера Кристаллера. По этой теории города, называемые центральными местами, организуют вокруг себя территории в форме круга или шестиугольника. Само расположение городов на территории также должно в идеале образовывать правильную гексагональную решетку, знакомую нам из школьного курса химии. Такое расположение создает наилучшие условия для транспортного сообщения и обеспечения всей территории наименьшим числом центральных мест.

Эта теория в какой-то степени приложима и к обоснованию закономерностей духовной жизни на больших территориях. На огромном, вечно разорванном пространстве России духовную неразорванность создали древние города, оттесненные последними веками в тень, но по-прежнему обозначенные на карте российской Провинции как **центральные места**. Центральные для развития и сохранения мысли, культуры, традиции.

ЛОСКУТ ШЕСТОЙ

Была зима, когда я раза два в неделю попадал в гости к живущему в соседнем подъезде математику Александру Б. Он старше меня лет на десять, но со временем разница почти стерлась, мы всегда были на «ты» и говорили на равных. Вернее, чаще говорил Саша, а я вставлял короткие реплики или просто мотал головой, прихлебывая крепчайший чай и наворачивая варенье. Саша колдовал над кофе, поминутно вопрошая: «Ну, вот ты скажи как умный человек, почему Мишка такой осел?..»

То был период раннего Горбачева, ранних надежд, всеобщей предвыборной колготни. Саша был в вечной оппозиции. Когда-то он пере-

снимал на микропленку Солженицына, теперь он был в каждодневном удивлении оттого, что все запретное — во всех журналах и перечитать это невозможно. Но он честно пытался, выписывая все, на что могло хватить его преподавательской зарплаты: от «Век XX и мир» до «Знамени», «Нового мира», «Нового времени». Это было какое-то непрерывное упоение. Встречая у дверей, он крепко жал руку, оставлял меня на кухне, а сам скрывался в комнате, забитой книгами, и выходил оттуда, победно потрясая свежим голубеньким новомирским томиком: «Читал, а?! Ну, что делают, черти, а?! Нет, ну, ты скажи, что это значит, что там, в ваших сферах литературных, говорят — надолго ли нам все это дали?! Я читаю газеты, ничего не понимаю, куда он клонит, а?..»

Саша давно мог стать профессором, но не был тогда еще и доцентом. Он не вступал в партию, это раз. Он еврей по отцу и русский по матери, это два. Когда на каком-то собрании на него покатали «бочку», кто-то из коллег крикнул с «камчатки»: «Не трогайте Б.Б. настоящий русский мужик!..» Народ заржал, но по-доброму. Сашу любили, особенно «вечерники».

В ту зиму нас вместе «забрили» на офицерские военкоматовские курсы. Забрили, но не совсем. То есть каждый вечер после работы надо было ехать на другой конец города, за реку, в одну из «вэче» и там слушать в клубе какой-то бред. Просто ездить туда, чтобы отметить, — это было слишком утомительно. Саша быстро нашел очевидную пользу от бессмысленного убийства времени. Мы стали ходить на край города пешком. От самого дома и до КПП части — все пешком.

Со стороны это, очевидно, выглядело комично. Два человека стремительно выходят из дома и, шагая почти все время в ногу, пересекают почти весь город, ничего вокруг себя не замечая. Мы говорили! Это было пиршество общения, на ходу мы перелопачивали прочитанное, делали смелый, как нам казалось, анализ политической ситуации. Мы, кажется, ни на минуту не умолкали. Добравшись до «вэче», мы дремали, слушая майора, а потом снова отправлялись в пешее странствие, договаривая недоговоренное. Мы жили в каком-то лихорадочном предвосхищении царства разумного, ни разу не обсуждая зарплаты, цены, доходы и т. п. Нам казалось, что теперь мы все знаем и никто нас не заставит стать пешками...

Потом мы увиделись как-то несколько лет спустя. Саша стал доцентом, но погрузнел и, наверное, от этой грустной мины на лице, постарел. Он уже не таскал мне журналы из комнаты и ничего не спрашивал. Он порылся в пустом холодильнике, достал бутылку брусничного варенья: «Я помню, ты любишь...»

ЛОСКУТ СЕДЬМОЙ

В провинции можно обходиться без многих вещей, но невозможно без писем. Почтальона все знают, любят не только его анонимный приход, после которого можно вынуть из ящика удивительные сокровища, но любят и самого почтальона как такового. Даже если он пришел «пустой». Я помню, как зимой бабушка жалела нашу усталую почтальоншу, «ловила» ее во дворе, затаскивала к нам на второй этаж, поила горячим шиповником и выставляла пироги. Почтальонша смущалась, краснела, торопилась уйти, но бабушка, зная о ее бедности, умудрялась вручить ей сверток чего-нибудь вкусного с собой. Тогда почту носили еще два раза в день, сейчас в это не верится, но было, было еще в конце семидесятых.

... Это очень давняя история. Один человек пишет письмо, а другой вдруг находит его через полсотни лет. Как-то одна старая учитель-

ница¹ дала мне пачку писем: «Вот, собираюсь сжечь, а вы посмотрите, кроме меня, у этой девочки никого не было...»

— А где она сейчас?

— Ее давно нет на свете. Она умерла где-то далеко, кажется, в Ташкенте, в конце войны.

— А родные?

— Родители погибли раньше Тани. Отец был директором нашей школы — его расстреляли, а мать, учительницу, отправили в лагерь. Брат умер в госпитале. Никого не осталось...

— Только эти письма?

— Да, только письма и вот — одна фотография...

Я прочитал тогда письма, и с тех пор мне трудно убедить себя, что я не знал этой девочки, Тани Аристовой. Я нашел ее школу, ее составившихся одноклассников.

Мне показали класс, где она училась, и я долго смотрел из окна на ледоход и домики на той стороне реки.

— А за окном все было так же?

— Да-да, и тополя эти росли, только они были меньше...

Танины однокашники долго не могли понять, почему Таня, зачем эта дотошность в разговоре о ничем не отличившейся девочке, когда из класса вышло столько героев-фронтовиков и даже, говорят, один генерал.

Я и сам до сих пор спрашиваю себя: зачем? Зачем мне дано думать о Тане?

Из письма Тани Аристовой, выпускницы школы № 1 г. Вологды, своей учительнице М. Н. Богословской:

«Я получила письмо от мамы из Акмолинска. Пишет, что жива, здорова, работает. Несколько строк. Сколько вопросов подняло в моей голове это письмо... Я могла ей написать целую тетрадь. А написала листок. Я хотела написать о том, что пережила, перечувствовала за этот длинный-длинный год, а должна была написать лишь перечень фактов из моей, в сущности, ничем не замечательной годовой жизни.

Передо мной лежит фотография. Такую фотографию я на днях послала маме. Мне хочется послать ее вам. Что-то мне подсказывает, что посылать не следует, а сердце говорит другое. И все-таки я пошлю ее вам... 8 июля 1939 года».

Когда при невыясненных обстоятельствах разбивается самолет, то начинают искать «черный ящик». В нем запись переговоров экипажа с землей, последние данные приборов. Без этого чаще всего невозможно объяснить катастрофу, и поэтому ящик стараются достать и со дна моря.

Письма — это наш «черный ящик». Только они смогут объяснить что-то о нас тем, кто останется жить дальше. Человек, ушедший без писем, сродни пропавшему без вести.

Сжигающий письма всегда сжигает «черный ящик» памяти о ком-то... В дни потрясений в России всегда жгли письма. По столицам, усадьбам и дачам стелился дым, сокровенная история страны — история семейная, родовая, душевная — обращалась в дым Отечества. А то, что вольнодумцы не успевали сжечь, то приобщалось к «Делам». В русских письмах было слишком много политики, помыслов о рае земном, и государство всегда пыталось поставить под контроль это письменное брожение умов. По коридорам почтового ведомства с пушкинских времен бродила тень Медного Всадника.

История государства Российского, а потом и советского строилась на пепелище истории частной, семейной. После Декрета о земле за одно лето 18-го года были разорены почти все сто сорок тысяч российских усадеб. Многие сгорели вместе с библиотеками и архивами.

В принципе, все можно превратить в горсточку пепла. В XX веке

люди столько раз доказывали друг другу, что нетленного нет, но письма оказывали духовное сопротивление. Сколько раз это было в наших семьях: отец, брат, сын исчезал, погибал, вот уже и похоронку на него успевали вручить, а письма от погибшего шли еще неделю, две, а то и месяц.

После войн, бездомности, переездов, общежитских углов и макулатурных талонов в редких российских семьях остались архивы. Старики рвали письма пачками, а молодые радовались тому, что освобождается жизненное пространство. Это был какой-то бытовой атеизм, нравственная чудовищность, как говорил Тютчев, когда письма предков уничтожались именно потому, что предков уже нет на свете. Выцветшие хрупкие листки сжигались как частица упраздненного декретами нематериального мира, как улика духовности.

И вот сейчас, когда держим в руках немногие фотоснимки, пару случайно сохранившихся новогодних открыток, горсточку листочков, это бедное бессмертие наших дедов и прадедов, нас пронизывает жалость. Как мало, чтобы понять. А кто пожалеет нас, кто узнает о нашем бедном бессмертии? По каким листочкам люди будут догадываться о том, что с нами случилось? Не со страной, не с партией, а с каждым из нас? Неужели потомкам как знак времени достанутся лишь подшивки независимых газет, продовольственные карточки и пара мятых талонов на водку?

Друг другу пишут чаще всего люди, внутренне счастливые, им есть о чем рассказать, кроме как о ценах, словарный запас, видимо, еще с дорыночных времен остался. Любовь делала человека независимым от режима, от исхода выборов, от того, сколько у нас демократических партий. Влюбленные в разлуке зависят только от почты, а теперь еще и от инфляции, от новых границ и таможен, от пули-дуры... Или вот повысили цены на конверты и почтовые услуги, и сколько влюбленных по стране вздрогнуло, сколько стариков теперь вынуждены считать: два, три или пять писем в месяц они теперь могут себе позволить?

Так сложилась наша история: столько семей, столько близких, родных душ всегда у нас в разлуке, что письмо в России никогда не было чем-то бытовым, а только — надбытовым. Переписка — это истинно российский способ самосохранения.

Письма не приложение к гению, к таланту, они сами по себе — предназначение.

Мой юношеский друг Андрей², погибший девятнадцатилетним почти десять лет назад, писал мне письма, живя со мной в одном городе, учась на одном курсе и сидя каждый день рядом на лекциях. Возвращаясь домой, я часто находил в почтовом ящике письмо от Андрея, — незаметно для меня он приносил его и так же незаметно уходил сам.

Перед последней нашей встречей он позвонил, а потом вдруг приехал ко мне на другой конец города. Мы сели на кухне. Он молча глядел на меня, так, что я спросил: «Что-то случилось?» Андрей покачал головой: «Нет, мне показалось по телефону, что у тебя печальный какой-то голос...»

— Нет, это телефон такой.

— Будем писать?

— Да, мы будем писать друг другу.

На том и расстались. Он успел написать мне пять писем, а я, кажется, ни одного...

У Рахманинова есть такая запись: «Что за человек был Чехов! Теперь я читаю его письма. Их шесть томов, я прочел четыре и думаю: «Как ужасно, что осталось только два! Когда они будут прочитаны, он умрет и мое общение с ним кончится...»

Том чеховских писем был последней книгой, которую уже больно-му Бунину читала его жена Вера Николаевна.

От великих и невеликих остаются письма. Письма великих рано или поздно издаются. Письма невеликих рано или поздно исчезают.

Когда я учился в седьмом классе, рядом с нашим домом ломали целые деревянные кварталы, и моим любимым занятием было путешествовать по обреченным домикам в поисках, конечно же, клада. В нищих, недоломанных, еще теплых домах с лоскутами обоев на стенах, с открытыми настежь пустыми рамами почти везде на полу, у печек валялись брошенные письма. От сквозняков письма шелестели, ветер выносил их во дворы, и там они первыми погибали под бульдозерами. Я знал, что стыдно читать чужие письма, и не трогал...

Последнее Танино письмо, 29 мая 1944 года:

«... В эту минуту мне очень захотелось, чтобы со мною был папа. Даже заплакать захотелось. Никогда за все шесть лет я не ощущала так остро, что его нет вместе со мной и не будет...

Я не совсем последовательна, Мария Николаевна. 28 марта я вышла замуж.

Я говорила вам о запутанных своих личных делах, как я по-разному любила (а может быть, просто симпатизировала) двух своих товарищей. Мне хотелось, чтобы вы разобрались в этом... Вы тогда говорили, что все само собой разберется.

Когда я вернулась в Москву, меня ждало здесь извещение о героической гибели Сергея. Как было тяжело, трудно об этом сказать. Ведь я с таким прекрасным настроением приехала из Вологды, казалось — весь мир только для меня...

Потом я вспомнила, что у меня есть замечательный друг, который любит меня... В те дни я писала ему каждый день. Казалось, это были самые счастливые дни нашей любви.

А 25 марта совершенно неожиданно он приехал в Москву. Вернее, он был здесь пять дней проездом, он ехал в Ленинград на курсы. И я вышла замуж.

... Однако я не считаю, что поступила легкомысленно, что вышла замуж. Наоборот, я очень счастлива, очень порою сердце от этого больно сжимается — имею ли право на такое счастье? Для меня ново, что обо мне заботятся.

Ну, я не виновата, что я очень счастлива? Таня».

Когда смутно в стране и на сердце — пишите любимым. Пусть они далеко или рядом, в соседней комнате, — пишите. Попробуем, еще раз попробуем быть счастливыми. Счастливые ни в чем не виноваты.

Из примечаний к лоскуту седьмому:

¹ Старую учительницу звали Мария Николаевна Богословская. Ей довелось пережить многих своих учеников. До войны она преподавала биологию в вологодской школе № 1, директором этой школы и был отец Татьяны Аристовой — Аполосс Васильевич. Мать была учительницей начальных классов. В 37—38-м годах почти все учителя прошли через застенки НКВД. Прямо с пушкинского юбилейного урока увеличили учительницу литературы Зинаиду Алексеевну Чудинову. Богословскую через четыре месяца выпустили, родители Тани погибли.

Мне удалось найти двух одноклассников Тани Аристовой, но они ничего не смогли сообщить о ее судьбе. Она потерялась. Так без всякого следа погибла, исчезла целая семья. О таких семьях К. Паустовский писал: «За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительной валторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение. Такие семьи... были украшением провинциальной жизни. Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя, который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение, хотя бы для одного какого-нибудь города — скажем, Саратова, Киева или Вологды...» Паустовский выражал благородные пожелания, когда эти

семьи были почти поголовно вырезаны, разбиты, расстреляны, а в лучшем случае — рассеяны по стране...

² Мой друг Андрей Карликов, студент факультета журналистики Уральского госуниверситета, погиб на Алтае во время практики в 1982 году. Незадолго до гибели Андрей переводил стихи Стивена Винсента Бенэ:

Можно иметь громкие имена и громкие юбилеи,
Они сослужат свою скромную службу.
Можно сломать замок сундука
И завладеть его вином и золотом.
На это ничего не скажешь.
Но это — тело ее в объятиях —
Было лучше, чем молоко для ребенка
Или мудрость для старика.
Мы начинаем умирать с первым нашим дыханием,
А если умираем, что случается?..
Уже не будет так прекрасно,
Как тогда, когда я произнес ее имя во сне,
А проснувшись, произнес его снова.

Андрей был очень сдержанным человеком. Даже в его внешности главным была эта сдержанность. Он был похож на юного Шостаковича...

ЛОСКУТ ПОСЛЕДНИЙ — НА СЕРДЦЕ

*Родина! Еду я на родину!
Пусть кричат «уродина»,
А она мне нравится...*

Ю. Шевчук

Мой взгляд на Провинцию как на живое не является чем-то сверх-оригинальным. В одной из работ Иван Александрович Ильин пишет: «Россия есть единый живой организм. И с этого нам надо начинать. Это нам надо уяснить себе и укрепить в наших детях. Россия есть организм природы и духа — и горе тому, кто ее расчленяет!.. Это единство было прежде всего географически предписано и навязано нам землею. С первых же веков своего существования русский народ оказался на отовсюду открытой и лишь условно делимой равнине. Ограждающих рубежей не было; был издревле великий «проходной двор».

Вот эта натопанная веками местность, натопанная не только хозяйственно, но и осмысленная духовно, местность, укладливо помеченная святынями и проросшая отчасти в жития, а потом и светскую литературу, — все это и составило географическую территорию русской Провинции. Уникальность и неповторимость нашей Провинции — в ее пограничье с Провидением, с вратами, за которыми — сокровенные тайны Божии.

Очевидно, именно это соседство земного и духовного имел в виду Ильин, когда писал: «Территория перестает быть пространством, условно ограниченным таможнями... Она становится национальным наследием».

Трагедия сегодняшнего положения Провинции — в реальной угрозе ее деградации в некий огород, в котором каждой грядкой командует свое пугало. Но российская Провинция как территория странствующая, ноосферная, не может быть поделена «по справедливости» или по праву сильного.

За последние тридцать—сорок лет, в условиях долгого внутренне-го гражданского мира, создана достаточно прочная **материя** Провинции. Были сшиты, пусть и грубыми нитками, невозможное с возможным, деревенское с городским, аристократическое с плебейским, рабское с господским, белое с красным, самиздатовское с официозным, профессорское с эзковским. Сшитая, сработанная «рабами» Третьего Рима материя сосуществования разных пониманий одного и того же. В точках, в узлах этого сосуществования возникла культура понимания, культура приятия и примирения. В этой культуре жили Варлам Шаламов и Лев Гумилев, Даниил Андреев и Михаил Бахтин, там живут Юрий Лотман и Виктор Астафьев, там живут тысячи неведомых нам **связников** внешне все более бессвязного российского пространства.

И не столько пресловутые «экономические связи», сколько вот эта не оцененная еще нами **материя** удерживает от окончательного распада освобожденную от советских декораций восточнохристианскую цивилизацию. Не «узды» и угрозы Центра, а терпеливая материя провинциального бытия удерживает обнищавшую глубину от мятежей.

Вечная драма Провинции — это драма между волей к сохранению и сбережению, волей сугубо личной, семейной, домашней, и государственным произволом, катаклизмами забвения и разрушения. Перевес воли к сбережению может быть обеспечен лишь каждодневным усилением каждого **связного провинции**. Только здесь и сейчас, вот в этом моем частном удержании себя от внутреннего пожара, от соблазна решить все одним ударом, рассудить всех и вся одним кричащим словом, от бездны уныния...

Пребывающая задача Провинции — в ежедневном расширении духовно обжитого, в скреплении дружеством, теплом дыхания, проникновением в свою судьбу через историческое понимание общей судьбы.

И завтра, когда, быть может, будет еще горше исполнять свой труд понимания и размышления, — тогда еще яснее и очевиднее нас будет возвышать **сверхзадача провинциала**: удерживать, штопать, латать потрясенную материю России.

Провинция, как наиболее укорененная в реальности мыслимая страна, как метафизическая невозможность, тем и согревает наше мятущееся сознание, что эта невозможность, как говорил Мераб Мамардашвили, все-таки иногда случается. «Могло и не быть и должно было бы не быть, но оно есть. Удивительно, когда все в мире построено так, чтобы не было добра, красоты, справедливости и т. д. И тем не менее **иногда есть справедливость, честь, добро, есть красота**».

В этом «иногда есть» и видится мне разгадка пребывания Провинции в тени последнего трехсотлетия нашей российской истории. В этом сокрытии в монастырскую тень состоит трудность постижения не только Провинции, но и вообще всей «России существенностей».

«Провинция — 1) часть государства, 2) **вся страна**, противопологаемая столице» (Энциклопедический словарь Ф. Павленкова, С.-Пб., 1905).

Провинция — вся страна... вся родина. «Пусть кричат «уродина»...

Глава 2

ОПЫТЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ФЕНОЛОГИИ

ФЕНОЛОГИЯ — наука о сезонных явлениях в живой природе, изучающая изменения..., обусловленные сменой времени года и погодными условиями.

Академический словарь русского языка

Представление о Календаре всегда связано с представлениями о хаосе и космосе, об устройстве мира, о земле, небе, звездах, человеческой жизни... На основе календарной мифологии вырастает календарная словесность.

«Мифы народов мира». Энциклопедия

Мой университетский преподаватель философии Гений Иосифович Бондарев последние двадцать лет жизни вел фенологический дневник. Каждое утро он начинал день с записи в зеленой ученической тетрадке, а вечером дописывал еще две-три строчки.

«Сегодня пруд городской замерз...» или: «Теплый месяц, официальный прогноз оказался липовым...»

Я увидел эти тетрадки уже после смерти Гения Иосифовича и не сразу смог понять, зачем эта фенология нужна была выдающемуся философу? Его много лет просили сесть за мемуары, за солидную книгу, а он весь тратился в лекциях, во вдохновенном устном слове и вот в этих зеленых тетрадках в клеточку...

Потом я снова вспоминал о Бондареве, когда читал подобный дневник Юрия Казакова: «21 апреля (1972 года. — Д. Ш.). Два дня назад было совсем по-летнему — +19... Сегодня опять подморозило...

19.IV посажены огурцы.

21.IV посажена свекла».

Или дневник Павла Егоровича Чехова, где делал записи и Антон Павлович: «Ноябрь... 27. Снег. Все бело.

28. Земля бела. Дождь».

Зачем, к чему эти, ничего не значащие для грядущих исследователей, критиков и почитателей, записи? Какая в конце концов нам разница, каким было 27 ноября 1899 года в Мелихове?

И вот однажды в январе, в первых числах девяносто третьего года, я вдруг понял, к чему была бела земля в ноябре 1899 года и зачем об этом надо было писать великому Чехову... **Отчетливость жизни** — вот что давал этот дневник!

В Мелихове времена года заметнее, четче, яснее, их смена значит больше, чем та же смена в больших столичных городах. Вот почему Чехов не делал никаких записей о погоде, находясь, допустим, в Москве.

Жизнь в провинции требует отчета, отметины, зарубки. В отстраненности от политического потока, от участия в переделе власти и вообще во власти, в отсутствии видимого движения и моментальных перемен — в этих условиях событием становится **ДОЖДЬ**. Событием становится **ВЕТЕР**.

И большим, огромным событием — замерзание пруда.

В провинции обостряется **чувство календаря**.

«Саннный путь и замерзание рек зимой — эти характерные признаки русского климата...» (Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. С.-Петербург, 1898 г.).

В ритуальных для провинции разговорах о погоде скрыто извечное желание обозначить точку своего существования во времени и пространстве. Неуют внешнего мира с его долгими дождями и бесконечными зимами, с ветром, воющим в трубе, возмещается теплом отношений семейных, общинных, теплом грез о весне, о лучшем царстве, теплом письменности и молитв.

«... Пусть свирепствует ветер и засыпает окошки белым снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести и всякие были...» Это еще Карамзин, ровно двести лет назад.

В отслеживании календаря, в наблюдении за изменением любимых черт природы, в ожидании осенения и вдохновения от неба, аллеи, оди-

ногокого шатания вдоль реки — во всем этом скрыто столько предположения жить, жить, жить...

«... А мы с тобой вдвоем предполагаем жить» (Пушкин, 1834 г.).

Вся русская поэзия вышла из календаря, из месяцеслова, из ежегодника, как русская проза — из гоголевской «Шинели». «Стучатся опавшие годы, как листья, в садовую изгородь календарей...» (Б. Пастернак). Календарь лег рядом с Библией на столе, в душе и от этого высокого соседства календарь русской поэзии перестал иметь протяженность в столетиях. Не смена эпох, а смена времен года заключала поэзию в кольцо своих бережных рук. Здесь нет дат. Вошедшего под сень этой вечной Осени не спросят паспортных данных.

Листья осенние
Где-то во мгле мирозданья
Видели, бедные,
Сон золотой увяданья...

У того, кто услышал эти стихи первый раз, рождается несомненное чувство, что написал эти строки Баратынский или кто-то из его современников. Первое чувство будет самым точным.

Эти стихи написал наш современник, погибший двадцать лет назад, — Николай Рубцов. Но писал он их действительно там, в той Осени, где писал Баратынский. «Есть милая страна, есть угол на земле...».

Осень, сень, осененность — не случайно все это рядом.

Каждое наше слово, утаенное или сказанное близкому человеку, каждое несуетное слово имеет свое отражение в осеннем дне. И упавший, оброненный липой лист, и скатившаяся по стеклу дождевая капля, и тусклое отражение фонарей в мокром асфальте... — все имена! Все отданные нам природой раз и навсегда прототипы наших мыслей и слов. Поэтому мы их так **угадываем**. Угадываем **свое** отражение, **свой** лист, **свою** погоду, **свой** дождь, лишь смутно зная, что это **свое**. Но мы знаем, что мы не чужие этому миру, проговорившемуся дождем как строчкой. Мы догадываемся, что, называя, мы воплощаемся сами в самой крохотке, в самой малости этого мира.

Это не слово возвращается к нам осенним листом, это лист возвращает нам свою тайную оболочку — слово «ЛИСТ»...

Осенью небо отдает свет земле. Поднебесный свет падает с листьями, одевая землю в парчу, по которой надо бы ходить босиком, а не в сапогах. Небо же темнеет, беря в себя усталость пашни и грязь проселочных дорог.

Осенью мы медленно начинаем падать в чудесный детский колодец, колодец родного двора. К Рождеству мы приземляемся у елки детьми и смотрим на наряженную гостью как на идеальную модель Вселенной. Вот такая Вселенная и есть, она стоит где-то в уголке мирозданья, мы глядим из ее глубины на хоровод других звезд, других Галактик и нам кажется, что вечен этот праздничный танец вокруг нашей планеты, голубой нежной игрушки на неведомых ветках таинственного бытийного Древа...

В русской литературе есть четыре времени года: осень, осень, осень и осень. А потом откуда-то внезапно — как Наполеон — зима.

ОСЕНЬ. АКСАКОВ

«Детские годы Багрова-внука». Сергей Тимофеевич Аксаков. Там есть строчки, с которыми я ходил целый месяц. Они сами по себе — роман, эти строчки. Вот они: «Тянулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветреная и морозная...»

«Тянулась глубокая осень...» Вот из этих трех слов и вышла вся русская элегическая литература. Бунин, Зайцев, Юрий Казаков...

«Тянулась глубокая осень...» — что еще можно сказать, глядя в запечатанное окно?..

По странному совпадению две великие русские книги о детстве появились в 50-х годах прошлого века и с интервалом всего в шесть лет. Одну книгу в порыве самопознания написал молодой майор, другую — почти слепой старик. В 1852 году было опубликовано толстовское «Детство», в 58-м — аксаковские «Детские годы Багрова-внука».

Между ними — Крымская война, горькая, страшная, как для нас «афганская». Смерть Николая I, речь молодого императора перед предводителями дворянства — о том, что лучше дать волю сверху, чем ждать бунта снизу. 8 октября 1858 года один радикально мыслящий публицист написал своему товарищу (К. Маркс — Ф. Энгельсу): «В России началась революция...» В Петербурге членам редакционных комиссий по крестьянской реформе официально раздавали номера «Колокола». Русские писатели с упоением работали в жанре докладных записок и различных проектов, которых подали на высочайшее имя небывалое количество. Читающая Россия «глотала» критические разделы журналов и ждала актуальных романов.

Аксакова за «Детские годы...» сдержанно похвалили — все-таки патриарх. И на том спасибо, появившись книга чуть позже, в 60-е, не пощадил бы и старика Аксакова. Досталось бы ему за отсутствие «тенденции» и идейного содержания.

Столько лет минуло, столько тенденций кануло вместе со своими идеологами, а маленький мальчик Сережа все едет в карете с папой Алексеем Степановичем и мамой Софьей Николаевной. Едет вроде бы совершенно бесцельно, потому как не может быть никакой цели у такого малыша. Потом они останавливаются в поле, у дуба, отец выносит мальчика из кареты на руках и кладет на траву. Малыш смотрит на траву, на листья и облака в небе. И нам все это очень важно и не хочется разбираться, почему и отчего нам так важна соломинка, которую рассматривает малыш в оренбургской степи всего каких-то двести лет назад...

Какая малость — двести лет! — мы все в этой степи дети.

Пролиты реки крови, выпотрошены дворцы, пали царства, на наших глазах рассыпается то, что созидалось и собиралось еще при Сережином отце и деде, а там, в полях и во дворах детства ничего не изменилось. И какое это счастье, как хорошо, что все то же, все знакомо до сладкой забытой боли. И оторвешься от Аксакова, как ото сна, пытаешься поудобнее уложить в сердце эту нежданно найденную радость: никто не испоганит мое детство, никто не выстрелит в него, не отберет моих первых книжек и не сожжет мой двор ракетой «Алазань»...

Один двадцатилетний парень, только вернувшийся из армии, сказал мне, что чувствует себя глубоким стариком и подозревает, что окружающие начинают принимать его за психически больного. По ночам ему снится детство в Кутаиси, где служил его отец. «Прошло каких-то десять лет, а все как из Ветхого Завета...» Отец погиб в Афгане, дом, где они жили, остался в чужом государстве. И я сказал этому парню: «Старик, нам с тобой повезло, у нас с тобой было детство — есть что вспомнить...»

Президенты обещают нашим детям «достойную жизнь». Пообещали бы просто жизнь — с папой-мамой, добрыми соседями, тихими сумерками и грибными дождями. Чтобы можно было запросто совать везде свой нос, не боясь, что его оторвут вместе с головой. Ездить к бабушке на автобусе, не боясь, что тебя расстреляют из придорожных кустов только потому, что ты больше похож на отца-азербайджанца, чем на мать-армянку. Или наоборот.

В гражданских войнах дети гибнут первыми. От пули-дуры, от мины, от голода, от ненависти, от разлук. Оттого, что куда-то разом пропали сердобольные тетушки из Детского фонда, а лекарства, шприцы и молоко оказались за линией фронта.

После всякого очередного кошмара мы задаемся одним и тем же карамазовским вопросом: «Слушай: если все должны страдать . . . , то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста?» Ко многому можно притерпеться, но к тому, что более всех страдают дети, — к этому притерпеться трудно. И невозможно понять, когда же все это началось? В 85-м, в 17-м? А может, много-много раньше?

Трехвековое царствие династии Романовых началось с эпизода, который потом предпочитали не вспоминать: трехлетний сын Марины Мнишек, царевич Иван, в конце 1614 года был повешен на виселице за Серпуховскими воротами на глазах балагурящей московской толпы.

Советское государство началось с расстрела детей в подвале, и опять все рухнуло.

Все диктаторы двадцатого века были показушно детолюбивы, а некоторые даже неплохо относились к собственным детям. Они думали, что так понравятся народу. И нравились, надо сказать, подавляющему большинству нации. Женщины через голову охраны протягивали вождям своих детей. Это было очень трогательно.

Может быть, поэтому я вздрагиваю, когда вижу, как наши президенты берут на руки симпатичных карапузов, а женщины сквозь строй охраны тянут к ним руки? Страшные вещи начинаются иногда очень сентиментально.

После аксаковской книги, после толстовского Николеньки, после Наташи Ростовой казалось: мы все можем быть такими добропамятными, мы все можем вот так по-детски, по-божески относиться к жизни, к саду, к небу, к дороге, к солнышку. Это так легко и ясно. Но — не смогли сто лет назад, не смогли и потом. Мы всегда вспоминаем главное, когда ничего уже нельзя изменить. Душевное прояснение всегда носит в России какой-то предсмертный характер. Когда полнорода у расстрельной ямы или враг под Москвой.

А потому Аксаков всегда у нас будет полузабытым писателем. И карету с маленьким мальчиком Сережей мы будем нагонять лишь к сумеркам собственной жизни, когда, будь ты хоть императором, хоть плебеем — невозможно ничего поправить. Если забрезжит раньше и где-нибудь на раскисшей дороге ты махнешь на все и пойдешь пешком и вдруг вспомнишь по дороге другой дождь и другие слезы — это значит, тебе повезло и все еще поправимо. Ты нагонишь малыша, спрячешь его под своей штормовкой и дальше вы пойдете вместе.

«Не успел я опомниться, как уже начало становится темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко . . . » (С. Т. Аксаков. «Детские годы . . . »).

ОСЕНЬ. БАРАТЫНСКИЙ

150 лет назад в истории страдальческой русской литературы произошло маленькое счастливое событие. Счастья, как водится, было недолгим. Но оно было.

Сорокалетний отставной чиновник межевой канцелярии небогатый помещик Б. принялась за строительство нового дома в своем подмосковном имении, доставшемся от умершего несколькими годами ранее тестя. Чтобы получить средства на строительство, Б. решил свести на доски запущенную соседнюю рощу и придумал способ переделки мукомольной мельницы на лесопильную. Б. давно грезил новым домом, он сам

сделал его чертежи и сам потом работал на строительстве, не чураясь самой черной работы. На втором этаже он думал разместить свой кабинет и библиотеку, в другом конце — две детские: одна — для трех сыновей, другая — для четырех дочек. И тут же, только чуть выше, в башенке — классная комната для занятий. Вместо потолка там было большое окно. Днем здесь всегда светло, а ночью можно хоть до утра разглядывать созвездия. Дома еще не было, но для уроков уже наняли гувернантку-англичанку...

То была осень 1841 года, а хлопотливым помещиком был поэт Евгений Абрамович Баратынский.

Осень того года осталась в истории ничем особенным не помеченной. В июле погиб Лермонтов, незадолго до того в том же юном возрасте умер Станкевич. В литературе как бы ничего не происходило. Нет, выходили журналы, и будущие классики были по большей части живы и здоровы. Но всеми думающими людьми ощущалась какая-то историческая пауза, ставшая для далеких потомков белым пятном безвременья.

«Будем мыслить в молчании... будем писать, не печатая», — предлагал Баратынский своему другу в канун сороковых годов. И еще: «Хочется... тишины, если возможно, беспредельной...»

Осенью 1841-го женившийся по весне старик Жуковский поселился в Дюссельдорфе. Гоголь в октябре вернулся в Москву, но лишь для того, чтобы пробить через цензуру первую книгу «Мертвых душ», а затем уехать назад. Влюбленный Тургенев мечтает о скорой зиме, когда можно будет забыться на медвежьей охоте...

Политика уже отравляла отношения еще недавно душевно близких литераторов, но не было еще ожесточения. Константин Аксаков еще подавал руку Герцену и Грановскому, к последнему он придет вскоре ночью, поднимет с постели, обнимет и объявит, что приехал прощаться с ним как с потерянным другом — славянофилу с западником не по пути...

Баратынский вышел из игры до того, как она стала враждой. Он бросил Москву и стал строить дом для своей тишины.

Еще тридцатилетним он написал склонному к перемене мест Вяземскому: «Проживать можно где хочешь и где судьбе угодно, но жить надобно дома. Прощайте, любезный князь...»

В феврале 1842 года Баратынский провел долгожданные испытания пильной мельницы, восемь лошадей понесли маховое колесо слишком быстро. «Все затрещало, и мужики наши разбежались...» Но Баратынский упорно совершенствовал машину, выписал из Англии сто пил, а лошадей решил заменить волами.

8 марта 1842 г. «Вчера, 7-го марта, в день моих именин я распилил первое бревно на моей пильной...»

19 апреля 1842 г. «У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем...»

В конце лета — матери: «За год, прожитый мною здесь, я построил лесопилку, дощатый склад и свел 25 десятин леса, почти что достроил дом... дом красив, удобен, но я еще не привык к нему...»

И в другом письме: «...Этой осенью мне предстоит удовольствие, новое для меня — сажать деревья...»

Вместе со старшими детьми он сажает дубки и ели, благоустраивает окрестности.

Чтобы немного развлечь жену и подыскать подходящих учителей, согласных поехать в глухомань, Баратынский наведывается в Москву. Там уже вышел его шестой сборник — «Сумерки», в основном он расходит по знакомым и родственникам. О книге никто не пишет, не говорит, и даже те, кто получил сборник от самого поэта, молчат. В двадцати шести стихах «Сумерек» была несозвучная, несоразмерная

вполне благополучным тем дням печаль. И никаких упований — ни на власти, ни на Запад, ни на особый русский путь. Всего лишь одно стихотворение было изъято цензурой. Спорить было не о чем, разве что гадать о названии.



Дом был построен за шесть месяцев, обживание дома было наслаждением, редчайшим за всю жизнь Баратынского. Его уединенная натура прошла все испытания людского суда, публичного, открытого всем ветрам существования: в двенадцать лет он был отдан в пажеский корпус, через четыре года исключен и определен рядовым в лейб-гвардии егерский полк, через два — унтер-офицером в пехотный полк, стоявший в Финляндии. Только в двадцать пять лет Евгений получает офицерское звание и уходит в отставку к неопишуемой радости Дельвига и Пушкина, немало потрудившихся, чтобы выручить его из армии.

Несколько месяцев обживания дома прервались осенью 1843 года отъездом за границу — отъездом навсегда. В доме, где собирался жить долго и счастливо, он не успел, кажется, написать ни одного стихотворения. Остался и вырос лес, остался отзвук дома в уцелевших письмах, строчках, отзвук домашнего счастья Баратынских, о котором позднее столько раз будут пытаться написать пережившие поэта друзья... И всякий раз они будут откладывать в отчаянии перо на этом месте — невыразимо было это счастье.

«... Вот тебе рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, вставь в нее то, чему нет имени: это общее чувство, это итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, гулять весело, обедать весело...»

Всякое расставание с женой Настенькой было для него тяжелой мукой, впрочем, как и расставание с любимыми друзьями — сперва с Дельвигом, потом — Киреевским. Баратынский, как считали современники, слишком сильно привязывался к людям, приручал их и сам приручался. Друзья становились почти домашними, родственными существами, о которых он пекся немногим меньше, чем о своих детях. Каждый разрыв, размолвка или утрата становились для Баратынского убийственными. Он и умер-то, переволновавшись за жену, внезапно заболевшую в Неаполе. Бегал за докторами, успокаивал детей, а сам умер ночью в одночасье. Анастасия Львовна пережила его на 16 лет.

Баратынский отправился в Италию по следам своего детского учителя рисования Джьянчито Боргезе, мечтая показать своим старшим детям то, о чем ему рассказывал когда-то неудавшийся торговец картинами, «участник наших слез и праздников семейных». Боргезе говорил, что и звезды там другие...

Баратынский не нашел тишины ни в Париже, ни в Риме. Тишина осталась где-то в России. Только слушать ее там было более некому. Или некогда. Добрая половина русских литераторов обосновалась в Европе, увлекаясь социалистическими идеями, ужасаясь переворотам и торопя их. Встречи с Марксом и другими европейскими радикалами они почитали за честь. Удивительно, но еще за полвека до первой русской революции, за тридцать лет до метания бомб в государя, они уже слушали «музыку революции» и абсолютно не слышали друг друга.

Баратынский не сблизился ни с кем из эмигрантов, хотя везде его принимали хорошо — как почетного гостя из прошлого, из «пушкинской плеяды». Он пытался говорить о том, что русская история как была, так и остается неудобной для частного, уединенного человека, что все в конце концов повторяется и нет смысла торопить мятежи.

Его вежливо слушали и снисходительно улыбались. На что он отвечал, возможно, так, как в одном из писем 1825 года: «На Руси много смешного, но я не расположен смеяться...»

В 1918 году правнучке Баратынского Ольге Ильиной придется бежать из Казани с одним из отрядов Добровольческой армии, прижимая к груди маленького сына.

«... Мы въехали в гудящую суетящуюся толпу... Сколько полузнакомых лиц, которых мы встречали на лекциях, в опере, на концертах... Сотни и сотни людей, сегодня в ночь потерявшие кров, право на жизнь и все, что этому сопутствует... Мимо меня шел профессор Владин. Как хорошо я запомнила его лицо на лекциях, когда, приподняв подбородок, с оживлением, похожим на скрытую улыбку, мигая из-под пенсне острыми глазами, он говорил о взрывчатом расцвете русской литературы девятнадцатого века... Я наклонилась вперед, хотела крикнуть ему: «Кого, кого вы там оставили?» Но он не узнал меня.

... Наша фура встала. Кто-то начал стаскивать раненого с моих ног...»

(О. Ильина. Былое.)

... Баратынский думал вернуться в мурановский дом не позже ноября 1844 года. Вернулся 31 августа 1845-го — на кладбище Невского монастыря. На похоронах, кроме родных, было два князя, один граф и больше никого. Как писал Вяземский, уход Баратынского невидимой тенью проскользнул «в этом обществе высших патриотов».

За помин души Баратынского, а также душ Дельвига и Пушкина выпил в одиночестве Павел Нащокин: «Спасибо им, что пожили с нами и любили нас...»

Осень — время молитвы. Алексей Лосев заметил эту осеннюю предрасположенность к общению с Богом: «... Настоящая молитва приходит сама собой... С наступлением весны труднее сосредоточиться и труднее молиться. Легче — к осени и зимою...»

ОСЕНЬ. КАЗАКОВ

Вот и прошло десять лет... 29 ноября 1982 года, ранним непогожим утром в Красногорском госпитале умер русский писатель Юрий Павлович Казаков. В этом году ему было бы всего шестьдесят шесть.

Я всегда чувствовал привкус лицемерия в последних строках писательских некрологов: «Умер большой художник, но остались его книги...»

В восемьдесят четвертом году, обнаружив в батальонной библиотеке «Поедьте в Лопшеньгу», я потом два года проходил с книжкой Казакова в командирской сумке. Когда некогда было перечитывать, просто заглядывал и читал оглавление, словно в нем могли произойти какие-то перемены. Все рассказы были на месте, и я прятал том обратно. Еще я любил смотреть на даты под рассказами: 1962-й, 1964-й, 1969-й... Это были уже мои годы, я был на свете.

Иногда было до слез обидно, что не могу написать Казакову. Тогда я караульными ночами страницами переписывал «Голубое и зеленое», потом «Осень в дубовых лесах», потом «Свечечку». Я не пытался разгадать тайну казаковских рассказов, просто не мог без этих вещей. Есть в этом мире такие непостижимые связи и пристрастия, которые нельзя понять, надо только жить с ними, беречь и принимать как небесную данность. Раз есть такая книга, значит, о нас сказано самое светлое и краткое слово. Мы можем стать другими, время может покалечить душу до неузнаваемости, но и тогда мы будем знать — в нас что-то было. Что-то безумно хорошее.

* * *

«Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она... Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень» («Осень в дубовых лесах»).

«Как славно, что снег, и что приехала она, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого...» («Двое в декабре»).

«Дай руку, пойдем в лес — ну, скажем, в ноябрьский лес... Ну, давай же поедем скорее, давай проживем такой день!..» («Отход»).

«Впрочем, — продолжал я, — не обращая внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно...» («Свечечка»).

«... Тогда все мы были живы и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день» («Во сне ты горько плакал»).

* * *

Ю. Казаков, из письма 1964 г.: «... Вообще, мне кажется, что я хорошо жил, что так и надо жить писателю. Тогда я почти не пил..., так вот, я не пил, занимался альпинизмом, охотился, ловил рыбу, много ходил пешком, ночевал где придется, все время смотрел, слушал и запоминал...»

Один из казаковских друзей-писателей несколько лет назад сказал, что Казаков достиг предела в открытости. В маленьких вещах он так «выдал» себя, как иные не выдадут и в романе. В результате получился лишь один том...

Если когда-нибудь издадут переписку Казакова, то будет еще несколько томов. Но рассказов так и останется один том. Таких рассказов не может быть двадцать томов. Каждый рассказ — колодец. Из них нельзя сделать многосерийную оросительную систему. В сборнике, сданном в набор за полтора месяца до ухода Казакова, — тридцать семь рассказов.

Из интервью Казакова, конец 1978 года:

— Представляете ли вы себе своего читателя?

— Не представляю. Никогда не видал... чтобы кто-нибудь читал мои книги. И вообще что-то странное происходит с моими книгами, их как будто и в помине не было... Будто все изданное проваливается куда-то.

Если судить по книжным уличным развалам, то мы живем в эпоху онемения русской литературы. То новое, что пишется, уже скорее всего не дойдет до глубинки, до райцентров, сельских библиотек, до задумчивых станционных смотрителей. Литературные журналы задущены. Мы остались с тем, что у нас есть. Наступило время **перечитывания** хороших книг.

* * *

У Казакова был маленький, но свой остров. На этом острове он руками отогревал простые русские слова.

«Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг начинал шуметь печальным голым шумом...»

«... А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька, все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет».

«Когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью...»

* * *

На пороге — одиннадцатая осень без Казакова, она будет похожа на осень 82-го. И на осень шестьдесят второго. И на другие осени, которых у нас за всю жизнь набирается не так и много.

О чем думает человек, медленно бредущий по первому снегу мимо заколоченных дач? Почему он не оглядывается, но часто останавливается, разглядывая что-то в пустом лесу? Почему он везет за собой пустые детские санки?..

Казаков писал об одиночестве человека в большой стране. С тех пор как ушел Казаков, страна стала меньше, а одиночество стало волчьим, неизлечимым. На последнем вздохе несусветно большой, соразмерной лишь космосу и нашей душе, державы — мы враз ощутили свое одиночество. Мне кажется, не только один человек сам по себе, но и народ иногда осознает себя одиноким. Как кит, выброшенный на берег и брошенный сородичами. Что толку от того, что он большой?..

В рассказах Казакова еще растут липы по всей Тверской, в фойе кинотеатров играют джаз, влюбленные бегают погреться в Третьяковку, а то вдруг идут на рынок в каком-нибудь захолустье и покупают копченое сало и мед кусками — «дешевизна была баснословная»... Но и влюбленные в этих рассказах всякую секунду помнят, что счастье их вот-вот кончится. Они еще толком не знают, что помешает, но знают наверняка: вот-вот... Они пьют на разлуку и живут в прощании с каждым вечером. Свою неоконченную повесть Казаков назвал «Разлучение душ».

Последние его рассказы разделены годами молчания, а, кажется, написаны на одной неделе и на одной пронзительной ноте, с которой жить даже несколько дней невозможно, невыносимо. В самом его слове была тайная беда, предчувствие утраты родимого, когда все валится из рук. Валится и разбивается.

Казаков был безутешен в своей любви к Северу, к сыну Алешке, к речке Яснушке, к желтому огоньку на околице и к красному огоньку на реке...

В конце концов, даже если от нашей жизни останутся лишь наши воспоминания об одном осеннем дне — это не будет зряшная жизнь. Об осеннем дне, в котором были друзья, была приветливая грусть в еще теплом ветре с полей, была нежность в молчании любимой и сосной пахли ее руки... Этот день освещает нам дорогу, когда нет уже рядом ни друзей, ни любимой. Когда мы пропадаем во мраке, и, кажется, заблудились навсегда, возникает из ничего огонек, фонарик, звезда.

«Шумел поверху лес...»

— Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечки зажжем...» (Рассказ «Свечечка», Гагра, декабрь 1973 г.).

ОСЕНЬ. ВИЗБОР

«17 сентября: в средней полосе начало листопада у клена...»

Последний катер на опустевшей реке, ранняя густая темнота, когда вдруг замечаешь холодные звезды и почему-то думаешь, что дома тебя уже все потеряли и ждут с пирогами, свечками и оттого вечерние окна

еще милее тебе, чем звезды . . . Детская давнишняя обида ни с того, ни с сего начинает саднить в душе, жалко тепла, лета, бездомных кошек и самого себя, и, как в пятом классе, хочется спрятать свои слезы в опавших листьях.

Если бы не было бабьего лета, его стоило бы придумать. И как славно, что его нельзя отменить никаким указом. За сентябрем будет октябрь, а за октябрем, как это ни странно, — ноябрь. Опустевший ноябрь, без полинявших флагов на школах, булочных и сельсоветах, без портретов насупленных вождей и лопнувших шариков на мостовой.

Что бы там ни случилось с нами дальше, последние листья облетят с первым морозом, а однажды ночью выпадет первый снег. Я всегда слышу ночью этот первый снегопад, упавшую на крыши тишину. Просыпаюсь от какого-то толчка, иду к окну. Наверное, это толчок памяти.

Так было и так будет — осень с птичьим отлетом и паровозными гудками, мокрые крыши, а потом праздник первого снега. Очень важно знать: кое-что в мире останется таким, каким его видел ты. Мысль о том, что мы гости на земле, светлеет под первым снегом и уже не кажется такой черной.

* * *

Проблема нынешней осени — как скрыться от «толчка», вездесущей барахолки, от маниакальных продавцов, бегущих за тобой по пятам. Вот, кажется, заблудился, спрятался, но нет — опять уперся в баррикаду из ящиков или запнулся о товар, разложенный на дороге. У Мандельштама есть фраза — готовый эпитафия к историческому указу о свободной торговле: «Если дать волю базару, он перекинется в город и город обрстет шерстью . . .»

Прохожу через соседний детский парк и слышу в спину хриплое: «Продаешь?» — «Что продаю?..» — я, пораженный, оборачиваюсь, ведь у меня в руках абсолютно ничего нет и карманы не оттопыриваются. На скамейке развалился господин, страшно похожий на нашего участкового милиционера. Он указывает на мое обручальное кольцо.

— Что вы, — говорю, — это не продается.

— Теперь все продается . . .

Я шел потом домой и думал: «Значит, кто-то приходит и продает этим барыгам самое последнее, фамильное. После обручального кольца что еще можно продать?.. Поэт был прав: мы обрстем шерстью раньше, чем накопим первоначальный капитал . . .»

* * *

Можно ли испытывать ностальгию по родине, живя на родине? Еще прошлой осенью это показалось бы нам бредом, а сегодня за зыбкой стеной дождя мы угадываем необъятную тоску. И нет этому точнее названия, чем «ностальгия» (в этом русском слове слились два греческих: «возвращение домой» и «боль»).

То была любимая тема наших политических теннисистов: давать отпор тем, кто «испытывает ностальгию по прошлым временам». Ностальгию сделали ругательным словом. И мы, бывало, соглашались. Стыдно, глупо тосковать о маразматических годах, надо наплевать и забыть. Наплевать оказалось легче, чем забыть.

В «застольных» годах, за папиросным дымом ночных партсобраний, за колючкой мордовских лагерей, за батальонами наших ровесников, не вернувшихся из Афгана, — там осталась наша колыбель. Железная кровать производства оборонной фабрики. Мы там родились.

Можно выдать всем новые паспорта с орлом, но нельзя задним числом переписать место рождения народа.

Мы никуда не уезжали с Родины, не покидали ее отеческих пределов. Это страна ушла от нас, отломилась, как льдина, и уплыла. Не сдвигаясь с места, мы стали эмигрантами и вдруг почуяли нечто до странности родное в мемуарных вещах действительных эмигрантов — от Вертинского, Шмелева, Волконского до Сергея Довлатова.

Пристрастие Б. Гребенщикова к Вертинскому, мало кем понятное в конце 80-х, — сейчас слишком понятно. То была любовь предчувствия. Б. Г., зима 88-го года: «Мне бы не хотелось видеть свою родину разделенной... И я прошу прощения у Александра Николаевича Вертинского, что у меня достало смелости петь песни, которые пел он. Но я люблю петь их и слышу в них всех нас...»

Нам не проще, нам горше, чем реальным эмигрантам, одолевшим таможни, ОВИРы и границы. Для них менялось все, но они увозили в груди воздух свободы и капельку надежды на возвращение. Мы же остались на фоне старых декораций. Бродим по переименованным городам и улицам, понимая, что это все те же города и те же улицы, как их не назови. И, может, лишь осенними ночами нас настигает понимание случившейся перемены. **Сменился воздух.**

Украдкой мы смущенно перебираем даты, как теплые старые вещи. Их отчасти съела моль, но это **наши** вещи, они хорошо послужили нам в свое время. Легче всего их выбросить, но **что-то** мешает. Это **что-то** и поделило нас на два одинаково несчастных лагеря. Одни имеют несчастье помнить, другие имеют несчастье все забыть и на шестом десятке лет непринужденно топтаться на собственных юношеских идеалах.

В суете между путчами и ваучерами как-то забылось, что мы люди завершающие. Конец века, конец тысячелетия. Мы сами по себе — итог. С нас спросится и нам воздастся.

... Вчера мне три раза звонил мальчик лет шести: «Позовите дедушку...» Я объяснял ему что-то о неправильно набранном номере, но мальчик снова звонил: «Позовите дедушку...» Я утешил его, сказав, что дедушка, наверное, вот-вот придет или позвонит. И мальчик больше не звонил. Я еще долго сидел, поглядывая на телефон, и слушал, как за окном гудит поливальная машина и поливает мокрую улицу.

Восемь лет назад, 17 сентября 1984 года, в Москве умер человек, умевший слушать тишину. Он знал в ней толк. Как, впрочем, и во многих других прекрасных и таинственных вещах. Его звали Юрий Визбор.

По судну «Кострома» стучит вода,
В сетях антенн качается звезда,
А мы стоим и курим — мы должны
Услышать три минуты тишины.
Молчат во всех морях все корабли,
Молчат морские станции земли,
И ты ключом, приятель, не стучи —
Ты эти три минуты помолчи...

ЗИМА. АНДЕРСЕН

«Живем мы не здесь. Далеко-далеко за морем лежит такая же прекрасная страна, как эта. Вот там-то мы и живем.»

Г.-Х. Андерсен. «Дикие лебеди»

Зимняя жизнь сосредоточена в окнах, абажурах, в печке, в фонарях. Северные дни — сплошные вечера. В поле за окном, за говорливым вокзалом — нет поля, нет неба. Лишь белый туман, а в нем кто-то

баюкает маленького Великого Князя. Это потом он поскачет, разрывая снег, и я за ним с белым бабушкиным платком на горячем лбу. Мы будем искать Кирики-Улиты, но лишь снежные стога найдем мы там, где стояла деревня Кирики-Улиты. Но выйдут из-за стогов Кирики с Улитами, схватят нас корявыми руками и закружат, залепят глаза колючей поземкой...

Иногда смеркалось уже с утра, меркло весь день, но не до конца, не до черноты. Даже ночью какой-то отпавший от снега свет медленно плыл мимо окон, высвечивая то угол соседнего дома, то сразу полнеба. Дни и ночи мешались в одни перетекающие сумерки.

Андерсен — это когда сугробы были большие. А в самом большом стоит елка, и все соседи повесили на нее по одной игрушке, а я — грецкий орех в серебряной бумаге. Это елка для всех: для прохожих, для цыган и даже для пьяниц, которым тоже очень нравится в нашем дворе.

В полночь распахнется балконная дверь на втором этаже, и на весь двор будет слышно: «С Новым годом, дорогие товарищи!» За рекой начнут палить из ракетницы, и деревянный мост заскрипит под торопливыми валеночными шагами.

Потом сразу — тишина, темнота. Мне остается только полоска света из соседней комнаты. В голове вертится какая-то нескладуха: «Оле-Лукойе, Оле-Лукойе...»

* * *

Я долго остерегался брать эту книгу, ведь в ней жили не только принцы, но и тролли. Они-то меня и отпугивали — страшненькие и таинственные. А я любил все понятное.

Меня очень долго занимала история про полет Незнайки на Луну. И особенно — проблема советско-китайских отношений. Едва научившись писать, я стал составлять доклады, обличавшие китайских милитаристов.

Сейчас над этим можно долго смеяться, но мы очень боялись войны. Той, что была нарисована на стенде в бомбоубежище нашего дома. Мы очень боялись, что нам не дадут дожить до коммунизма, что нас разлучат — меня, маму, папу, сестренку, двух моих удивительных дедов — Деда с усами и Деда вологодского, двух моих бабушек — мамину маму, красавицу бабушку Веру, и папину маму, страдальцу бабушку Тасю...

Незадолго до моего появления на свет мои родители плыли на пароходе по одной сибирской реке, и однажды радио сообщило, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В интонациях восторженного голоса Никиты Сергеевича невозможно было сомневаться. Весь пароход был счастлив, все будто очутились в ласковой люльке, незнакомые люди поздравляли и обнимали друг друга. Поэтому я родился с этим в подкорке: дожить до коммунизма!

Как бы мы к этому сейчас ни относились, нам жаль себя маленьких, тех шестилетних шестидесятников, которые ничего не поняв, уже во что-то поверили. И потом каждый год старательно писали сочинения «Моя страна в 2000 году».

Конец 1992 года. Мальчик в очереди спрашивает: «Мам, а когда у нас будет, как в Югославии, куда мы будем прятаться?»

— Мы уедем к бабушке в деревню.

Сочинять сказки мы научились у нашего правительства.

* * *

Странно, но Андерсен появлялся в России как раз в те годы, когда нам было не до сказок. Впрочем, это так похоже на него. Сын башмачника и в юности являлся в копенгагенские дома без всяких рекомендаций.

Андерсен не стал зеркалом русской революции и даже датской. Он появлялся в России, когда разбивалось зеркало очередной русской революции и кому-то надо было вынимать осколки из глаз и сердец наших детей. Вот он и вынимал их потихонечку. И еще он оставлял русским девочкам и мальчикам свои маленькие секреты, о которых ни-ни, никому из взрослых нельзя было ничего сказать. Это были такие ин-термундии.

Интермундия... Ну, это что-то вроде старого дома с теплыми подвалами, где в дни потрясений спасаются самые маленькие и нежные. Или наоборот — самые старые. Но тоже — доверчивые и нежные.

Подходящих мест для интермундий в нашей стране осталось немного. Всего сто лет назад их было гораздо больше, но ими тогда редко кто пользовался. Революции и войны откладывались на следующее столетие.

«Бедные мы человеки», — вздыхал Андерсен в каждой своей сказке и очень редко соглашался на грустный конец. В этом смысле нынешние малыши — тоже дети XIX века. Они никогда не согласятся на плохой конец, даже если их с утра до вечера водить по очередям.

Чем хуже, отчаянней, бездарнее мы живем, тем отрешеннее становятся наши дети. Вы заметили, что днем они никогда не смеются так счастливо, как смеются ночью? Чаще всего мы этого просто не слышим — смеются они тихо-тихо. Они сдержаннее и старше нас, когда они там, в своем XIX веке.

Как трудно хранить детские книжки! Почти так же трудно, как хранить первый снег. Когда тебе вдруг становится тридцать, в один из зимних вечеров ты понимаешь, что хорошо бы прочитать детям ту книжку, которую читал когда-то ты, а до тебя — твои старики...

Кто знает, скольким людям старорежимный ганзеновский Андерсен, живший в домике-томике из английского коленкора, помог вынести лихолетье сперва гражданской, а потом всего, что было после?.. Или просто сделал один день счастливым в череде несчастных дней...

Перечитайте «Снежную королеву» — как и в 1921-м, нет ничего другого, более ясного и очевидного, что объяснило бы нашим детям и нам самим происходящее в России.

В 1944 году Мария Бабанова читала по радио андерсеновского «Соловья», и проходящие в тот момент мимо столба с репродуктором экики вдруг встали. Так стояли и слушали вместе со своими конвоирами. Было это на строительстве Северо-Печорской магистрали. И еще так было, наверное, много раз и со многими.

У нашей Дюймовочки навсегда осталось легкое дыхание Марии Бабановой, арбузовской «Тани» из первого акта...

«Как-то в вечеру разыгралась буря... И вдруг в городские ворота постучались, и старый король пошел отворять...»

(Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине», перевод Анны Ганзен).

Анна Васильевна Ганзен умерла в Ленинграде на восьмой месяц блокады. Точная дата неизвестна. Говорят, в апреле. Архив Анны Ганзен хранится в Пушкинском доме, он до сих пор не разобран, и когда зимой девяносто второго я приехал в Петербург, мне не дали посмотреть на листочки, исписанные рукой вечной девочки, влюбившейся в Андерсена в конце прошлого века. «Архив не разобран...» — «Когда разберете?» — «Приезжайте в начале будущего века». — «Хорошо, по-пробую...»

* * *

Мы не столько переживаем, сколько переживаем свое время. Оно нам досажает. Мы прячемся от него в прошлом, и там, где нашим отцам было ветрено и страшно, нам — ничего, нам неплохо. Прислонимся и ждем за углом, что проскочит, простучит, обдав нас угольной пылью. Мы вздрогнем вместе с полустанком, вытрем черные от копоти губы и улыбнемся тусклому солнышку, закатившемуся за путейский мост. Мы чувствуем себя детьми, сидящими под столом на празднике взрослых. Нас не прогнали в темную комнату, мы разглядываем чужие ноги и боимся шевельнуться...

Можно ли предать время? А если нельзя, то откуда это ощущение вины перед тем, каким был шестьдесят второй — нашего рождения! — год и какими мы стали, какой стала страна и как все это объяснить детям? ..

Можно рассказать, из чего состоит время, можно разобрать его по секундам, по мизансценам, как критики разбирают чеховскую пьесу. Можно даже найти среди старого реквизита то ружье, что стреляет теперь по ночам... Но почему-то мы не можем догадаться, как сделано это любезное нам время и отчего его нельзя опять сделать. Нет, не повторить, но — продлить, протащить волоком — хотя бы и на себе — еще несколько месяцев, дней? ..

Ведь мы-то все те же! Так вот, если есть мы, готовые, как и тридцать лет назад, зажечь светло и счастливо, и есть еще Родина с большой буквы, и есть еще ясные добрые умы, есть земные поклоны и поднебесные наши земные полеты — с кухонь да к звездам... — почему же все так обидно и отчаянно?

«... Моряки не плачут, дружок. Моряки никогда не плачут. Только если их корабль пошел ко дну...» (Дж. Д. Сэлинджер. В ялике. Рассказ. Перевод Норы Галь. «Новый мир» № 4, 1962 г., с. 145).

ВЕСНА НА ЗАПЛАКАННОМ ВОКЗАЛЕ

Провинция — основная административно-территориальная единица Новой Зеландии. Провинциальный округ делится на графства.

Энциклопедический словарь географических терминов. М., 1968 г.

— Вставайте, граф, вас ждут великие дела! ..

Просыпаюсь и слышу: весна. Правда, весна. Я еще лежу, закрыв глаза, и слышу, как за стеной нашего толстокирпичного дома, вдоль окон, вдоль водосточной трубы несется с крыши вода. Во дворе спадают огромные сугробы, а под ними сочится вода, ищет выхода, еще не зная, что река рядом, за забором, и река примет всю воду. Сколько бы ее ни стало.

Сказывают, в нашем графстве будет нынче ранний ледоход. Все перевернется и зачнется сызнова. Свечу всякий раз надо зажигать заново, заново ее охранять от сквозняка. Это уже другая, новая свеча, но в ней тот, единственный проникновенный свет, который мы несем в себе от свечи к свече. Когда гаснут свечи, свет не исчезает, он прячется в нас.

Самолеты стали не по карману. Все едут поездом. Провинция дремлет по заплаканным вокзалам, потом куда-то едет. Где-то под Казанью,

среди проносящихся барачных огней, я вдруг вижу открытый двор: дети лепят большую снежную бабу с черными угольками глаз. Снег мокрый и синий от синего низкого окна. Все исчезает навсегда. И дети, и снежная баба, и тот синий снег.

В моем купе поют: «Гуд бай, мой мальчик, гуд бай, мой миленький!.. Твоя девчонка уезжает навсегда...»

Я прижимаюсь лицом к стеклу, за которым уже ничего нет, лишь ночь и пропадающая в соснах звезда.

Мне хорошо прижиматься щекой к этой пыльной Вселенной. Я тоже уезжаю навсегда.

Красноуральск — Вологда — Волгоград
Февраль 1993 г.



Наталья Аришина

* * *

Ехал на маленьком ослике лекарь,
очень на нашего деда похожий.
Лекарь на маленьком ослике ехал —
и не упрявился ослик пригожий.

Дед наш ходил в парусиновой паре,
шляпе соломенной, белой сорочке.
Петь он любил и бренчал на гитаре
внучкам своим от единственной дочери.

Он бы женился на знойной актрисе —
да не звенело у деда в кармане.
До революции жил он в Тифлисе.
Как этот город воспел Пиросмани!

Ехал на ослике лекарь и, кстати,
без стетоскопа, не в белом халате.
Меньше бы стало больных на планете,
если бы в белом халате он ехал?
Если бы ехал он в белой карете?

Дм. Голубков

«ГДЕ ЖИЗНЬ ИГРАЕТ РОЛЬ ПИСЦА»

Дневник

Когда-то мой отец, Дмитрий Николаевич Голубков, считался известным поэтом и писателем. Со дня его трагической гибели минуло двадцать лет, и, хотя не так давно создана Комиссия по литературному наследию, имя его почти забыто. Теперь редко кто вспоминает о нем, да и книги его в московских библиотеках уже вряд ли можно найти.

Исключение составляет третий, последний роман Дм. Голубкова — «Недуг бытия», к настоящему времени выдержавший три издания в «Советском писателе». Автор закончил работу над романом в июле 1972 года и отнес рукопись в редакции двух «толстых» столичных журналов, а те отказались печатать его, сославшись на неактуальность темы. То был роковой ответ для писателя, отдавшего этому, самому крупному своему произведению, восемь лет...

Кроме литературы, Дмитрия Николаевича всю жизнь занимала живопись. И хотя художественную школу, куда поступил сразу после войны, он не кончил, рисовать продолжал. Наверное, был у отца и талант собирателя.

Коллекционировал он старые пластинки, будучи страстным меломаном, и книги, будучи ненасытным читателем. Так собирал он и встречи с замечательными людьми своего времени — Б. Л. Пастернаком, С. Я. Маршаком, М. М. Бахтиным и многими, многими другими — и, собрав, бережно хранил в богатой своей копилке — памяти и записывал, записывал, записывал... Дневники он вел с ранней юности.

Вниманию читателей предлагаются абрамцевские дневники Дм. Голубкова 1961—1972 годов, не публиковавшиеся стихи, недавно обнаруженные мною среди его черновиков, и выдержки из писем Юрия Казакова, с которым отец часто встречался в последние годы своей жизни.

Марина Голубкова

17 мая [1961 г.]

10-го, в среду, переехали на жительство в **собственный** дом — в Абрамцево. Впервые живем у **себя** — не снимаем. Здесь сказочно — леса, овраги, ручьи, Воря... Только пиши [...] Вчера с балкона намалевал пейзажик — посредственно. Разучился (да и умел ли?).

8 июля

Лето — до последнего времени — чудное: жара, птицы, лениво подрагивающий зной, цветы, свежие ночи, луны... Стихи, переводы (немного) из Тагора (прекрасный, хоть и несколько заданный — в древнеиндусской мистике — поэт). Страсть к живописи — столько красоты вокруг [...]

Чудесная прогулка в Мураново, дом Баратынского. Обратный путь — лесами, лугами, сказочная старорусская деревня Артемово, среди лесов, на высоком холме (ранней весной, говорят, она снизу кажется парящей в облаках — многоярусные заросли цветущей черемухи обволакивают ее со всех сторон). Жизнь трезвая, спокойная.

2 июля «в результате несчастного случая» (чистка охотничьего ружья?) погиб Эрнест Хемингуэй. Говорят — застрелился (был болен раком). Из мира ушел последний великан литературы, человек сказочной жизни. Как пусто стало теперь!

7 августа

Работаю мало и плохо. Написал на прошлой неделе маленькую поэмку «Декабрист» — вещь современную. В июле ездил в Переславль-Залесский — в такси, по чудной дороге от Загорска — леса, большие холмы, древние деревни с драночными и даже соломенными крышами... Плещеево озеро — громадное, туманенное серебряное зеркало, у берегов — ржавая зелень болота.

Лодчонки, ребятишки, морской запах рыбы, ила, водорослей...

Писал этуод, сидя на болотистой кочке [...]

Непрестанно скапливались тучи, громоздясь и сливаясь — и вдруг раздавался ласковый, тревожный шелест, бормотанье, шепот — в озеро падал дождь, вода шлепалась в воду [...]. Я поднялся на разрушенную стену и растянулся на ней, глядя сверху на озеро, на кровли старых домов. Было тихо и странно — время остановилось и стало вдруг пятиться... И не было ни атомных бомб, ни минувшей войны, ни вылазок в космос. Была старая Русь — наивное, скучноватое, поэтическое дитя с большими мечтательными глазами. И я смотрел в них.

Потом — опять [...] поехал в Переславль, писал Спасо-Преображенский собор (неудачно), осматривал чудесный музей (прекрасные иконы, особенно — огненное вознесение Ильи-пророка, вещь радостная и трагичная). Опоздал на загорский автобус, ночевал в грязноватой и шумной гостинице, в общем (на шесть коек) номере. Всю ночь под окном визжала и гремела гармошка, кусали клопы. Утром на автобусе — в Ростов (некогда — Великий!) под Ярославль. Белый древний город. Патриаршие палаты, прекрасные соборы, золотые маковки. Музей... Картона не оказалось. Выручил художник-любитель, давший писанную какой-то дрянью картонку. Он же показал хорошее место, с берега озера Неро, вид на задворки собора. Писал этуод... На автобусе Кострома—Москва (с трудом упросив шофера) — в Загорск. В эти поездки хлебнул хороший глоток старой Руси.

Выставка Конст. Коровина — праздник, ослепительное солнце, сочающаяся светом зелень, пышные цветы, улыбочивые красавицы. Радость, чистое солнце, молодость. Три раза ходил на выставку, впрок запасаясь восторгом, навек впечатанным в коровинские холсты.

8 ноября, среда, 10 ч. 40 м. веч[ера]

Живем в Абрамцеве. Здесь и зимовать будем: московского жилья все нет, несмотря на усиленные хлопоты, письма Хрущеву, в Моссовет, в райжилотдел и черт знает еще куда.

Разухабистая, оголтелая атомная игра с обеих сторон. Чудовищные взрывы наших бомб в 200 тыс. тонн тротила — и кощунственные («к празднику») частушки по радио: «Двести тысяч тонн тротила — чтоб кондрашка их хватила, хе-хе-хех!..»

Жизнь вообще веселая, праздничная — 22 съезд, разоблачение фракционеров, «мы им покажем Кузькину мать», обещание построить коммунизм к 1980 г. (одновременно раздаются вполне реальные обещания покончить с Землей и ее обитателями в еще более краткий срок — атомные испытания, угроза войны). Возвращение прежних мыслей о конце мира. Чтение («Ярче тысячи солнц»). Разговоры о том же.

Все невозможнее для меня становится писание легких стихов, все гаже — ложь собратьев и бодрячество прессы и радио, все строже мысли — о достойной жизни, о человеческой близости, о высоком искусстве.

Бывал у старика [художника] П. А. Радимова, и он был у нас.

Увлечение методом тональной живописи Н. Крымова. Чтение Льва Толстого и раннего Тургенева.

Театр Блока. (Как он далек теперь — и как близко и понятно бы-
лое увлечение им! Сам-то я — заблудший поэт из «Незнакомки» и
опустившийся Гаэтан из «Розы и креста». Все равно — это кровное, как
кровно и неотрывно от нас наше детство, наши дети, наши деды).

Прекрасная и печальная пора пасмурных туманов, мокрых ветвей,
низких небес.

Стихи о Коровине (увлеченно, искренне). Подготовка 2-й книги
(«Свиданье»). Переделка «Лермонтова» и «Отца».

29 ноября

Весь ноябрь — хлопоты с книгой «Свиданье» — редактора с
Л. Озеровым [...]

Прелестная интродукция к зиме: пушистый, пышный снег (сделал
два этюда), морозцы, тишина, безлюдье [...]

Мечты о мире. Восторг перед природой. Музыка и пение по радио,
слезы от Хозе (Марио дель Монако) сегодня.

9 декабря, суббота

5-го приезжал сюда, в Абрамцево, Кайсын Кулиев. Прикатил по-
купецки: от Москвы на такси за 20 руб. (7 — чаевых) с водкой, вином,
конфетами. Ходил со мной на аксаковский колодец, пил из ведра — и
нахваливал, восхищался сумерками на снегу, поминал Д. Кедрина, за-
ставил читать стихи (понравились ему «Живописец радости», «Женщи-
на в худ. школе», «Певец» [...]) Заглаживал свою «измену» — пере-
дачу новой книги целиком на перевод Я. Козловскому и Н. Гребневу.
После обеда улегся [...]. Я рисовал его, но он даже во сне не хотел
позировать — вертелся и так, и эдак...

Ярая подготовка к войне. «Наши» увеличили в 10 раз военные
ассигнования.

31 декабря

Были морозы — до 32 утром. В доме (по утрам) — 6—8 тепла.
Каждое утро — один и тот же ритуал: зарядка, [...] обтирание снегом
по пояс на улице. Днем лыжи, километров по 14—20 [...] Упиваемся
Рахманиновым, Перголезе, Шуманом, Шопеном, Шалапиным. Читаю
вечерами Библию. Л. Толстой, И. Гончаров, В. Ключевский, И. Турген-
нев [...] Пишу стихи все время.

Одни на всех и звезды, и слова.

«Живешь — умрешь, и вырастет трава...»

Мы — одинокий населенный остров.

Так одиноки во Вселенной мы

В смертельных смерчах вьюг и ветров острых,

Средь многозвездной и кромешной тьмы.

И с каждой годиною нам приметней
Бессмысленность младенческих вендетт,
И зреет мир несовершеннолетний,
В мальчишескую курточку одет.

Одни на всех и звезды, и слова.

И жажда счастья. И призыв родства.

Рисую иногда. Так прожито почти 8 месяцев. Может быть, новый
[...] год обойдется без атомных взрывов, бряцания оружием, «Кузь-
киной матери» и лжи.

Амины!

19 февраля [1962 г.]

Недели две назад приезжал со станции «Правда» поэт Герман Валиков — существо встрепанное, сосредоточенное, неуклюжее и, кажется, доброе. Попросил завести музыку, слушал Обухову, потом итальянцев, а потом, с непривычки обалдев, взмолился:

— Может, хватит, а?

Сам стихи не читал, а меня заставил. Понравился ему «Коровин» и еще что-то.

Лунные ночи с непостижимым цветом неба и снега. Глубочайшие снега, тропки, утыканные веточками-вешками,— чтоб во тьме не сбиться и, оступившись, не окупнуться по пояс в белую пышную пену.

30 мая

23-го состоялся Президиум Союза писателей, который утвердил меня членом ордена отечественных бумагоистребителей.

Получили квартиру (платную, кооперативную). Суетные хлопоты — переезд, мебелировка, долги. Болел гриппом (после неудачного выхода «в поле» с географами ин-та геогр[афии] Ака[демии] наук).

Пишется худо. Пишу, главным образом, детские стихи, правил старье — для романсов: Левашов затащил меня в Музфонд [...]

Пышная зелень Абрамцева, грузный воздух последней майской декады, птичьи хоры, соловьиное соло, таскание с этюдником по сырым, сладко пахнущим лесам, чтение Библии.

9 июня

Американцы собираются взрывать в космосе водородные бомбы. Наши, конечно, не отстанут.

Страшные рассказы (о таинственной смерти мальчика в Ашукинской, о зараженности Москвы-реки...).

Трудное у меня сейчас время: хочется писать обо всем — и все противно, все кажется мелким или ненужным, и каждое слово — лживым, и каждая мысль — банальностью. Нужно написать что-то большое — то ли роман, то ли поэму, то ли драму... Но будет ли нужно это? Ибо сам я ощущаю себя совсем чужим, будто бы приезжим каким-то из другого столетия или затридевятьземельного государства...

23 июня

Ложь, словоблудье, выпренность. Все фальшиво, все скомпрометировано, все вынуждены врать. Скорей бы кончилось все это...

Люди беспечны, как насекомые, как комары, например. Нынешний день, обещанный рубль — вот движущие силы огромного большинства.

В заботах о скромной утробе,
О злобе мелькающих дней
На небо смотреть исподлобья
Сквозь пленку дремоты своей,

И в случае ясной погоды
Спешить деловито в тени,
Затем, чтоб на долгие годы
От солнца сберечь пиджачок.

И споров, и драк сторониться,
Чураться задумчивых книг,
Страшиться попасть в очевидцы
Годин и минут роковых.

И — спать неуклонно и честно,
 Ни разу не сбившись с пути.
 И спящим в геенну сойти
 Под гром духового оркестра.

14 ноября

Пишу это в абрамцевском доме, холод, отпотевают стекла, ревматически потрескивают сырые дрова [...] В городе не работается [...]

Что интересного было; два дня в Абрамцеве в октябре, с Аракси. Жгли огромный бешеный костер из опавших листьев, и листья, словно ярясь на нас, на осень, на ветер, швырнувший их с высоты наземь, горели искрометно, высоко и жарко, и лица у нас горели, и щеки становились смуглыми, и глаза не хотели оторваться от огня... Потом, утром, меня осенило желтой, чуть подернутой пеплом, зарею, нежным холодом и радостью. Я запел, заторопился, забегал по дому — и вместе с Аракси пошел в [деревню] Глебово. Поле было голо, в овраге громко и зябко журчала и бежала, согреваясь, Яснушка [...] Спустились к пруду, погляделись в воду, пересекли поле, погрузились в лес. Там редко, сквозисто, но чем дальше — тем гуще. Отчетлив сырой грубоватый запах дуба. Расплывчатое тающее дыхание елки. Возле кленов — по колено бронзового листа. Он шуршит и шипит, как море, набегающее на песок и мелкую гальку.

О чем говорили? О ерунде, наверно, но дышалось так вольно, такое грустное счастье щемило душу, так медлительно и широко билась кровь в теле! Дошли до Артемова — и назад. Последние две рогазы отчаянно смотрели из мелких резных, закрапленных желтизною листочков...

Что в Москве? Обсуждение в Союзе пис[ателей] нового рассказа Ю. Казакова «Проклятый север» [...] Рассказ длинен, местами очень живописный, художнический (описание ялтинского оркестра, воспоминание о чечеточнике), очень неновый, очень томительный — с бесконечными «выпьем, старик», «помнишь, старик»...

Ю. Казаков: крупное, неуклюжее тело, тяжелые плечи, голая голова — лысина и лицо одного цвета — прямые длинные светлые волосы на затылке, извилистые скульптурные губы, гурманские, спокойные, насмешливые, внимательные и равнодушно-ироничные глаза под очками...

Книга вышла — и стала почти вся противна мне. Отзывов печатных нет. Письма Рыленкова, записки Н. Ушакова, И. Сельвинского, Шехтера и И[вана Семеновича] Козловского.

23 фев[аля 1963 г.]

Работать всерьез — невмочь. Рецензии на Наровчатова, Сикорского, Рыленкова. Маленькие «успехи»: рецензия на меня Ларина (Котлова) в «Лит. России», повышение в чине (старший редактор).

26 ноября

[...] поездка в Венгрию в начале весны (предполагалась и желалась — Польша)¹... Приехал — и сразу в кипящее соловьями и зеленью Абрамцево! Стихи, купанье, чтение, шлянье по лесам, слезы восторга в лесу (при зацветании черемухи, на закате...) Изучение польского языка.

Почти все лето заменял Регистана, потом — Исаева. Сманивали из ЦК комсомола в «Мол. гвардию» — подался было, да Лесючевский не отпустил, исполнив давнюю мою просьбу, — переведа в русскую

¹ Бабушка Дм. Голубкова по линии матери была полькой. — (Здесь и далее примеч. составителя).

редакцию. И вот я редактирую талантливых русских поэтов — Вл. Корнилова, Ол. Дмитриева, Л. Лаврова [...] «Гантелизация», бодрость, чистота.

7 июня 64 г., воскресенье

Сегодня — исторический день.

Вчера, наконец, переехали в Абрамцево. Что здесь? Прекрасный день — солнце, зелень, тепло, благоуханно. Сегодня в 4 часа дня ушел в лес. Вернулся в половине 9-го. Ходил в Артемово, оттуда — в Жилкино, обратно через чащу черемух, ольх, берез, по болотистой низине вышел к просеке «за семью оврагами» — к Глебову, всего прошел километров 15. Состояние чуткой внимательности, светлой задумчивости, умиленного восторга перед природой. Ходил с черной японской записной книгой (подарок Фогельсона) и авторучкой. Все время присаживался — на пеньки, на траву, просто на корточки среди пыльной дороги — и записывал, записывал. Записал конспект 3-х рассказов. Ощутил себя писателем — создателем своей прозы. Буду им! Дай, Господи, сил! Замыслы, планы, лица и речи ломаются в мозг. Есть что писать. Дороги люди. Дорога Земля, Россия, Природа. Высасывать из пальца не придется. Много жил, много накопилось, много мытарилась и мучилась слабая и податливая душа. 35-й год моей жизни постараюсь ознаменовать чистой жизнью и настоящим трудом.

13 июня, суббота

Почему так велики художники прошлого — Толстой, Глюк, Рахманинов, Микеланджело? Умение, живя в мире, уходить временами от мира в себя — как бы ездить в непроницаемом броневике по улицам и базарам большого города, смотреть в окна, открывать люк, слушать, иногда даже выходить наружу. Умение стать вдруг островом среди океана, выделиться и отделиться, сосредоточиться.

Но погружение в себя не значит — жить собой. Погрузиться в себя — это услышать свою душу, стать только ею. А для души (если она жива) характерно тяготение к миру, к другим душам. Душа никогда не одинока — она ищет общения, она живет и растет...

Умение вдруг уйти от внешнего, шумного, жаркого — в безмолвие души, полной всеми голосами и звуками (глухой Бетховен, подслеповатый Толстой). Как будто с размаху головой в реку — «Господи, благослови!» — и вода смыкается над головой, и прохлада, и звенящая тишина в ушах... Искать путь к душе без словоблудья, без суеты. Забыть себя — но не забыться, и помнить все время о людях, о мире.

Говорят: прогресс несомненен и нравственен; нынче нет такой средневек[овой] жестокости, массовой и открытой, как, скажем, в Москве, при Ив[ане] Гр[озно]м... Дыба, трупы на улицах и т. д. А готовность к атом[ной] войне? К общему (или хоть «половинному») истреблению человечества?

1 июля

Сегодня вчерне написал рассказ «Отцовский табак». Табак дело, кажется. Перечитал вечером — многословно, с литературщиной — и вместе сухо, бедно. Буду биться три месяца — до октября. Хочу писать прозу — настоящую.

9 июля

Написал два рассказа. Писал жарко, «с пристрастием». Всю минувшую неделю переживал психопатическое возбуждение, плохо спал. Вчера вечером ездил на велосипеде к Георгию Семенову, на ту сторону 55-го [километра]. Вел себя плохо — нервничал [...] Он был после рыбалки «раскисши», голый, волосатый, мягкий и рассеянный. Угощал «подлещиком» жареным. Я волновался так, что схватил сига-

рету (после полутора месяцев «поста») и высосал ее в минуту, скакал в разговоре, «интервьюировал» известного прозаика; он взял читать мои рассказы. Сегодня поеду опять... Что бы он ни сказал мне — вести себя буду сдержанно и достойно.

22 июля¹

Семенов одобрил рассказ «Отцов[ский] табак», сказав, что очень конспективно, сжато. «В прозе надо выговариваться до конца». Но зачем болтать? «Зол[отой] заем» не понравился, кроме описаний природы: «Заданность. Ты меня не убедил... Природа, лес — прекрасно, но все это уже на 2-м плане... Я считаю чудом красоты и рациональности природы — белый гриб. Но и новенький сверкающий лайнер приводит меня в восхищение». — Тебя приводит, а меня нет. Но спасибо тебе, Семенов, ты помог: «Старик, у тебя все есть. Пиши».

Писал, правил «Отц[овский] табак», написал еще детский рассказик «Самоварик» и — вчерне — «Это было совсем не в Австралии» — о Дмитрие Федоровиче², о том, как мало берут люди у людей, довольствуясь малым... «Это как горожанин, отвыкший дышать и дышащий лишь третью легкого — верхушкой его».

Замыслов много.

Денег нет. Живем в обрез, не покупаем ничего.

Заниматься тем, чем занимаются все (почти все) не могу. Лес, труд, книги — вот моя жизнь. Читаю Конопницкую (в подлиннике). Прекрасный поэт, иногда монотонно-дидактичный (вернее — сентиментально-тенденциозный).

Вчера, вернувшись в 8 час. веч[ера] из Горенок, застал у себя С. Викулова — он приехал по делам своей книги. Полтора часа рассказывал о Кубанском писательско-аграрном Пленуме, где он выступил, к негодованию дам из ЦК, довольно смело (с его слов).

Вот его мысли о деревне (сказанные мне).

В 17-м г. у помещиков отобрана земля и формально отдана крестьянам. Первые несколько лет — голод, обман, но мужик верил: пройдет, устроится, обещано и записано. Но прошло 30 лет — и крестьянин, почти ничего не получая от земли, понял: она — не моя, она — колхозная. Итальянская забастовка: сидят у станков, курят — и ни черта не делают.

Паспортов не дают. Дают записки-справки, по которым в городе лишь пускают в «Дом крестьянина» ночевать. Девки выходят фиктивно за военных, получают паспорт — бегут. Или иногда воруют, идут в тюрьму — по выходе из тюрьмы вручают паспорт. Бегут на целину — там принимают всех.

Раньше с га собирали в среднем по 17 ц. Теперь — 4-5, но с крошечных приусадебных участков — баснословные урожаи. «Если переvestи на центнеры и га — всем уж Героя соц. труда дали бы».

Сеяли раньше на участках даже хлеб — для отвода глаз, чтоб воровать из колхоза пшеничку. Клубы — сараюшки, и то они от иной деревни за 5—6 км. Все ребята из армии в деревню не возвращаются. Девкам — хоть вой. Бегут.

Закон о пенсии. Не очень-то на Вологодчине обрадовались:

— Почему мужчине в городе — с 60 (лет), а бабе — с 55, а у нас только с 65 и 60? Мы что, долговечнее? — Обида... Да и пенсия полеводу выходит 20—15 руб. Не проживешь... — Капля в море.

Что будет с деревней?

¹ В тот день Г. Семенов подарил отцу свою книгу «Сорок четыре ночи»: «Дмитрию Голубкову, удивительному поэту, которого я не знал, которого узнаю и — люблю. С надеждой на дружество — Г. Семенов».

² Имеется в виду Д. Ф. Тарков — крестный отец писателя, тенор, засл. арт. РСФСР.

17 авг[уста]

Лучшее время — май, 1-я половина июня. Все бурно, закипающе — и мягко, поэтично. Нет зноя, нет многолюдья. С середины июня, когда смолкают соловьи, до августа — пустая, белая, жаркая и пыльная по-лоса [...]

Август и сентябрь — любимая пора... Жаль, придется скоро уезжать — [сын] Сэрежа — в школу, я — сидеть в завах, за Егора Исаева [...]

Читал Шкловского о Толстом — и Толстого. Опять, как в ранней юности — гипнотизм этой великой и огненной души [...]. Не «назад, к Толстому», а — **вперед, с Толстым.**

Сейчас без четверти 11-ть. Хочу спать, но не лягу, пока Аракси не прочтет внизу (в «котельной») мою повесть «Синие розы», кот[орую] только что (вчера) окончил и перепечатал [...]

Вчера приезжал Валерка Мальцев [...]. Просил помощи и совета [...]. Посоветовал ему писать рецензии — помогу ему в этом.

23 сент[ября]

Вчера был Влад[имир] Леонович — 31 год, но похож на хмурого, худого, задумчивого мальчика. Очень умен, честен, прям — и в речах, и в стихах. Талантливость и чистота. Очень понравился мне.

Пишу прозу. Очень мешаю итальянцы (опера). Сладкая каторга какая-то. Скорей бы уезжали!

7 ноября

4-го приехали в Абрамцево — подальше от «праздничного» шума, дыма, толкотни [...]. Гостит у нас О. В. Мамаева — редактор из «Мол[одой] гв[ардии]». Злословим с ней о редакторах, писателях [...]. Написал два рассказа.

Абрамцево — это особый цвет и запах, это радость и грусть, это прощание с молодостью и надежда на счастье.

14 апреля [1965 г.]

Е. Б. Гардт (режиссер, вдова теще Закушняка) говорила о К. Коровине: «Это был... шикарный человек. Говорил мне: — Если хочешь что-то сделать в искусстве — затяни ремешок, попостись — и посиди одна в пустой комнате. Тогда, м[ожет] б[ыть], что-нибудь и выйдет...»

5 августа

Приезжала худож[ница] М. С. Чуракова — с эскизами к «Тверди» [...]. Она уловила мистицизм книги; делает обложку молитвенно.

Ездил к ней в Семхоз вчера. Интересная семья: старуха мать (9 детей), сестра (истовое худое лицо: глаза темные — грустные и усмешливые), племянник Митя — настоящий отрок, сероглазый и светящийся. Дом с иконами и портретами предков (нач[ала] 19 в.); запущенный сад. На всей улице (Железнодорожная) — ни одного номера, нигде — названия.

Письма Л. Толстого.

26 сентября

[...] Наездами (по 3—4 дня) живу в Абрамцево [...]. Окрестности Жилкина уже запакошены — лапы цивилизации дотянулись до великанских дубов, до тихого озера. Всю березу пилят на фанеру, летом был пионер[ский] лагерь. Торчит огромный указатель (из прессованного картона): «На озеро дружбы» (это — тихий помещичий пруд). Мы с Аракси вытащили указатель и утащили в кусты, в яму [...]

Задумки двух романов (любовного и о Баратынском). Начал читать о Баратынском.

8 января 66 г.

Был у Гардт. Старушка только что из больницы. Как всегда приветлива, обаятельна, умна. . . Мы сидели в соседней комнате, под портретами Шаляпина и Улановой, и Евг[ения] Бор[исовна] рассказывала, рассказывала — в лицах, в голосах, смешно и остро.

Родословная: мать — из Энгельгардтов. Имение на Смоленщине. Отец — Дюриксгоф (?). От отца нить к Нарышкиным, одна из кот[орых] была пассией Ник[олая] I. Он оставил ее (возможно, с чревом), спровадили ее в Англию. Там — лорд Гамильтон. Но лорды («как говорил Шаляпин») придирчивы в выборе невест. Гам[ильтон] что-то прослышал. Брак мorganатический. Она поехала в немец[кий] городок и родила, дав сыну имя этого городка. Фамилия заставила Евг[ению] Бор[исовну] в совет[ское] время хлебнуть горя (особенно во время войны). Она и ее мать меняли паспорта в милиции. Милиционер: «Что это за фамилия — Энгельгардт? И вообще — чем вы занимались до 17-го г.?» «Мамочка была кристально правдивой. Она ответила: «Я была помещицей». Тот — опупел. Евг[ения] Бор[исовна] вмешалась: «Вы видите, женщина старая, больная. . . » Тот опять: «Что за фамилия? Вот я, напр[имер], Иванов. . . »

Шаляпин обожал Варю Панину. Говорил ей: «Ты варвар в юбке, но ты — гений, черт тебя дер!»

— Каких Вы художников любите, Димочка?

— Из русских — Нестерова, Коровина. . .

— Обоих я хорошо знала. . . Коровин — блистательный, остроумный в компании. Свет, цвет, праздник. . . Нестеров — другой. Про него кто-то сказал: у него из-под рысы копытца торчат. . . Ндравный был старик. Один врач приехал из Киева. Сидим, пьем чай. Врач, желая сделать приятное, говорит Нест[ерову], что в Киеве, во Владимирском соборе восхищался его росписью. Нест[еров] — сухо, неприятно: «А где? Налево или направо?» — «Налево. . . » — «Так это Васнецов, а не я. Не путайте божий дар с яичницей. . . »

Писал К. Держинскую, певицу. Никак не выходит. Зовет ее сына — увальня, туповатого парня: «Похожа Ваша матушка? Глаза ее?» — «Н-ны. . . М-м. . . Н-нэ. . . » — «Тэк-с», — сказал Нест[еров] — и тряпкой все стер. «Зачем Вы, Мих[аил] Вас[ильевич]?» — «Нет уж, если сын родной говорит, что глаза матери на рисунке — «н-нэ» — значит, не годится».

Устроил у себя в квартире вернисаж новых работ. Сидит в черной шапочке, остро на всех поглядывает: у всех у нас лица каменные — боимся его взгляда, боимся не такие лица сделать. . . Колючий, прямой-прямой, твердо держался своего мнения, взгляда.

Сколько раз ему предлагали Сталина писать, Ворошилов приезжал: «Мих[аил] Вас[ильевич], вот у Вас квартира в старом доме, мы Вам новую дадим. . . » — «Нет-нет, благодарю, мне очень здесь нравится, я привык. . . » — «Вот, машина Вам нужна, дача. . . » — «Нет, благодарю, я старик, мне не надо. . . » — «Напишите портрет Иос[ифа] Висс[арионовича]. . . » — «Я, знаете, привык только с натуры писать. . . » — «Мы Вас в Кремль. . . » — «Да знаете, вдруг мне натура не понравится. . . » — Так и не написал. . .

26 марта

Что такое поэзия? В самом общем понимании? Это, во-первых, лучшие слова наилучшим образом расположенные. Но главное — это высокая красота исповедующегося, открытого сердца — человеческого, человеческого. Это музыка, воплощенная в слово. Это — мысль, очищенная от всего суетного, мысль + музыка + живопись.

Наиб[ольшая] зоркость — при первом взгляде, приезде — и при последнем, прощальном.

22 апреля

Вчера — очень лестное письмо Сельвинского о «Тверди». Боков и Львов торопят со статьей о Барат[ынском].

28 апр[еля]

[...] Отвращение к Москве, к себе. Неверие в себя. Бездарщина, сволочь! Все пишешь, болван, все носишь куда-то — и все отказы, отказы... В «Нов[ом] мире» — отказ (И. Борисова, проза); в Детгизе — отрицательная, едкая рецензия Каменского о «Сарьяне».

29 апреля

[...] — в Абрамцево. Холод, сыро, мозгло — но прекрасно. Свежо, как спросонок, светло, зелено... Я был с простудой, там основательно добавил (на верхушке торчал целый день, писал стихи — разобрало вдруг, потом — в лесу, тоже стихи — на пеньке).

Написал ст[атью] «Уроки Баратынского», правил и сокращал «Следы» [...]

Баратынский — гений; ум его резче, и самобытней, и глубже пушкинского.

22 мая

Плюнул на боль, на исследования — уехали в Абрамцево. Воздух, гантели, покой — стало почти хорошо, боли улеглись. Работалось весело, много. Давно так не писались стихи. Но все время приходится мотаться в город. Две разные жизни: Москва — Абрамцево. Покой, углубленная работа мысли, любовь к миру, людям — и суета, нервность, [...] тщеславие, клочковатость мышления и чувствования.

Главная цель искусства и литер[атуры] — учить, но не научить (нельзя ведь) [...]

Завтра — опять Москва. Кажется, командировка в Ленинград (от «Мол[одой] гв[ардии]»).

Нужен ремонт дома и колосс[альные] деньги на него (1500—2000 руб.).

28 мая

Вчера, после 3-дневной моск[овской] суеты — вновь в Абрамцево. Чудесно [...]

Утром бут[ылки] колодец (родник на Яснушке) — глебовцы и дачники [...]

Таскал глину на носилках, забивал глиной и щебенкой вытечку воды...

Здесь, в тишине, в природе легче стать собой. Люди милей и понятней [...]

В Москве — рецензия Сикорского в «Труде» — ужатая, но лестная.

Весь май — стихи и только стихи.

В «Работнице» — половина «Девочки» — сжали, срезали донельзя. Не надо впредь соглашаться на сокращения. Цензура в «Эльбрусе» («Отц[овский] табак») без моего ведома «вычистила» фразу: «балкарцев после войны переселили». — «Их не переселяли!» — Умилительное фарисейство!

30 мая

Вчера — Троица [...] Чудесные сырые сумерки: окутанность, слиянность деревьев, кустов, неба и земли; впереди, на дороге, бесстрашно накручивал соловей...

Семья, жена — самая наглядная школа самовоспитания, самоиско-ренения всей эгоистической дрянности, которой так обильно в нашем

брате — «мужинке» (особенно — подпорченном лестным вниманием женского пола и снисхождением печати, пусть и скромным).

Поменьше сваливать на свою занятость, не смей оправдываться литературной своей работой. Помнить, что большинство написанного нами — и особенно мной — словоблудная белиберда. Помоги жене, сходи в магазин или по воду — не беда, что вздорный стишок или страница «прозы» твоей останется недописанной.

8 июня

С 1 по 6 июня — поездка в Ленинград... И вот — снова здесь, в Абрамцево. Зелено, тихо, душисто. Стараюсь быть мягким, добрым — в душе есть это, слава Богу, надо лишь оторвать из-под ила глупого самолюбия, мнимой гордости и никчемной обидчивости.

Страшная болезнь деревьев — все абрамцевские дубы стоят обглоданные, голые — это страшно в среде пышных, густозеленых елок, лип...

12 июня

Был у [поэта] Евг[ения] Елисеева — он купил дом на 55-м, близ поссовета. Тюкает молоточком, упоен покупкой, участком (прелестно запущенным, но солнечным) — как я 5 лет назад. [...]

Сегодня был у [художника] П. Радимова, над Ворей. Старик совсем слаб, [...] все «да-дакает», ерничает. Но мил, как всегда мил почему-то слабый, старый русский человек.

Сегодня (в светлый праздник выборов) писал «Милёлю» — правил, переиначивал начало, обдумывал весь день. Перепишу насквозь — «если жив буду», не торопясь, всерьез.

Приспело время работать прочно, вглубь. «Не оглянешься — и святки» [...]

24 июня

Правлю, переписываю, вписываю большие новые куски «Милёли». Получается длинно и, по-моему, не очень хорошо. Хочу, чтоб было о человеке и городе, о жертвенности, самоотдаче («как бы всем в даренье») — и об эгоистической сухости, о связи людей, их родстве, о корнях трав, живущих под новым камнем. В общем, многое хочется втиснуть и многих: тетю Анюту, двоюродных, себя, отца, мать, [сестру] Валю, Аракси, пьяниц с хотьковского склада... Не роман ли это? Пишется не более трех часов в день: остальное время уходит на ремонтно-заготовит[ельные] работы, шлянья за рабочими [...], на чтение (перечитал великого чеховского «Архиерея», «Первую любовь» Тург[енева], читаю Дневники Толстого, начал 1-й том Канта). Собой не доволен [...] Слишком часто и много думаю о себе.

28 июня

Бессонница замучила. Почти не могу работать. Вчера в изд[ательстве] передали мою «Твердь» с обильными пометками и обширным (11 стр.) письмом Вл. Леоновича. Какой умный и честный человек! Много больного (и поднимающего) сказал он мне о моих стихах справедливо и точно.

Завтра (если сегодня удастся заснуть) поеду в Вологду — приглашает Саша Романов (на теплоходе — по Сухони — в Устюг Великий и т. д.).

1 августа

С 25-го — отпуск. Все время — в Абрамцево, кроме окаянных двухдневных выездов в Москву — из-за зубов. (Ну и звукопись! Прямо скрежет зубовный!) Выдрали зуб, болит и кровоточит 3-й день. Это

мешало работать, но сегодня превозмогся — и рванул большой кус «Милёлю», почти все — «по новой». Близится конец (вчера).

Стихи в «Мол[одой] гв[ардии] мои [...]

Читал воспом[инания] Полонской о Маяковском. Беспощадно и неприглядно — грубость его, самцовское себялюбие, чудовищная пошлость. Читал А. Кушнера — очень мил, добр, близок. Читал Канта, молодого, — страшно «занимательно», смело и мудро.

Перечитываю «Карамазовых». Гениальный психолого-философский (и теософский) трактат. Много великих и страшных мыслей, есть удивительные типы («сладолюбивые») — но как натянуто (почти все), крикливо, неестественно! Ужасно плохи дети (сюсюканье), почти все женщины — истерички. Безграничное многоглаголанье. С Толстым и сравнивать смешно — насколько Толстой точнее, всегда (в самых невероятных ситуациях) убедительней, сильнее.

Замучил ремонт [...]

9 августа

Вчера на велосипедах ездили в Озеречное [...]. В Кудрине — 2 часа беседы с Серг[еем] Васильевичем Ворносковым (сыном). Чудеса резьбы (шкаф, полочки); шкатулка (отдал 21 руб., выпросил); интересный, умный русский умелец. Биография трагическая (16 лет лагерей, раскулачив[ание] отца; отнял дом председ[атель] колхоза). Обязательно заехать еще раз.

21 августа

Ох, как мчится лето! ..

Сегодня кончил перепечатку «Милёли» — все лето ушло на эту вещь. Наверно, это роман ...

Сегодня доперечитал «Карамазовых». Художнически (язык, диалоги, почти все описания) — неряшливо, часто безвкусно, иногда — бездарно. Но идеи — колоссальны. Зосима, Инквизитор, Дмитрий — огромны.

30 августа (вторник)

Докончил 2-ю редакцию «Милёли». Совсем непроходимо получилась. Написал детский рассказ «Дрозд». Правил «Минькино золото».

Читаю Акутагаву и Достоевского. Первый все же чрезмерно наивен и бьет на грубый лобовой эффект. Смешной, умный и наивный тать.

18 сентября

«Я на даче один...» Сам пилю и колю дрова, готовлю, мою посуду, подметаю [...]. Буду жить весь сентябрь и, может быть, ноябрь (в октябре — Ялта). Работаю, написал 8 детских(?) рассказов, 2 стих[отворения].

Читаю (повести Павлова; Кант, Капоте) отредактир[овал] Кронгауза и О. Фокину. У нее есть прелестные северные вещи — распев и язык искренни и неподдельны. Есть молодость и бодрость. Кант дает спокойствие — его оптимизм, его восхищение «бесконечность творения», чудом непрестанно родящего и множасьегося творчества. Разум есть божественное начало — вот, пожалуй, главный вывод из Канта.

Читать философов не для зазубривания, но для помощи формулирующимся в тебе идеям и идеалам. Питание.

Велика, велика у человека потребность в добре, чистоте... Не обманывать ее, не извращать.

Как правило, наиболее раздражительны и нетерпеливы те, кто не пережил ничего серьезного, тяжелого, кому жилось легко.

29 октября

26-го вернулись из Ялты (Дом творчества). [...]

Кассиль написал в Детгиз очень лестную рецензию о моем «Сарьяне». Упрекнул в недостаточности материала о деятельности С[арьяна] в революции 17-го г. и Отец[ественной] войне. Протестует против фразы о пацифизме С[арьяна]. (А старик яростно болен пацифизмом! Надо врать?)

11 января [1967 г.]

Звонил Винокуров. Восторженно и словно бы сердито хвалил «Уроки Баратынского»: «Может быть, самое интересное, что есть в этом «Дне поэзии». Так не сможет написать ни один из современных поэтов. Я отложил года на полтора все свои намерения писать о Баратынском — ты исчерпал эту тему».

27 марта, воскресенье

С четверга живем в Абрамцеве... Чудесно: дом теплый, полная зима; лунные ночи с морозом, днем — тепло, синие небеса, запах гретой хвои, лыжи. Пишутся стихи.

Хорошо думается. Все просто, чисто и радостно. Каждое утро читаем вслух «Круг чтения» (толстовский). «Если б навеки так было».

Снег беззащитно предается весне. Дряхлый как ветошка, рвущийся снег. На мокрых черных липах (за ними — еще белая пойма Вори и чистейшая серость — как глаза задумчивой девушки — лесной дали) на самых верхушках — кургузые скворцы.

5 апреля, среда

Снег на поле после снежной зимы — мокрая обвислая вата. Лес вдали (против солнца) — глухая зубчатая стена мутно-черных елок.

Смеляков зарезал мои стихи, отобранные Куняевым и Смольниковым для «Дня поэзии» 67 г. («Свет Пушкина», «Памяти Пастернака», «Базальные слова»). Оно и к лучшему.

Говорил уже с Егором [Исаевым] и Карповой насчет ухода. Хочу, хочу, хочу! Надоело чиновничество, зависимость, ложность положения. Надоело, что лучшие книги приходится «проталкивать» в план, а скверненькие и серенькие включаются порой мгновенно, под нажимом «сверху». Да и остаток сил хочется употребить на дело. Господи, написать бы что-нибудь настоящее — серьезное, честное, полезное.

«Ленинская тема... Историко-революционная тема...» Огромный пласт, колосс[альная] площадь отведена в литер[атуре] и искусстве этой теме. Что-то неестеств[енное] в этом. С. Антонов (не «Дело было в Пенькове») — книга 15—20. «О чем Вы пишете?» — «Я — писатель ленин[ской] темы». Еще сравнит[ельно] молодой человек. И — ни одной книги не о Лен[ине].

Коммерция чистой воды. Печатаются и славятся в основ[ном] сочинения этой темы. За два тысячелетия христианства не написано столько книг (художеств[енного] жанра) о Христе, сколько за 50 лет написано только в России о Ленине. Развращение и литературы и читателя.

Бунин. Только великий, гениальный художник способен вместить в своей душе столько красоты и так передать ее нечеловечески...

А что человек (в массе, типичный)? Слепое, бедное существо; зевая, созерцает Тициана и разбивает поллитровку (выпитую) о кору

блистательной березы. В него вложено божественное начало, но он старается уничтожить в себе Бога — так легко.

Смеляков. Добровольно отказался стать большим (м[ожет] б[ыть], великим) поэтом. Ибо нет настоящего Бога — есть партийный божишко, которому он служит и хочет слепо верить. Мало.

6 апреля

Страшное недовольство делаемым и сделанным. Все хочется переписать, поднять. Но нет настоящей силы.

9 апреля

Восхитительный день. Тугие потоки рвут и размывают дряхлый ветхий снег; небо все чище, голубее. Тепло, но ветер снеговой, холодный[. . .] Сегодня ходили в парк и музей — чудесная выставка «С. Мамонтов в Абр[амцеве]». Новые работы Врубеля (особенно) — «Волхова и Муза»), Нестерова, Серова, Репина, Коровина . . .

Чувство весенней радости, счастья — бескорыстного, самого счастливого.

11 апреля

[. . .] Получил письмо от Солженицына. Умное, строгое. Отмечает 3 мои стих[отворения]: «Женщина», «Декабрист», «Поединок». Спасибо ему.

Суета во всем — нехорошо, во всем и всюду. Но особенно — «интеллектуальная» суета [. . .] — все не всерьез, «всеохватно», непрочно.

14 апреля

Ядовитый, мозжащий холод поутру — дотаивает последний снег. Больш[ая] елка облипла птичьим свербленьем, ворчней, присвистом. Немошные, блеклые, как пепел, кусты. Неужели вспыхнут зеленью, нальются упругой силой?

15 апр[еля]

Живу одиноко. Присутствие человека влияет: даже боком, спиной человек словно бы смотрит на тебя. Нужна — чтоб быть собой — хоть ничтожная отъединяющая отгородка — ткань, марля, облако. Когда с другими — уже не сам: душа поделилась и приняла частицу иной души.

Лучшее состояние — одиночество, которое в любой момент можешь добровольно нарушить.

Много читаю (Платонов, Кант, Песни Киреевского, Шергин). Три дня подряд ходил на этюды. Переписал несколько старых стихотворений; сегодня окончил большую (500 строк) поэму «Богатырь» — quasi una fantasia¹ на темы былин Киреевского.

16 [апреля]

Утром дождь, ненастье. Тоска — радость: работать! Начал рассказ «Моль». И вдруг с часу дня — солнце, теплынь, бездельное настроение.

Верхушки ольх вдалеке изжелта зеленеют (прозрачно, призрачно). На обочине — 1-й желтый цветок, круглая капля (мать-мачеха). Множество лягушек.

19 [апреля]

Солоухин благодарил за мое письмо.

Усталость — не от работы, а от пустой и напрасной жизни.

¹ Почти фантазия (итал.).

Катаев о Бунине (последние дни — по рассказам В. Н. Муромцевой-Буниной). Дантовская смерть. Упал мертвый. 7 ноября.

20 [апреля]

Ночью — сильн[ый] заморозок. Утро ясное, синее, февральской лазури небо. Только к востоку, постеп[енно] — порыхлится летними рваными облачками. Прозрачность такая, что как прекрасное недоумение на юном лице, — теплый туманец голого кустарника, листовенного подлеска. Поле — пыльная мешковина (цвет), кое-где мелко подсиненная и посеребр[енная] мерзлыми лужицами, льдинками. Большие лужи, покрытые яснейшим льдом, синеют густо, матово. Пруд по краям — плоеый лед. Тихо поскрипывает, поет — лопааясь и ломаясь.

В лесу просека, узкое копые ровного белого снега. Недовольно и сухо хрустнула под ногой прошлогодняя елов[ая] шишка. Тень мягко и плотно облекает березу темным шелком. Многорукий дуб — телесная, теплая кора.

22 [апреля]

Вчера и нынче — тепло. Весна осилила. Но под безупречным, честным солнцем все такое слабое, ломаное, прозрачное! Особенно кусты и молодые деревца. Яснушка прозрачна, дрожит над чистыми камушками, обузилась. Остатки снега уползли в низинки, под кусты и кажутся ототуда отчаянно белыми, хоть грязны донельзя. Властвует запах отогревающейся, оживающей земли. Она кажется задумчивой, загадочной. Долго копились замыслы [...]

Из тысячи людей лишь один предпочтет самой бессмысленной компании, трате времени (даже и дорогой) — бесплатные и бесценные радости общения с лесом, небом. (Хоть каждый чувствует прелесть.)

Человек идет внимательно и небрежно. Давит червяков, лягушек, траву — руки, глаза не доходят. М[ожет] б[ыть], и Бог так рассеян к человеку, что человек — лишь букашка в огромном Его хозяйстве? Руки и глаза не доходят.

24 [апреля]

После вчерашнего целодневного дождя — по Яснушке[...] Снег по берегам (после разлива) — как бы обожженный. Буро-желтый — как в печном пепле. Тонкие березы расходятся белыми, постепенно сереющими, темнеющ[ими] лучами ввысь. Орут, цвокают, свистят птицы, тревожно и радостно — возвращение[. . .] Нашел родничок, питающий начало Яснушки: в желтом глиняном иле — рваное отверстие, как ранка — из нее толчками вверх ясная вода. Судорожн[ый] кулачок плачущего ребенка сжимается и разжимается [...]

27 [апреля]

Летние ливни с грозой. Яснушка сбесилась — тащит, рвется. Меж палых листьев — зеленые прошвы. Холодная бледная зеленца сквозит меж голыми сырыми ольхами. В лесу — лиловые цветки с малиновыми бутонами — «хохлатки» (?), подснежн[ики]. На Пасху (раньше) желтые цветочки на длинном стебле, почти безлистном. Пухлые почки ольхи, острые стрелочки черемухи — все в одну сторону, как палочки в тетрадке первоклассницы.

Рыхлая, серая, губчатая зелень распускающихся вдалеке ив. Ивовый цветок — темное расплывчат[ое] тельце, окруженное беловатыми ворсинками (как телячьи ресницы) — осыпано бледными частыми золотинками. Мать-мачеха — отчаянно тонкое, жилисто-прямое тельце с желтой шляпкой. В лесу, окруженное низкими елочками, — озерко чер-

но-белой снежицы. Ровно посередине — серебряная тарелка несдавшегося льда.

Прекрасно вспыхивают в желтовато-коричневой дубовой óпали синие и фиолет[овые] подснежники.

Береза — побег чистоты в высоту.

Всюду — на обочинах, на опушках зацвели ивы. Издалека — пушистые, повисшие в воздухе шапочки. Урчат дрозды. Топорно, бескрыло подражает соловью скворец.

2 мая

Подснежников полно, и они пахнут начали, слабо, тонко-тонко, таинственно, старинно. Вяжуще, терпко, изысканно. Черемуха почти готова.

30-го окончил р[аска]з «Моль» — целая повестушка получилась. Здесь чувствую себя сильней, уверенней. И — мысленно, шатаюсь по лесу, — поверяю написанное здесь же за 6 лет. Фальшь чуеться здесь особен[но] явно. Но фальши, вроде, мало.

Учу итальянский.¹

5 мая

Липы, березы — в зеленых искрах. Растопыренные масляные лепестки первых лютиков — крупных, длинных. Дрозды цикают. Начала петь кукушка. Все заволакивается сквозистым, но густеющим зеленым дымом, месивом.

Как жизнь своя и судьба кажутся бедными, недостойными этих великих перемен!

7 мая

Вчера приехали (после обеда) В. Леонович и А. Богучаров. Володя читал дивные стихи, написанные в Калязине («Разговор с запруженной и заплотиненной Волгой», «Верблюды» и — особенно! — «Воздух тесный, воздух мыльный... — спи, младенец мой прекрасный...»). Как всегда, сосредоточен, молчалив. Богучаров добр[...] Говорлив — интересно (рассказ о комсом[ольском] вожаке — «взрывателе» Бор[исе] Черных). Они в восторге от смеяковского «Меншикова»: «Кучер тискает в сенях дочку его». Я: «Это дикая и глупая накладка против историч[еской] правды». Они: «Да, но художник имеет право». Я: «Да, но в самой накладке сказывается ценность и масштаб художника». У Сурикова в «Меншиков в Березове» накладка тоже: если Менш[иков] встанет, потолок окажется на полголовы ниже — не соблюдена пропорция. Сурик[ов] гений. Он увидел скованное, но прозное навсегда величие истории. Смеяков увидел бытовое, «современное» хамство. Вроде бы согласились.

8 мая

Дуб распустился! Мелкими пятернями, разжав осмоленные рыжеватые пальчики (похожи на лягушат). Вопреки примете — тепло, днем — по-летнему жарко.

3-го дня отскоблил со старой черемухи лепешку тугого клея — ароматно, вязко во рту... Так прекрасно в природе, что даже страшно. Неправдоподобно пышно, рано, открыто все.

После полудня у поссовета — волнами теплыми сладкое, душевное... Черемуха! Рядом на кустах, внизу — только сочные бутончи-

¹ Дед писателя по линии матери был итальянцем.

ки. Наверно, где-то наверху наивысшие грозди не выдержали ранней жары — разжались, запахла беспомощно и властно.

12 мая

Беличавы серо-белые одежды жемчужные старых черемух. Предутренний, теплый, чайный запах свежих березов[ых] листьев.

15 [мая]

Сильный дождь косыми, ломкими россыпями. Кряжистый гром — кажется, прямо в темя. Сырой воздух полон горьковатого запаха березового, сладкой черемухи, соловьиных частушек и хлестов.

16 мая

После долгой тоски [...] вчера вечером приехала Марина [...] Никогда, никого не встречал так нетерпеливо; задыхаясь, бежал на станцию [...] И сегодня, проснувшись, так полно ощутил радость. И день после вчераш[ней] грозы — упоительный, с влажным небесным блеском, с пышнохвостой зеленью, осатанелыми соловьями и кукушками... И с утра — писал Марину на фоне трех нижних берез и цветущей черемухи (стоит, маленькой фигуркой). Эту так и назвал: «Буля приехала». Столько добра хлынуло в душу.

21 мая

Черемуха облетает — уже не пахнет. Густые белые шлепки. Шапочки рябин[ового] цвета. Вспененная листва дубов [...]

22 мая

Что более всего полюбил и оценил, прожив 37 лет? Чистоту. Во всем — чистую траву, чистый снег, воздух, душу; ребенка.

В Москве (дней 5 тому) ходил в «Москву», отдал стихи Ласкиной («скажите честно: для 9, 10, 11-го номеров есть что-н[и]будь? Для юбилея? Нет? Ну, значит, все зыбко. В этом году вряд ли...»).

Читал Кафку. Утомляет, мало интересно. «Трава забвения» Катаева. Прекрасно описан Бунин. Какой огромный, шекспировский характер! (Сцена, когда приходят ревкомовцы арестовывать.) Но какие пошлые, плоские выводы катаевские: Б[унин] всего-навсего — «великий изобразитель природы». А великие трагич[еские] темы России? Любви? Смерти? Разобщенности и родственности людей? Психологизм, накопец?

Бедный, скудный Катаев — как все, как все...

17-го в Политехнич[еском], на вечере Литгазеты Шкловский о воспом[инаниях] Пастерна[ка] (о Маяковском) — что-то пренебрежительно («этот человек»...) Выступавшая за ним Ахмадулина сказала (под грохот аплодисментов): «Я не успела родиться, а вы все уже предали друг друга... Я ничего общего с этим президиумом не имею. Викт[ор] Бор[исович], вы так же предали в свое время Зошенко... Не касайтесь святого имени Пастернака».

Чаковский, заключая, сказал, что он считает Паст[ернака] «способным, даровитым человеком. Но великим, гениальным — отнюдь...»

30 мая

Со всех сторон возвращают мои сочинения: «Нов[ый] мир» — «Милёлю», «Работница» — «Следы», «Семья и школа» — «Панночку». А я все пишу, трудолюбивый графоман, все обдумываю, замышляю...

3 июня

Позавчера — на велосипедах — в Мураново [...] Огромный лес, мрачный — Баратынский. Прекраснейшие окрестности — по выходе из леса на Артемовскую поляну — ломающаяся дугой, как хребет старого зверя, — ниспадающая линия артемовских кровель [...] Скверные мысли о будущем, болезненные предчувствия (война? бедность? тюрьма? утраты?). Писать почти не хочется. Сегодня думал о том, как мало жил, видел, действовал. В сущности, не мог бы описать человека какой-либо профессии достоверно, сколько-нибудь точно.

17 июня

Позавчера вернулся из Белоруссии [...] 12-го позвонил из Минска Аракси — и узнал о смерти С. М. Городецкого. Оба моих старика умерли¹. За спиной пустота — будто вышел из старого дома, калитка хлопнулась за спиной и надо идти в сумерках одному.

1 июля

Сегодня работал вовсю. Перечитываю (для стилистич[еского] камертона) «Суходол» и «Деревню». Уччу итальянский.

Ушел из «Сов[етского] пис[ателя] [...]

14 июля

11-го ездили в Мураново (на велосипедах). Легкая грозка, дождь — успели укрыться под навесом погреба. И — по дорожке меж лип, как раз к нам — К. В. Пигарев — сразу узнали друг друга (хоть [прежде] не виделись). Водил по закоулкам разворошенного дома, показывал мебель, миниатюры, этюды Нестерова (великолепен — с закатом), фотографии семейных альбомов.

Печатал, доводил книгу «Светает...», вчера сдал Ермакову (он дельный редактор). С вокзала из метро — по переходу к ГУМу (чтоб в «Сов[етскую] Россию»). Мимо дома Городецкого. Не удержался (хоть спешил), заглянул во двор — только глянуть.. Там — Рогнеда². Плакали, вспоминали. Упросила взять носильные вещи старика: летний костюмчик темно-зеленый и светлый пуловер. «Будешь носить, Митечка? Он тебя так любил. Будешь?» — «Господи, да я бы стоптанные лапти его носил...»

В. Шефнер прислал книгу стихов.

30 июля

Неделю назад ездили на велосипедах в Городок (Радонеж). Прелестная дорога: хлеба, облака, холмы — толкающие друг друга [...] В Радонеже церковь в лесах, повесили мемор[иальную] табличку.

10 авг[уста], четв[ерг]

Во вторник, в дождь, вечером — к Елисееву: день рожд[ения] [...] Обрадовался дико (никто не приехал из Москвы, одиночество). Предложил нечто сумбурное — вдвоем, для кино: «Чтоб и прошлое, и настоящее, и будущее — все врывалось друг в друга, перемежалось... Только ты можешь. Ты пишешь прозу, как говоришь. Естественно, вольно». Слушали Вертинского, рвалась лента. Женя [...] восторженно вскрикивал... Талантливый, милый [...]

Вчера кончил (вчерне) «Милёлю». «Ну и что?..»

¹ Отец вспоминает о кончине Д. Ф. Таркова.

² Дочь С. М. Городецкого.

12 авг[уста]

Лев Ил. Левин сказал много приятного о «Милёле», обещал говорить с Лесюч[евским]. Договора все еще нет.

[...] Читаю «Затишье» Тург[енева] — прелесть, особ[енно] природа и свидания, как всегда у Тург[енева]. Жалящая нежность свиданий, рыцарственность и детскость поживших мужчин перед лицом всемогущей девической чистоты и доверчивости.

19 авг[уста]

Вчера всей семьей — в Переславль-Залесский. Жара, необычайная для серед[ины] августа, парной воздух, предгрозье. Жутко болела голова, но все чудесно: и Горицкий монастырь («Огненное вознесение прор[ока] Илии!» Резная скульптура 18-го в. «Жены-мироносицы!» Курная изба; комната Шалая[ина] и Коровина; Кардовский и Делла Вос!), и центр города со Спасо-Преображ[енским] собором и валом, и «Ботик», и особ[енно] — купанье в Плещеевом озере, нежном, прозрачном, полном неба и шелеста [...]

Пахло яблоками и сеном. Старый переславец Петр Григорьевич учительствовал здесь 30 лет и работал при музее 6 лет (преподавал в начальной школе); учителя держали коров, снимали покос у музея «Ботик» — вокруг холма луга. Косили утрами, подходил Пришвин, беседовал.

В 13-м году в Переславль заезжал (проездом из Петровского и Ростова) Ник[олай] II на автомоб[иле] с грушами-рожками. Петр Григ[орьевич] видел его. Около «Ботика» насыпали для удобства холм, застелили весь берег Плещеева огромным ковром.

11 сент[ября], понед[ельник]

Чудесное время: сухая, дивная осень с медленным обряжаньем в роскошные колера и одежды. Все так мягко, прозрачно... И на душе славно: в субботу приехала на полтора дня Араксюша с детьми... Вчера обирали рябину на участке; я на радостях за два дня дернул пять рассказов (небольших). Лучше всего, кажись, «Точига». Впрочем, вроде бы и «Таятянка» ничего.

[...] Был в Жилкине — слава Богу, лагеря нынче («сегодня») не было, все снова чисто, любимые дубья в грозной своей, необъятной прелести [...] Полбидона насбирал грибов — лет 25 не собирал, а вдруг понравилось — «восчувствовал» радость бескровной охоты [...]

22 сент[ября]

[...] Все дни — хозяйств[енная] суета (малярничаю, делаю забор и т. д.). Лесючевский позавчера подписал мой договор (предложение). Принял очень доброжелательно, почтил беседой, нажимал (мягко, но «с твердостью»), чтоб в романе было побольше «примет великого времени».

27 сент[ября]

[...] Сегодня закончил правку и переписал на машинке «Милёлю». Господи, благослови!

20 мая, понедельник-похмельник [1968 г.]

В пятницу 17-го приехали наконец в Абрамцево. Рай соловьиный, зеленый, цветочный. Шумные дни: гости [...] Володя Леонович — с ним в Артемово, шатались по лесу. Старик пастух сказал, что из Артем[ова] скоро будут всех выселять — для расширения Ашукинского полигона. 19-го — рождение. Как всегда дивная погода. Огромное количество гостей [...]

14 июня

Из плана выкинули (опять!) Леоновича. Выброшены (за подписанные письма) Левитанский, Окуджава, Вознесенский.

Вчера в «Известиях» статья Федя (или Федь?), ругающая «Собор» Гончара. «Все каменней ступени, все круче темный свод». Неужели начнут сажать? Как будет с бедною русской литературой? Тяжело дышать. Будущее перекрыто — «нет выхода», как в метро.

... Все лжет!
Все лгут на белом свете,
Подобье правды породив.
Лишь иногда — правдивы дети,
Да зверь почти всегда правдив.

23 июня¹

Были Юр[ий] Казаков и Георг[ий] Семенов, на машине. Казаков приятен, прост. Попросил чего-нибудь выпить — зуб разболелся. Он купил дом в Акад[емическом] поселке: «удивительно дешево — 12 тыс.». Выпив коньяку, бубнил один часа полтора; пересказывал «Улыбку Будды» из «Круга 1-го». Прощаясь, сказал мне и Г. Семенову: «Читайте Солженицына!» Казаков «подписанец» (Гинзб[ург], Галансков).

2 июля

Вчера приехал из Мценска (командировка от «Работницы» — Орел, Спаско-Лутовиново). Чудесная поездка [...] И вот — опять Абрамцево... И жуткий фон в литературе: цензура, репрессии (издательские) против «подписанцев», наступление бодряков и фарисеев; травля Солженицына...

17 июля

Две недели дождей, изредка перебиваемых солнечной и лазурной игрою. До сих пор простудные ошметки в голове и груди. Работаю: написал большой очерк о Спасском и Тург[еневе]; пишутся стихи. Написал рассказик «Оне», сейчас переделываю «Старый Новый год»... Умерли Яшин и Паустовский — хорошие, честные писатели; жалко, и еще тоскливей жить.

25 июля

Праздник, радость: после беспросветной недели и ненастья, угрюмо-истерических мыслей и разговоров о деньгах, долгах [...] веселое вторжение Елисеевых и их друзей Гернов, прелестной пары, обожающей музыку (без конца крутили граммофон — Шаляпин, Нежданова, Карузо); жарко говорили о Чехословакии, де Голле, литературе). [...] Завтра — в Москву, кланчить деньги, добывать где-то.

16 авг[уста]

[...] Гости [...] Елисеев с Лариным Олегом, Н. Чачхалиа всем семейством с ночевкой (просит, чтоб переводил, приглашает гостить в Сухуми).

Пишу поэму в терцинах — трудно и увлекательно. Содержание — лирико-философское. Читаю Тургенева, К. Леонтьева, Ахматову.

Профессорша Ант[они́на] Як[овлевна] [соседка] говорила ужасное. Прием в вузы — в основном рабочих. Лишь 15% — интеллигенции (социальный ценз). Режут на экзаменах более способных. Мракобесие

¹ В те дни писатель завел альбом, где собирал впечатления своих гостей о его доме, названном позднее художницей М. Чураковой «Корабль чудесный». Ю. Казаков сделал такую запись: «Дима, давай поохотимся! И почему бы тебе не жить здесь зимой? Не будь дачником, уподобляйся мне».

кое-то, маоизм. Полное отускнение и поржавение русской государств[енной] мысли, нерва идеологического. Парткаста. Ученых маринуют, не выдвигают, если не член партии.

6 сент[ября], пятница

Не получается пока ни тишины, ни упоения рабоче-читательского. 2-го и 3-го — Москва: Сов. пис., Б. Соловьев, вычеркнувший из верстки Городецкого (из моего предисловия) три абзаца (один — сноски — о С. Орлове и «шаре земном»: «Ты, предземшара, в шар свой взят», второй — о положит[ельной] роли акмеизма); моя сверка в «Сов. России»; хотят дать один тираж; ходил к Туркину, просил 20 тыс. — с условием добровольного понижения ставки гонорарной... 4-го — у Казакова, в «Академиках». Утомительный вечер: только он и говорит, и не глубоко, хоть и пространно и довольно умно...

Редактирую (внештатно) Рюрика Ивнева¹.

7 сен[тября]

Опять шумный день [...] Днем приехал на машине Рюрик Ивнев с милым фотокором пожилым, Ал[ександ]ром Мих[айловичем] Зилонджевым (Весеневым). Редактировали (он со всем соглашается безропотно — стихов прорва у 77-летнего старца! И есть очень хорошие); обедали (он привез два арбуза); снимались. Мил, ласков [...] Хорошо, что благожелательно говорит о всех современниках: Мандельштаме, Паст[ернак]е, Ахматовой, Цветаевой, Ходасевиче. Интересно о Мандельштаме. Если компания не нравилась: «Почему вы просите меня читать стихи? Ведь, пригласив сапожника, вы не заставляете его тащить сапоги?» (в лицах, показывал хорошо, актерски). О Ключеве (процесс Рамзина). Ключев у себя в Гранатном. «Я ихних газет не читаю, ничего не знаю. А кто такие? У нас в Олонецкой был Рамазин, он приказчиком был».

16 сент[ября]

[...] Перевел итальянские стихи, сажусь за Чачхалиа.

31 октября

[...] Купался в проруби каждый день, ломиком накануне вечером и утром прорубал лед. Гантели... Потом — к Казакову... То мать, то отец охраняют («у Юры зубы болят», «Юра спит», «Юры нет»). Но меня неизменно залучает и привечает...

1 ноября

На даче — кругом лес. На улице живут лишь старики Кравченко, далеко внизу. Одному жутко. На ночь заряжаю ружье, кладу на полу, возле кровати, рядом — фонарь.

Шел сегодня с водой, тащился в резиновых сапогах. И представилась моя жизнь: иду по ненастной осени, тяжело тащу ведра с родниковой яснушкинской водой.

Днем (с 11.30) возился с баней — начал делать засыпку (фундамент высок, дует полом). Через полчаса приехал Вол[одя] Леонович. Работали вместе, часа 3, говорили о Пушкине, Смелякове, Твардовском, женщинах, предках, вечности (я: бессмертия нет — в личностном смысле, и славы. Пушкин — золотая пылинка в вечности). Радость дружбы: приехал!

10 ноября

Приезжал 5-го на день В. Леонович — засыпали баню, пили (вечером) бренди, читали до полоумия Блока и Есенина (я) — и Некра-

¹ Запись Р. Ивнева в мемориальном альбоме: «Если бы больше было на свете таких чудесных людей, как Дмитрий Голубков, то всем жилось бы значительно лучше и приятнее. Вот в неотесанном виде мысли, которые возникли у меня, когда я покидал чудесный уголок в Абрамцеве».

сова (он; поразил «Рыцарь на час»). [...] Ю. Казаков (принес Набокова «Приглашение на казнь» — оч[ень] интересно). Парились два дня подряд (8-го и 9-го) [...]

Не писал — только поправил несколько стих[отворе]ний, и в два «подаренных» Казаковым дня прочел Набокова.

30 марта, воскресенье [1969 г.]

[...] 27—28—29-го — семинар молодых (5-е всесоюзное совещание); я — «руководитель» (наряду с Ваншенкиным, Друниной, Снеговой, Гребневым и Кугультиновым — под эгидой Кайсына¹ [...]) Кугультинов умен и образован. О буддизме: «Вкратце — это, чтоб человек чувствовал: мне дано больше, чем я заслуживаю». И всегда — удовлетворенность.

На семинаре встретил Ю. Казакова. «Ст-таричок, это ты хорошо написал об Абрамцеве». Жена спрашивает: «Кому это он посвящает?» Я говорю: «Мне. Мой дом на берегу оврага, черемуха, рябина и т. д. Я одичал за зиму в лесу: за всю зиму женских ног не видал. Жена все в брюках ходила».

5 апреля

[...] Утром пришел Ю. Казаков — бодрый, «непьющий» («решил только по праздникам, и добиться, чтоб у меня в холодильнике стояло спиртное, а я спокойно проходил мимо и не прикладывался»). Он написал 3 рассказа. «С-сейчас 4-й пишу — во! гениальный будет рассказ». Болтали с час, я его проводил. Обещал взять (в машине) в Лавру на Пасху. Сегодня — солнце, холодный (но весенний, душистый) ветер, грозное грохотанье срывающегося с крыши снега.

Вчера и нынче — работаю роман² (только подкапываюсь: выпечтал из зап[исных] книжек, мозгую и т. д. — ни абзаца еще нет: страх и лень — руку не поднять...).

15 апреля

Ходил к Казакову. Он подарил деревянное раскрашенное яичко (из Загорска), завел магнитофонную запись Б. К. Зайцева (о Буине — оч[ень] интересно: в машине от Грасса до Ниццы: «Я знаю, я молодой человек, предполагал, что когда-нибудь явится сукин сын со стеклянными волосами, зачесанными назад, и уведет от меня Галину (Кузнецову); но чтобы отбила баба! (Марго)». С женой был жесток.

Принес от Казакова ведро чистой воды (сруб родника расперло во время морозов, вода ушла, приходится пить мутную).

Работаю, пишу роман. Печка гудит, потрескивает «система». Грустно и хорошо. Весенняя, теплая и мокрая ночь за окном.

19 апр[еля]

[...] Пишу по 7—9 страниц (с обеих сторон), часов по 5—6 в день. Вечерами — чтение «3 веков рус[ской] поэзии». Весна идет, сходит снег, печальна и гола еще земля. Серый тон. Купаюсь. Обедаю в кафе. Сегодня (в субботу) сидел там с Ю. Казаковым и приехавшим насчет дачи Г. Семеновым [...]. Болтали о том, надо ли отвечать читателям на письма (Каз[аков]: «Я никогда не отвечаю») [...] и — надо ли читать современных писателей (они — яростно и убежденно: «Надо! Есть гении — Фолкнер, Хемингуэй». Я: «Но ведь это не современные. И потом, конечно, есть исключения».

¹ Кулиева.

² О Баратынском («Недуг бытия»).

4 мая

Ныне — Казаков Ю. [...] Слушал, плача и матерясь истерически, «Рапсодию на темы Паганини» в исп[олнении] Рахманинова [...] «Он играл и получал 5 тыс. долларов за концерт, а дамы в чернобурках, ... не понимая, слушали и восторгались. Ах, старик, только я понимаю это ...»¹

Узнав, что веду дневник, и увидев его, пришел в смятение [...], замахал руками: «Теперь я ничего не буду с тобой говорить! Тебя посадят, прочтут в дневнике про меня и все ...» Завалился на мою кровать, храпел 4 часа. Пришла его мама с клюкою, говорила, какой он добрый и хороший [...]

Роман ташу — помалу (5—6 «обоюдных» страниц в день).

12 мая

8-го остановил роман (написано примерно 2/3 — вчерне, конечно); приходится жать карельскую поэму — 1 июня сдавать.

С 5-го по вчерашнее — дивная погода, теплынь, солнце. Жаль, что так увяз в работе, — ни разу не выбрался в настоящий лес. Правда, и здесь, в ближней округе, все цветет прелестью и счастьем: поют и подлетают (по веткам дуба) к самому окну горихвостки; хохлатки мягко вплетаются в траву лиловыми лоскутками.

Черемуха набрякла почками — вот-вот разбрызнется белизной. Маленькие веселые искорки березовой перволиствы сквозят меж потемневших елей [...]

Вчера прикатил (поздно, как всегда — часов в 6) Леонович [...] Сегодня летит в Тифлис (уже не служит там — лишь переводит). Прекрасно и много (до 10.30) проговорили на террасе. Дал [ему] валенки — к ночи похолодало. Страшусь за «Милёлю» (уже есть верстка).

19 мая

День моего рождения — а я один. Вчера праздновали. Были: В. Дувидов (нарисовал прелестный рисунок в мемориальном альбомчике) [...] и (вечером) Казаков (сперва очень мил, весел; рассказывал — показывал, как лет 20 назад в Лосинке он играл в кино, в оркестрике, и евреи упрашивали каждый вечер задержаться и исполнить евр[ейские] песни — «Семь сорок» (?), «Фрейлехс» и еще что-то. Плясал, изображая евр[ейский] танец, оттопыривая ладошки на грудь; потом стремительно напился и пришлось тащить через Яснушку оврагом домой. Пел божественный соловей, как раз в черемухе против мостка, мы присели под елкой на лавочке, слушали — Каз[аков] пьяно и восторженно матерился. Пошли — и спугнули соловья. По дороге: «Ст-тарик, я тебя б-боюсь: ты можешь стать здесь, посреди ов-врага — и всех нас [...] послать».

Ю. Каз[аков] принес читать «Защиту Лужина» набоковскую.

1 июня

[...] Оформление в Италию, фильм «Андрей Рублев» [...], талантливо, религиозно.

20 июня

14-го начал печатать (правда, переделывая, как всегда) роман. О «Милёле» пока — ни гу-гу. Жду сверки...

¹ В этот день в альбоме отец сделал карандашный портрет: «Ю. Казаков слушает Рахманинова (Рапсодия на темы Паганини)». Благодарный гость подписал портрет: «Спасибо, Митя! Ю. Казаков».

25 июня¹

30 июля

[...] Жара. Пишу роман («Восторги»), переписываю на машинке уже вторую часть. Гнетет он меня, как собственная жизнь, как все путаное, страшное и неразъяснимое, что я перевидал и почувствовал — и в личном, и в художественном, и «политически». Но все это — обо мне, и мне все чаще кажется, что и самоубийство Олега — тоже обо мне.

3 августа

До сих пор не отправили мою характеристику в Ин-т истории (для Италии): тянут в надежде на опоздание. 31-го был в Москве; ходил к Л. Карелину (по совету Ю. Казакова); П. Вегин сказал: «Анат[олий] Кузнецов, парторг тульских писателей, лауреат и т. д., остался в Лондоне — теперь перестраховка».

18 августа

Работа: цикл «На Ильмене» (6 больших стих-й); «Восторги» (правлю, перепечатаваю черновик).хлопоты о характеристике наконец увенчались: «подписали и вчера должны были отправить в райком».

Ездили в Хотьково к Шергину (в четверг), снимали кино...

Вчера был Казаков, принес «Другие берега» Набокова и пластинки: «Всенощную» в исп. хора Донских казаков. «Чуть не откинул к-копыта: гипертония, сердце...»

31 августа, воскресенье

Один: вчера утром уехали наши. Числа 25-го был Ал[ександ]р Либединский (Крылов). Умно говорил (он подписал письмо от математиков в защиту Ал. Вольпина-Есенина: «Меня обманули политики») о том, что писатель, художник, вообще человек — не должен участвовать в политике, что любая тенденциозная вещь, любая борьба — партийно-политическая — это «бесовщина». Я спорил эмоционально; по духу, по философии это мне близко.

Казаков принес «Дар» Набокова. Читаю «Другие берега»; перечел «Новь» — она мне понравилась. Умно, хоть и холодновато.

Заканчиваю переписку «Восторгов».

Был на днях в Муранове. Старый парк. Узкая высокая аллея. Тишина. Лег на спину; вверх, в просквоженных небом и солнцем зеленых кущах лип, трещали и металась грачи — их тени скользили иплыли, как под водой.

Двухэтаж[ный] мрачно-красивый дом с низкой башенкой, шестигранник (шпиль), белые карнизы, белые наличники, контрфорсы (!) — похоже на англ[ийский] замок. Из окна — луг, лощина, в котор[ую] треугольником втекает волнистый, многоярусный лес. Подземный ход (Бар[атынский] копировал именование Кравцова, англ[омана], соседа по Маре) завален в 1908 году. Зимний сад. Худой, оборванный старик Наговицын, его седая жена с трясущ[имися] руками, милая старинная музейная девушка — дочь — лучик, слабый, большой: «Большое место: почему Бар[атынский] на задворках в своем доме? Тютчевы пеклись о своей славе».

1 сентября

Закончил 1-ю редакцию (переписал) «Восторгов».

¹ В тот день в гостях у писателя были старшеклассники из харьковского Клуба любителей книги им. Лермонтова: «... столько радушия, сердечности, истинно русского гостеприимства нашли мы в этом доме...» — написали они в мемориальном альбоме.

8 сентября

[...] возврат стихов отовсюду (даже из «Мол. гвардии»).

[...] 6-го приехали мои с Н. Банниковым.

Приходил Ю. Казаков, помог повалить для «торцовки» старую черемуху, подарил свою книжку.

С восторгом дочитываю Набокова («Другие берега»).

Мерзкое, дождливое ненастье. Читаю и правлю «Восторги». Пусто на душе. Впереди — мглисто.

Осанистая поступь лилипута.

Торжественные речи дурака...

Задумайся,

разоблачи,

распутай —

Запутаешься сам наверняка...

Познакомился с Н. В. Кузьминым и Т. А. Мавриной. Дождик; косоглазый сутулый старик в светло-бежевом плаще и шляпе, с палкой; под ручку — она, еще пикантисто-мадамистая темноглазочка с внимательной и равнодушной улыбочкой, стройненькая старушка: «Будете проезжать на велосипеде — позвоните...»

12 сентября

[...] Казаков бывает почти каждый день. Превосходный его рассказ прочел («Осень в дубовых лесах»). Понял: это писатель звука (не мысли: банален; нет страсти — спокоен); вроде ранней Ахматовой и раннего же Бунина: очень просто, почти ничего, а — воздух, звук, гармония.

18 сент[ября], четв[ерг]

[...] Задумчивая пышность осени, ясное и грустное ее великолепие...

23 сент[ября], вторник

... Бор[ис] Орлов с Лолием Замойским (итал. корресп[ондентом]¹. До 2-х ночи — рассказы про Италию, Марио дель Монако (владелец ресторана!), Феллини, итал. народ[ные] характеры («обаятельны даже мошенники»).

6 октября

Вышла «Милёля» (25/IX — сигнал) [...]

Читаю «Дар» Набокова: гениально; очень похоже на ранние стихи Пастернака, но — трагичнее. Пишу «Озеро» [...] Акварель «Наша дача».

21 октября, Москва

Сезон абрамцевский закрыт: вторую неделю бываю там лишь наездами. 12-го была там Витольда Юркевич, польск[ая] писательница, заинтересовавшаяся романом «Милёля», пришел и Казаков.

13 января, 1970

Сейчас (11 утра) звонил Ю. Казаков. Кладбищенский разговор: «Твой образ передо мною... Не обязательно жить до 70 лет — сейчас

¹ Л. Замойский сделал такую запись в альбоме: «В память о приятной беседе об искусстве любить в Италии и генах гениальности накануне отъезда».

такое время, что в 40 лет дают дуба (sic!). Я прощаюсь с тобой. Через несколько дней ты, наверно, увидишь в «Литературке» ма-аленькую черную рамку и в ней сообщение, что я помер. Прощай, обнимаю». Звал его к себе, просил — ничего. Слабый, умирающий голос. Вялое упорство человека, которому надоело, не нужно жить.

Я тотчас позвонил Семеновым; Лена дала знать его жене [Тамаре]. На след[ующий] день Юра явился к нам (в Москве) с Тамарой, увлек всех в ресторан (Дом кино, у Васильевской) — и дал «отвальную» по водке [...]

10 апреля

Тоска по Абр[амце]ву, по большой работе [...]

21 апреля, вторник

Сегодня ходил к Казакову. Он смирен, печален, задушевен. Заводил Вертинского (париж[скую] пластинку) и марши царского времени; топил камин (новый), угостил обедом.

Два дня хорошо работал (по 4—5 часов писал; вечером читал); р[асска]з «Простая девчонка».

2 мая

Две недели в Абр[амце]ве, один (кроме суббот и воскресений). Полторы недели — ненастье, дождь, холод. Последние 5 дней упонительны; особенно сегодня: теплынь, набухшие зеленью почки черемухи уже пахнут миндалем, кукушка кукует со вчерашнего утра; вечер, темно, но птички (зарянки?) низко и резко перелетают друг за другом (за забором, на пустыре), гонятся, паруются с коротким, замирающим щebetаньем.

29-го триумф: «Нов. мир», рецензия Атарова на «Милёлю» — сокращенная, с ужасной «самою» (вместо «самоё») подписью — уже Косолапова (не правомочной, ибо № 2 весь делался Твардовским: только в марте вышел приказ о новом редакторе). Но все равно — «радость безмерная».

[...] Был Казаков; о рецензии — ни гу-гу: у него правило — никого не хулить, но и не хвалить и не поздравлять.

Начал статью о Бунине. Десять дней писал, печатал, правил р[асска]з «Простая девчонка».

[Кот] Пеп очень облегчал мне одиночество. Он «себя оправдал».

12 мая

Вожусь с козленком, читаю про пчел [...] Подписался на загорскую газету «Вперед».

8 июня, понедельник

19 мая, в субботу — мой «юбилей», 40 лет, в Абрамцеве. Смешно, шумно, пьяно и жалко — вся моя жизнь! Были: Ром[ан] Минна с женой, Кожинины (гитара; малопьющий Вадим; на вопрос Ю. Казакова: «Ивана Ал[ексеевича] не люблю: он написал литерат[урный] донос на всю Россию — «Деревню»), Ю. Казаков, Вронский, Г. Валиков, Ашот Граши [...]

Вчера ходил к Казакову. Мил, потому что целен, наивно-простоушен и беззлобен [...]

Работать еще не начал — хочу, а пока, без работы — томлюсь, тоскую ...

Сегодня зашел к соседям. Синий и зеленый благоуханный день; сидят у южной стены три старые, полуголые женщины, нежатся под ярчайшим, прямо крымским солнцем (лес-то весь выведен ради огорода и сада) — и самозабвенно дуются в карты. И вдруг подумал, что они

со своей растительной, простенькой жизнью, этим огородом, садом, внучками, ползающими в зеленой нагретой траве, с этими картами — гораздо более приобщены вечности, чем я, тоскливо томящийся кратким бездельем, поглощающий книги, мечтающий о «бессмертных» романах и стихах [...]

Несоразмерно много жизни и страсти отдал я искусству, книге, вялой и неопределенной мечте...

9 июня

Мрачное настроение (несмотря на лучезарность прохладного, си-него дня). Одинокость, размышление о бессмысленности собственной жизни. Ну что; ну, проживу еще 40 лет, напишу и издам два десятка книжек... А что изменится от этого в мире? Станет ли лучше человек, легче ль ему заживется? И, вообще говоря, не качественней ли делается народ, человек, в годину испытаний, адских напряжений? И, в частности, насколько испортился я в моем благополучии («и книги выходят, и квартира 3-комнатная, и дача...»)?

Есть люди, обреченные на одиночество. Мать, теряющая детей (нравственно), мужч[ина] теряет друзей, пытается остановить деспотически (детство, юность, молодость), интеллектуально; мстит под старость: доносы, сплетня, отказ дать займы, отбив[ание] жены; даже кошка убегает [...]

Страшное время. Даже в детях — усталость и цинизм.

15 июня

Прочел Ч. Айтматова «Белый пароход» — грубо пишет (может — перевод?), но мысли большие, не могут не трогать.

16 июня, вторник

Упоенно пишутся стихи — и азиатские, и «здешние». Сегодня написал два стих[отворени]я.

20 июня, суб[бота]

Панегирич[еская] рецензия в «Моск[овском] комсомольце» Н. Дардыкиной о «Добр[ом] солнце».

26 июня, пятн[ица]

Сутки в Москве (приехал сегодня, в 4-м часу). Вчера — суматошный день, радостный, печальный (некролог о Л. Кассиле и его рецензия о «Добром солнце»), нервный и тревожный. Ходил на заключит[ельный] концерт конкурса [им. Чайковского]. Прекрасный концерт!

22 июля

Вчера был в Москве. Вернули (в «Москве») мою статью о Бунине: от «верхов» указание — отмечать юбилей как можно скромнее, полемизировать с апологетами Бунина.

4-й день пишу Бар[атынско]го, много читаю. Упиваюсь пушкинской эпохой и литературными сварами того времени.

10 августа

Прелестная погода, изредка перемежаемая дождями. Появилась осенняя тишина, ясная высота небес, первые ржавые листки на ольхах и березах.

Словно черные коты, тени в траве от фонарика ночью. Луна на-чистилась, усилилась; идешь, смотришь сквозь верхи деревьев — она, кажется, быстро перебегает меж черными ветвями; выйдешь на откры-тое место — она замедляется, плавнеет — но как чисто и сильно блещет над ручьем и — параллельно — в ручье! Что ярче — в вы-си или внизу?

По берегам лепились и переплетались темные деревья, набивая и без того тесный пруд своими отражениями [...]

Лето шумное, все время — гости [...] Парились в казаковской ба-не, потом у нас.

Писал Баратынского. Если б можно было о великих поэтах писать, как пишутся рабочие, «внутренние» рецензии!

О, как мешает благоговень!

14 авг[уста]

Третий день гостит Дувидов с борзой (Валдаем). Очень веселый, милый человек; поем, смеемся; он рисует (меня и к «Окрестности»).

11-го ездил с Казаковым в Мураново (Булю брали). Пигарев ча-са два отвечал на мои вопросы [...] Держал в руках «Сумерки» с прав-кою нескольких стихов, принадлежавшей автору. Никаких архивов Бар-ат[ынского] не сохранилось в музее. Возвращался один (нелюбозна-тельный Казаков, потоптавшись в музее с час, уехал с Булей).

17 авг[уста]

Вчера кортежем из двух машин, водительствоемых Дувидовым и Казаковым, ездили в Хотьково (Митино) к Шергину. Со стариком бы-ла лишь его сестра, темненькая женщина в темненькой беретке; он, оде-тый в ветхое пальто и серую кепочку, сидел на террасе, курил «При-бой». Страшно всполошился, рассказывал вперебой [...] Но вот уприсол попеть — и старик, разогревшись, спел отрывок из «Голубиной книги» и куска былин об убийстве Грозным Федора-сына и о Добры-нюшке (наказ его матери). Это было чудесно. Буля слушала, стоя на по-роге; Казаков пооранжевел от волнения. Витя рисовал все время Шер-гина [...]

23 авг[уста]

Шумное, людное у меня это лето. Непрерывное гощение; ве-селье [...] Это хорошо — жизнь, но далеко отошел я за последние го-ды от жизни и шума, устаю очень.

Витя [Дувидов] возил нас третьего дня в Ростов Великий; на об-рат[ном] пути заехали в Старово, в «Шаляпинку». Грустно: Нерль зар-осла и исчахла, дачи нет — разобрали и, соединив с бревнами коро-винского дома, соорудили безобразный барак для детского санатория.

В Москве постигла меня беда: перенесли молодогвардейскую книж-ку (14 л. прозы) на 72-й г. — из-за «Окрестности», планируемой на 71-й г.

Все говорят (уже 3-ю неделю) о холере, но случаев мало, слава Богу.

26 авг[уста]

Гостит Витя Дувидов. Приезжал (сегодня днем) [поэт] Юрий Чер-нов из Дмитрова. «Ох, как не хочется уезжать», — написал он в аль-боме.

«И пишется блистательный (?) роман» (о Баратынском). Хоро-шо...

28 сент[ября]

Купил вчера Баратынского 1835 г. у некоего Эмиля, за 30 руб.
Страшная и нелепая смерть Сережи Дрофенки.

11 окт[ября], воскр[есенье]

Две недели в Москве, серой от ненастья. Печатаю на машинке Бар[атынско]го. Полубессонница. С В. Дувидовым ездили на концерт Лотар-Шевченко. Старуха с героич[еской] судьбой, вдохновенная, но... Шопен был просто плох — разбегенная колымага с деревянным стуком шаталась из стороны в сторону. Френк был хорош, Дебюсси скучноват.

Дувидов сделал хорошее оформление к моей «Окрестности».

2 мая [1971 г.]

Сегодня приехал в Абрамцево [...] Изболелся душою — сомнения, жалость, любовь... [Константин] Гердов: «В тебе есть ниточка серебряная. Серебряные колечки в душе... Совсем пацан. Н-не состоялся [...]»

20 мая

[...] Ван Гог (в Музее изящных искусств)! Какой путь проделала душа к радости и солнцу! От первых работ — коричнево-серых, унылых — к ликованью и свету. Сколько мужества. В нем и Достоевский, и Рабле.

... Душная бессонная ночь. И опять — перебирание своей жизни, ощущение пустоты, выжженной непомерным эгоизмом.

Перебелию переводы чеченских песен.

5 июня, субб[ота]

Полторы недели жары, сухой, цветущей... Купанье, думы, Баратынский, отчаяние.

Но как пошла и пуста моя жизнь! «Ни одного поступка...» «Эгоизм, возведенный в жизненный и философский принцип». Единственным ее оправданием — единственным поступком — могло бы стать высокое и прекрасное творчество, значительные плоды его.

Но их нет, они не могут родиться на такой рыхлой и податливой почве, как моя душа.

1 июля

Только что покончил Баратынского (перебелил на машинке — переписав на 9/10 и увеличив вдвое). Работа эта заняла всю осень, полмая и весь июнь.

19 июля, понед[ельник]

[...] В субботу — в банный день — Казаков, Семеновы, Хмелик с женой — испанкой Роситой. Очень милый, изящный и, видимо, благородный человек.

Г. Семенов [...] интересно рассказывал о поездке в Париж (турис-том) и о корриде в Авиньоне.

Аутотренинг Леви («Охота за мыслью»). Завтра в Москву.

28 июля

Чудесная жара в Абрамцево [...] Серо-сиреневые стволы огромных берез. Народишко, скользящий в зеленой сутеми аллеи, — как мелкая рыбешка в аквариуме.

Проза Мандельштама, Буля, [кот] Джой[...] Радость, печаль, усталость... Неужто поправится судьба? Дай, Боже, силы, чистоты и доброты мне.

10 авг[уста]

Рассказ мой (повесть «Озеро») принят в «Нов[ом] мире», но печатать обещают не скоро. То же — с «Полежаевым» (в «Дружбе народов»).

17-го еду в Румынию.

Месячное безделье тяготит, бесит, подлит душу, характер [...]

8-го в воскресенье был с [писателем] Лазутиным в Абрамцевском худож[ественном] училище, в общежитии, у студента-резчика Миши Смеяна. Купил самшитовую старинную иконку «Св. Варвара» — за 40 р.

8 сент[ября]

[...] пишу в Абр[амце]ве... Тоска по работе. Желание жить честно и трудолюбиво.

8 окт[ября]

Позавчера прилетел из Бурятии. Был там 20 дней. Трудно, но интересно — до упоения. Уйму впечатлений набрал. 3 окт[ября] купался в Байкале. Молодость еще есть, и вера вновь вспыхнула.

Работать, работать и очищаться.

1 ноября

В Абр[амце]ве окончил «перевод» [бурятского поэта] Дондовой — 3/4 написал сам, боюсь отсылать.

[...] вечер в сумерках на неуютной даче Казакова; его вялое злорадство по поводу статьи Веры Леонид[овны] Андреевой в Литгазете, где она «прикладывает» меня за «безграмотный язык «Милёли». Его менторский, брюзжащий тон: «Я п-прочел твой роман... 1-я часть — во-все из вторых рук... 2-я получше, где современность. Регент был, так сказать, освобожденная должность — а у тебя он (Скворцов) сочетает чиновническую службу с регентством (у меня сказано: одно время был регентом) ... И я нашел у тебя б-безграмотное выражение: «пятое через десятое». А надо «с пятого на десятое». Холоден и недоброжелателен.

Чтение Герцена и Дхаммалады.

Одиночество и тоска.

5 янв[аря] 1972 г.

Вчера вечером — прямо из Абр[амце]ва — в Большой: слушали [...] «Тоску». Прекрасный спектакль.

29 мая, Абр[амце]во

[...] Баратынский, одиночество.

Рецензия Липкина в «Новом мире» (конец апреля) и поездки из Москвы, сюда, двойная радость... Мелькают стихи в голове, обрывочные мысли — но все отдается роману. Как я боюсь за него! Он — одна из главных проб моей жизни, аттестат зрелости...

В Москве — редколлегия «Дня поэзии». Тошнотворно. Урезывали Ахматову, Липкина, Глазкова; сняли оба моих стих[отворени]я («В Лавре» и «Заметки на полях путеводителя»).

Работа. Нужно кончать Бар[атынско]го.

1 июня, Абрамцево

29 мая приехали Липкин и Лиснянская¹. Гостили два дня. Беседы, прогулки (в парк, где как раз открыли врубелев[скую] скамью). Стихи (об Армении) Липкина — прекрасно стих[отворени]е с рефреном: «Хлеб, вино и Господь». Инна стала писать строже, культурней и осмысленней. Он очень болен: сердце, усталость. Любит ее нежно и заботливо. Замечат[ельный] рассказ об окружении (как, попав в станицу, уже занятую немцами, выдавал себя хозяину — старому казаку — и его жене, подбирающей груди перекрещенными руками, за армянина: был худ, смугл и с усиками).

Я сказал Липкину:

— Поэты 19 в. почти не касались исключит[ельных] явлений, реальных ужасов своей биографии (12-й год — лишь у Толстого; проступок Бар[атынско]го никак не отражен в его стихах; слепота Ив. Козлова, провалы в безумие батюшковские и т. д. — не «зарегистрированы» стихом. Наши непрерывно «нажимают» на педаль страшного: война, смерть, кровь, чудовищ[ные] ситуации, которыми так богат 20 век. И даже у Вас, Семен Израилевич, есть это.

— Да. Но я презираю это в себе, как слабость. Пресловутое самовыражение очень противно. Без конца разоблачаться перед читателем — недостойно поэта.

Липкин рассказывал о Булгакове: «Меня удивляет не то, что трамваи редко ходят, а то, что они ходят вообще (на остановке у Солянки в 30-е г. (?) [...] Женщины на него глядели — статный, прямой, щеголеватый, дворянская внешность. Логичный, сильный ум — поэтому непригодность, неумение приладиться к быту.

Не любил Маяковского — олицетвор[ение] всего, что не нравилось Бул[акову]. Любил Сталина (?) Тот его поддержал, но, прочтя пьесу о Батум[ской] стачке (эпизод, где неграмот[ные] рабочие путают листовки с фальшив[ыми] деньгами), взъярился.

Платонов был четок в определениях, остроумен. О дискуссиях: Слепые совокупаются в крапиве!

Маяковский на радио. Диктор объявил: «Сейчас выступит поэт Маяковский!» Маяк[овский] прочел и сказал: «Выступал Маяковский вè. вè.»

Деньги давали сразу после передачи. Пошли в буфет. Отдельно сидел Маяковский. Они (молодые) не решались подсесть. Была лишь кабачковая икра и чай (год Великого перелома). Проходила 1-я жена Луговского, красивая интеллигентная женщина в очках. Маяк[овский] ей: «Выходите за меня замуж!» Она, улыбаясь: «Нет, не могу». Он сжал стакан в кулаке, потекла кровь».

Липкин назвал меня «прекрасным поэтом, замечательным прозаиком, жрецом — чем-то вроде средневекового звездочета...»

8 июня

Хорошо, что пишу Баратынского, думаю о нем долго, уже лет 7, и пишу давно, два года; в третий раз все переписываю.

Хорошо, когда пишет кто-то большое, со сверхзадачей, неспешно и терпеливо, мучительно и бескорыстно. Может быть, это — как воспитание ребенка — одно оправдывает долгий блуд легкого сочинительства.

¹ «Как хорошо мне было с вами в Абрамцево, — Аракси и Митя, соловей, береза, Яснушка — все, чья душа открылась так радостно. Люблю вас, — такой автограф оставил в альбоме С. Липкин.

«Он пишет большую картину», «Он работает над романом — для себя». «Она уже несколько лет сочиняет поэму...» — Какая славная таинственность! Какая значительность, отзывающаяся уже легендой...

Слава подвижничеству, исполать творческому затворничеству!

Любовь, работа, доброе лето. Есть радость, есть молодость еще! [...] Господь просветил — о, надолго ли — меня? Если б навсегда...

24 июня

Третьего дня был в Москве: отдал машинисткам I-ю часть Баратынского и вечером ездил к Ольге Архиповне... (по матери — Баратынской). Милая добрая женщина лет 65. Мучилась нищетой с матерью (полу-Барат[ынской], полу-Казем-бек), сперва в Казани (род[илась] в «сером доме» Ник[олая] Евг[еньевича] [Баратынского] — «доме всех, кто хотел учиться: целая армия народ[ных] учителей, крест[ьянских] детишек, начинающих художников) — потом в Москве, в Аксаковском (М. Афанасьевском) пер[еулке]. («Мама умерла — 4 года [назад]. Инфарктница, вжуччайших условиях! Гроб в комнате не уместился, стоял в прихожей») ... Поразительное сходство (лоб, лепка полукруглых век, мерцающий светлый блеск выпуклых глаз; прямой, чуточку приподнятый нос; мечтательный овал крупных, изящно округленных скул) с прадедом... По близости живет правнучка Пушкина — тоже беднячка.

9 июля, воскресенье

Завтра — может быть, сегодня — закончу мой роман. Близится смерть моего любимого героя, почти ровесника (44 года!) и сердце ощутимо стискивается, и какая-то торжественная тоска наклоняет мою голову...

10 июля

Сейчас, в 15.30, окончил «Недуг бытия».

Прекрасная, мягкая после ночного дождя зелень; первые ягоды радостно краснеют в мокрой траве, пищат и поют птицы. Полуслепая мама возится внизу на кухне, Марина поймала и отпустила красивую сиреневую бабочку...

1 августа

Вчера сдал «Недуг бытия» в «Дружбу народов» и в «Сов[етский] пис[атель]». Дал читать [редактору] Фогельсону.

Страшно и весело.

[...] Жара. Надежды. Страх... Послезавтра едем с Булей в Гагру.

7 сентября, Абрамцево

24 дня в Гагре, в шумном «главном» корпусе, окнами на грохочущую улицу [...]

[...] рецензия Сурганова, письма — нечеткие опоры шатучей радости.

Жуткая ночь в Adlerском аэропорту: сотни измученных людей, спящих на заплыванном полу; 5-месячный малыш-искусственник, родители которого запасли ему еды лишь на 3 часа; пожилая женщина, похожая на Ахматову, больная, просящая нач[альника] аэропорта посадить ее, наконец, на самолет (в Москве — нелетная погода); буфет, где продается лишь «клюквенно-винный напиток», пирожные и клоки липкой темной рыбы, на которую и глядеть-то страшно, — и красавец лайнер перед закрытым рестораном, летающий, разумеется, в любую по-

году, — элитарная машина... Тягостная картина унижения человека — давняя, хроническая, в издевательской раме из пальм, белоснежных павильонов и речистых плакатов.

В канун отъезда (когда сдавал «Недуг бытия») — мелкое предательство Казакова, похвалившего мой роман (о Баратынском) и взявшегося рецензировать его для «Дружбы народов» — и отказавшегося сделать это, когда ему предложила Галя А. (Куняева) — через 5 минут после разговора со мной в ЦДЛ.

Хочу жить один и строить себе обиталище.

11 сент[ября], понед[ельник], Абрамцево

Восхитительная, бледно-голубая, с уже обильным пыльноватым золотом и сухая погода [...] Кушаюсь и плаваю по утрам в пруду, закрепляя уроки брасса, пишу стихи.

Читаю Платона и журналы.

[...] Вчера был Казаков — виноватый, смущенный. Все, что думаю о нем, сказал ему — что душа скупая и пустая, полная лишь себя-любием и тщеславием, что настоящее его скверно, а будущее прямо зловеще, если не соберет опрятно, венчиком, уцелевшие в душе крохи; что не добр, а благодушен, а пора бы порадеть о душе...

Слушал задумчиво и растерянно. Извинялся тем, что Тамара отговорила писать рецензию обо мне: мол, протянешь с полгода, измучишь Митю и т. д.

16 сент[ября]

[...] поездки в «Сов[етскую] Россию». Заявка — почти безнадежная — на «Избранное» [...], выступление в Доме детской книги; «Дружба народов». Г. Шторм принес рецензию на «Недуг [бытия]». Пишет о «редкой талантливости» романа и указывает на множество идеологических просчетов, ставящих книгу под удар.

Витя Афанасьев всерьез засел за Ив[ана] Козлова; каждый день — в Ленинке, в архивах; собирается в Петербург. Будет писать повесть. Дай-то ему Бог. Чистый и преданный высокой литературе человек.

28 сент[ября]

[...] Встреча там [в Москве] с Вознесенским, его похвала моим стихам в «Новом мире».

21 окт[ября], Абрамцево, суббота

Отслужил неделю в «Лит. газете» [...]

... разочарования, разочарования... Все блекнет уже при втором, охлажденном взгляде [...] Единственная опора и надежда — стремление к чистоте, к строгому рабочему одиночеству, к высоким книгам.

Читал Платона, кончил 1-ю часть 3-го тома. Сейчас сажусь за стихи.

Он оставил себе еще четырнадцать дней жизни. День 4 ноября стал для него последним. О яростном противлении той жизни, которая уготовила ему судьба, — стихотворение «Ухожу», созданное еще в 1965 году.

Ухожу

От шуршанья шин машинных,

От докучных битв мышинных

Ухожу.

Погружаюсь в лес осенний,

В тишину и шелестенье.

Ухожу

От молчания и лая,
От тебя, пустая, злая,
От удачи и беды —
К блеску свергнутой звезды,
Стынувшей во рву глубоком.

Ухожу

От чужих витрин и окон.
Я вхожу в костер студень,
Надо мной сияют клены.

Пламенею и дрожу.

Сыптесь, золотые листья,
Научайте бескорыстью —

От корысти ухожу.

Сбрасываю, как листву, я
В глину рыжую лесную
Ржавь и лжу.

Ухожу...

Публикация Марины Голубковой



Ю. Казаков

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

14.IV.1969.

Дима! Ты исчез, а я у тебя был 16 раз и мне надоело ходить твоей улицей. Поэтому — как объявишься — приходи за Розановым, Ремизовым и червонцем, все они тебя ждут. Христос воскрес!

Ю. Казаков

10 октября 1970

Митя!

На твой дом навалило такие вороха листьев, что крыша рухнула... Сегодня суббота. Топлю баню. Хожу на охоту. Живется легко. А ты? Каковы-то поморухи дак? На Соловках был? Небось роман о биологах в самом разгаре? Мой Грасс совсем-с готов-с... Не забывай! Пиши.

Ю. Казаков

А не навестить ли тебе леса, недавно столь густые?

15 февраля 1971

«О мой зрачок! О, айнам-казим!

Каково-то живется тебе в центре культуры и талантов — в твоём доме на Красноармейской? Заводишь ли граммофон? Сочиняешь ли стихи? Вспоминаешь ли Абрамцево?

... Абрамцево буду продавать. В России я никому не нужен, а здесь я нашел все, что хотел — здесь хорошо будет моей лени и прочим качествам. За премию куплю себе «Волгу». Свадьбу будем справлять в ауле, заявление о разводе я уже послал, одним словом — привет вам, птицы!

Вот милый Митя, бывший мой сосед, как складываются дела. [...]

Целую. Юра

25.2.1971

Митя!

В Абрамцеве сгорел твой сосед. Лег пьяный с сигаретой в роте. И сгорел вместе с сигаретой, с домом, и нашли от него только косточки. Не пей на ночь, Митя! И когда ложишься — туши сигарету!..

Не хочешь ли свой дом продать, а мой купить?

Обнимаю. Юра

3.III.1971

Милый, милый, грустный Митя!

Почто грустишь так порато? Брось! Пригласи Володю, выпей с ним и спой что-нибудь, вскочив на стол, назло надменному соседу. Было же времечко золотое, пел же ты у меня на веранде!

[...] Насчет Абрамцева — зря ты удивляешься. Сам посуди, покупал я его и ворошил там в надежде «зажечь свой очаг», т. е. мы все вместе, Алешка и еще его братишка или сестренка (были такие намерения) и пр. и пр. А теперь это уж как после мародерства — это бегство оттуда, и мне уже там неинтересно, одиноко. Наверное, кто-то прокаркал во мгле моей судьбы: быть дому сему пусту! — вот он и пуст.

... Поехал бы ты в Абрамцево — в марте закаты долгие, топил бы печку, ездили бы к тебе друзья; я любил когда-то март, любил глядеть на Венеру, она как-то даже выпукло сияет в зеленоватом небе.

Ну, будь здоров, не поминай лихом. [...]

Ю. Казаков

9.III.71

Милый мой Митрий!

Отвечаю тебе как на духу.

Большой дом в полном порядке и требует одной только покраски. А если ты человек не презентабельный, можешь в нем жить без покраски хоть двадцать лет. Да ты сам знаешь, за годы краска где побурела, где отшелушилась, где выцвела. Во всем остальном от фундамента до крыши он в идеальном состоянии. Фундамент в прошлом году я, кстати оштукатурил заново. Маленький дом тоже в полном порядке, в прошлом году ему был сделан капит. ремонт и теперь осталась только отделка. Оштукатурить (где рабочие отбили) внутри и покрасить снаружи.

Вода в систему наливается при помощи крантика и нашей поселковой водонапорной башни. Водопроводные трубы (подземные) новые, я заменил.

Печки в маленьком, а также и в большом доме в порядке, пол в мал[еньком] д[оме] двойной, зимовать можно. В бане в морозы я не мылся, поскольку функционировать она начала у меня с мая 1970 года, а в конце ноября я уже уехал из Абрамцева. Но я думаю, она в этом смысле не уступает всем другим баням (потолок у нее замазан глиной и заложен рубероидом, можно туда еще посыпать слой сухих листьев; окошко с двойной рамой — не продует. Дверь, правда, не обита, но это стоит 10 руб. обить дверь). Уборные действуют. Выключатели тоже. Камин не дымит.

У меня, правда, были большие планы насчет дома — деревянные панели, расширять 2-й этаж и проч. и проч. Ну да это дело вкуса и денег.

Теперь о цене. Не знаю, старичок, сам я, как ты знаешь, заплатил 14 тыс., но много денег впулил в ремонт, в баню, в асфальт, и проч. и проч. Кроме того, говорят, сейчас дома из-за подорожания стройматериалов подскочили в цене. Я думаю, это можно будет выяснить на месте, учтя подорожание и мои затраты. А лишнего, сам понимаешь, я с тебя драть не стану, на этот счет не беспокойся.

Но только откуда ты возьмешь денег? Боюсь, что наша с тобой купля — продажа затянется на годы, а? [...]

Ю. Казаков

Когда у тебя операция?

21 марта 71

Митрий!

Хотел тебе написать стихи, но кроме рифм: ноги, боги, дроги, миноги и каталоги ничего не придумал и бросил...

Просмотрел биографию Толстого по годам, он мне ровесник, на столетие только раньше жил, и вот в 69 г. он уже окончил «Войну и мир». А? Что ты будешь делать! Зато в 96 году начата работа над Хаджи Муратом, а кончает он ее лет через пять. Так что не все потеряно, правда?

Митя, покупай ульи! Пошли Аракси договориться с Орловым, в апреле и выставишь, и начнут трудолюбивые пчелки твои летать ко мне на участок и таскать тебе мед. А ты отпустишь бороду лопатой. Как писывала в оные годы Светлана Евсева.

Земля как вымя
отелившейся коровы
(и что-то там такое)
как пасечника борода!

Будешь как Метерлинк. Напишешь как Халифман, новый трактат о пчелах. Будешь варить медовуху. Ноги твои станут как у оленя. Любить тебя будут самые нежные и шелковистые лани. Аракси будет сохнуть от любви и ревности. Зависть моя из далекого Казахстана слабыми волнами будет доплывать до тебя.

Не уподобляйся Жене Евтуш[енко], кот[орый] в «Неделе» написал завещание — вот умру я, умру я, похоронят меня, а вы приходите ко мне на могилку и выпивайте, но могилка моя будет пуста — хитрый какой! Думай о пчелах, Митя, обо мне, о любви, о весне, о том, как ты куда-то поедешь (думать о поездке в сто раз приятнее, чем ездить). Роди еще пятерых детей, поддержи чаяния демографов, закабали Аракси детьми, а то она в аглицкий язык у тебя стала ударяться, пусть кормит и рожает, а ты будешь гашивать у меня в ауле и резать баранов по своему выбору.

Ну, будь здоров, целую вас с Аракси.

Ю. Казаков

Скоро свидимся.

15 окт[ября] 1973, Абрамцево

Дорогая Аракси!

15 окт[ября] 72 года Митя взял у меня две книги. Одну — Лифаря «Моя Пушкиниана», другую забыл. Но она должна тебе кинуться в глаза, поскольку заграничного издания. Пожалуйста, отдай их маме. Уезжаю опять в Гагру, в Абрамцево снег и совсем зима.

Я тут хочу кое-что вставить о Мите в один рассказик, но, конечно, перед тем как печатать, покажу тебе и, если ты скажешь, что не надо, я выкину. Хотя имени его я не называю¹.

Прости, что в свое время никак не откликнулся, т. е. не послал тебе соболезнований, принимался писать пять раз и все выходило не то (Тамара свидетельница).

Очень рад, что роман его выходит в «Севере»².

Будьте все здоровы, обнимаю.

Ю. Казаков

«Сев[ерный] дневник» мой вышел, если у вас нет (а он продается в Книж[ной] лавке, то по приезде я подарю его вам, если, конечно, я вам еще интересен как писатель).

Всего самого доброго!

¹ После 1972 года ни Юрия Казакова, ни рукописи его рассказа перед изданием мы не видели.

² Имеется в виду первое, журнальное издание романа Дм. Голубкова «Недуг бытия».

Публикация Марины Голубковой

Ю. Казаков
ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Рассказ. Фрагмент

Был один из тех летних теплых дней . . .

Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал мне в лицо синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого . . .

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера, или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы . . .

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное . . . Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, замораживает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам — ходит кто-то по дому! А везде — тихо, как в гробу . . . Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и, если летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки:

— Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так синее, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре — будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

Тебе исполнилось уже пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный шелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями, с полыхающими окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступенькам веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль — что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, оставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне или — наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тшится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легко в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или, по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И — зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зени-

те долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, — Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда, отчасти уже знакомом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на другое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порывкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь, и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки ласково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего! . .

Л. Аннинский

КАЗАКОВСКИЙ ЗОВ

После Казакова осталось ощущение гигантского стынущего пространства, не заполненного, не обжитого, а лишь окинутого и оглянутого.

Не вписавшись ни в одно из влиятельных литературных направлений, в каждом из которых он мог бы претендовать на место лидера: ни в когорту «шестидесятников», клявшихся его именем, ни в дружину «деревенщиков», подхвативших его мотивы, — ни левым, ни правым не подойдя, ни «диссидентам», ни «патриотам», — Казаков сразу и навсегда застрял в памяти литературы первыми же своими рассказами, с которыми довольно легко (по собственной его оценке) дебютировал на самой заре «Оттепели», в середине 50-х годов.

Что он абсолютно и безоговорочно оппозиционен тогдашнему литературному истеблишменту (грубо говоря, «социалистическому реализму»), это интуитивно чувствовали все. Но не всегда могли сообразить, как и в чем. В 1956—1957 годах чемпионами протеста были Дудинцев и авторы «Литературной Москвы»; степень их политического противостояния властям была (как теперь легко судить) далеко не безоглядна, но это был политический протест. Казаков с политическими державниками не воевал. Он их в упор не видел. Он описывал хмурого, заспанного, прячущего нос в воротник шинели железнодорожного «начальника» где-нибудь «на полустанке» — так, словно с времен Чехова ничего не переменялось не только на российских железных дорогах, но и вообще под российским небом. Для Казакова словно не было ни советской истории, ни даже недавней войны.

Повоевать он не успел по возрасту. Он был чуть моложе Трифонова и чуть старше Шукшина; но даже того «отраженного» фронта, что сквозил у Трифонова в буднях авиазавода, а у Шукшина — в деревенском голоде военных лет, — у Казакова не чувствовалось. Порохом потянуло у него не от окопов, а от охоты. Что-то тургеневское, пришвинское, паустовское. Скорее же всего — бунинское.

Записали Казакова в «классики». В этом тоже был вызов «социалистическому реализму», но вызов как бы непрограммный, неподсудный. Самые агрессивные противники время от времени цепляли ему «абстрактный гуманизм». Отголоски этих нападок чувствуются у Казакова в рассказах о художниках (например, в «Адаме и Еве»); и эти нападки, и возражения против них поражают теперь ничемностью и бессмысленностью, так что даже странно, что Казаков на них отвечал, настолько это несоизмеримо с его дыханием. В сущности, он жил просто помимо этой борьбы. Его могли записывать во враги Советской власти, могли делать знаменем молодого либерального поколения, — и то, и другое болталось, где-то около его имени, не задевая того внутреннего содержания, на котором он был сконцентрирован.

Так и прошел: «тенью», «облаком», не сыграв с эпохой ни в унисон, ни в контрапункт. Так и ушел, как уходит дождь или ветер.

Критик Владимир Турбин приговорил вслед: «Его очерки и рассказы останутся памятником времен, уже уходящих в историю. По тропам, проложенным писателем Юрием Казаковым, пойдет кто-то другой, другие... Тропы... выведут... к берегу. Тут, у берега, и надо будет остановиться»...

Странная тональность этого реквиема заставляет в него вслушаться повнимательнее. Турбин ведь и сам — музыкант и стилист, работаю-

ший больше обертонами, чем основной мелодией, обертонами улавливающий ту реальность, которая от основной мелодии прячется. Так, значит, не только Казаков НЕ ПОШЕЛ тем путем, который прокладывал, но вообще на этом пути скоро придется остановиться. Даже если КТО-ТО ДРУГОЙ и попробует. А что Казаков, видя путь, даже и не попробовал идти, — это у Турбина как бы само собой. «Памятник времен».

Каких?

Писатель умер осенью 1982 года, почти одновременно со старым Генсеком. Слово по линейке очертила ему судьба «эпоху Застоя». Этим, что ли, временам, его рассказы составят памятник? Или «временам Оттепели», в которые Казаков тоже не вписался, вернее, вписался боком? Можно ли представить его в августе 1991 года?

Можно. Помните, у Белого Дома был ливень? Вот это и рифмовалось бы с его присутствием. Если бы Казаков и оказался у Белого Дома. Скорее же всего он оказался бы у Белого моря.

Как всю жизнь мыслил «помимо времен» — так и продолжал бы. Угодно было судьбе замкнуть его на «застойных временах» — замкнула. Его ландшафт шире и мощнее «времен» — погоды, меняющейся на политической карте страны. Причем это вовсе не «природное неведение», не бегство «Рольфа в леса» (хотя от некоторых природных рассказов Казакова веет аж Сетоном-Томпсоном). Нет, у него именно Россия, Русь, русская земля; у него русская история в тысячелетнем дыхании; у него русский характер, переходящий из одних «времен» в другие. Это состояние земли и людей, которые не вписываются ни в какие идеологические рамки, хотя парадоксально вписываются в жанр «охотничьего рассказа», сотворенного прямо по тургеневскому следу, или «поморского монолога», схваченного на карандаш где-нибудь под Солмбалой.

Пятьдесят пять лет прожил Казаков; из них тридцать — писал и печатался; все эти годы он имел огромный и неоспоримый неофициальный авторитет, который невозможно вывести ни из его «охотничьих рассказов», ни из «поморских монологов» (а кроме этого, и нет ничего: ни программных повестей, ни эпических романов), но — только из ощущения гигантского дыхания, ощущаемого за любым его текстом, за любым пейзажем, за любой строчкой, выточенной или не выточенной — неважно.

«Выточенности», кстати, против ожидания, у него не чувствуешь. Музыкальности — тоже, хотя виолончельно-джазовое прошлое Казакова-писателя, казалось бы, должно было подвинуть его к соответствующей организации текста, а литературная одаренность — к щегольству. Лучшие ученики Казакова (например, Георгий Семенов) именно на этом построили свою «оппозицию официозу»: на музыкальности ритма и на выточенности слова. У Казакова это как-то не «ухватывается». Есть ощущение странной простоты: простоты слова, мысли, пейзажа, детали. Ощущение смелости, но не подчеркнутой, а отрешенной: именно в этой вот простоте хода. В след, так в след, в лоб так в лоб, тропой ли, целиной — это даже не от «ландшафта», это — от внутреннего направления. Так ходит великан по земле, созданной для великана.

Земля у Казакова — сырая. Буквально: ветер и туман.

Нет ни одного пейзажа, где бы не дул ветер. Если ветра нет, замечено, что его нет. Ветер предзадан, он — как бы исходное, ожидаемое состояние. И туман. Если тумана нет, сказано, что его нет. Но чаще всего — есть. Туман извечен, изначален: Сырость пронизывает все, влага висит в воздухе. Отпотевают стекла, отсыревают стены.

Как правило, туман и холод скрещиваются в одном пейзаже, но в этом нет никакой нарочитости, эмблемной «врезанности». Это — кли-

мат, его как бы не замечаешь. Но магнетическое действие его в художественном мире Казакова огромно.

Сырость — знак переменчивости, непрочности. Все волгнет, мокнет, подгнивает, расшатывается. Ничто не стоит крепко. Крепок камень, но камень в казаковской эмоциональной гамме — как раз гибелен, враждебен, его надо покорить. Спасительно — дерево. Дерево, которое лепится к камню. Дерево уязвимо: мокнувшие и высыхающие, серые, сизые, белые от времени деревянные дома — казаковская Русь. Вот-вот все рассыплется, расточится, разойдется в мареве.

Мареве — от тех же туманов. Дымок, парок, воздух дрожащий. Избы вдали видны пятнами, квадратами, бликами. То, что приближается и становится отчетливым, — теряет очарование. То, что зыблется вдали, — интересно, значительно. Не само по себе, а именно — через дымку отдаленности. Казаков пишет не предметы — он пишет пространство. Гулкое, колеблющееся, зябкое пространство, в котором видны или теряются предметы.

И звуки. Мир полон звуков. Что-то цвиркает, тренькает, посвистывает, похрустывает. Что-то непременно слышится. Но — издали, и чаще всего — неясно. Если кричат, то непонятно, что кричат. Казаков любит форсировать эти едва доносящиеся крики именно так, как они долетают: «Оооо...», «Аааа...» Если песня, то не словами берет, а долгими, бесконечными, за душу хватающими: «Ооо...», «Ааа...» Русь бесслесна, и тоску свою исторгает стоном-мычанием.

Вернее, не тоску — скуку. Слово, ключевое для психологического состояния, на которое откликается Казаков, — «скука». Многозначное слово, куда более многозначное, чем была бы в этой ситуации «тоска». «Скука» — это пустота зимнего деревенского неделания, и выматывающий беспросвет страдной работы, и бобылье-одиночество, и озверелость от многолюдья. «Скука» связана не с той или иной ситуацией, а все с тем же общим климатом бытия. С этим сырым воздухом. С солнцем, которое светит холодным, белым, плоским светом. С туманом. С пылью, которая поднимается от дорог, когда они высыхают, — и тогда пыль, подобно туману, заполняет пространство, подчеркивая его непреодолимую протяженность.

Люди встречаются в этом гулком пространстве всегда как впервые. Незнакомцы. Иногда Казаков описывает знакомцев именно как знакомцев — со странными, как бы неожиданными подробностями. Иногда просто называет — мельком и бегло, зная, что связь будет мимолетна, а расставание — навсегда. В этом есть даже какая-то чарующая загадочность: встать и пойти, не зная, куда, встретиться неведомо с кем и расстаться, зная, что никогда более не увидишь.

Казаков никогда не пишет социальную структуру и людей, втянутых в социальную структуру: порожденных ею и ее порождающих. Он пишет — тени, осколки, отпадающие элементы. Он пишет стариков, отшельников, бирюков, шатунов, странников. И занятия у его героев — соответствующие. Бакенщик, смотритель маяка, одинокий письмоносец. Одинокий рыбак на тоне. Художник на этюдах. Никакой «бригады», «артели», «команды» или, тем более, «профорганизации». В редчайших случаях, когда Казакову приходится подключаться к коллективистским клеммам, — он делает это явно вынужденно, и его перечни звучат стандартом: «Стать, как они, геологом, лесорубом, рабочим, охотником, трактористом. И писатель сидит в кубрике сейнера вместе с моряками, или идет с партией через тайгу, или летает с летчиками полярной авиации, или проводит суда Великим северным путем...»

Во-первых, даже и хомутаясь ВМЕСТЕ, Казаков избирает «бродяг»: охотников, моряков, летчиков... Во-вторых, от таких пассажей разит очерковым пробросом; в «чистых» рассказах вы такого не найде-

те, а только в полустатях, вроде «О мужестве писателя» или в публицистическом «Северном дневнике», рядом с обещанием «приближать наше великое будущее». А в-третьих, и это главное — ощущение фальши в таких точках контакта странным образом подтверждает закон обратной перспективы в казаковском ландшафте: истинно то, что видится издали, слышится неясно, все то, что доходит сквозь пространство. Все, что приближено, — делается грубым, пошлым и скучным.

Пока далеко — чем-то веет, хотя и неясно чем.

Приближаешься к человеку — и от него не веет, от него несет, разит, шибает. Шибает водкой, бензином, тройным одеколоном. Как слепой пес Арктур, Казаков сходит с ума от этих ближних запахов. Ему хочется под звезды. В туман. Куда-нибудь — только бы не видеть, не осязать, не сталкиваться.

Тоска лирического героя, бредящего «дорогой», парадоксально смыкается со «скукой» встреченного им НА ПОЛУСТАНКЕ мордастого деревенского парня, который рвет когти из колхоза — бежит в городской общаг, сначала — толкать штангу на соревнованиях, а там — если пофартит, — а то и насовсем зацепиться.

И пофартит ему обязательно. Брошенная им девушка, которую уже сейчас «трясет» от одиночества, сколько-то еще протянет здесь, в «неперспективной» деревне, а потом сгинет, иссохнет, сойдет на нет в гнилом углу, — а мордастый парень не пропадет! Он там, в городе, обязательно закрепится. Он и комсомольскую, и партийную карьеру сделает. Он быстро скинет сапоги гармошкой и наденет костюм, а потом и джинсы. И, в конце концов, вся застойная, застольная, застылая, самодовольная номенклатурная Россия 70-х годов, пахнувшая «водкой, бензином и одеколоном» и сбежавшая с исковерканной земли, — наверховалась из этих рванувших с «полустанка» казаковских героев 50-х годов.

Я почти буквально цитирую здесь блестящий анализ рассказа «На полустанке», сделанный Виктором Конецким в его комментариях к переписке с Казаковым. Конецкий, правда, варьирует запахи: у него казаковский «штангист» пахнет «спермой, табаком и водкой», что по резкости было бы, наверное, совсем невыносимо для Казакова, но в принципе правильно. Маленький казаковский этюд, с которого обычно начинаются теперь его однотомники, предвещает всю русскую социальную драму второй половины XX века — настолько точно и пронзительно написал его Казаков, настолько рано все почувствовал.

А ведь рассказ, «из которого», образно говоря, «вышла» русская проза 60—70-х годов как в либеральном, так и в почвенном вариантах, — рассказ этот написан совершенно случайно. Апокриф Литературного института 1954 года: Казаков, принятый учиться «на драматурга», опаздывает на лекцию и забредает в семинар прозаиков; а там Виктор Шкловский как раз задает студентам упражнение: «тема — полустанок, время — наши дни: импровизируйте!» Казаков свою «импровизацию» подает вместе с другими и уходит, а потом Шкловский начинает разыскивать «какого-то Казакова» по всему институту.

Как же это объяснить: ученическая работа, этюд на заданную тему — и вдруг такое попадание в нерв общенационального литературного и жизненного процесса. Чудо, что ли? Фокус цирковой? Фантастическое совпадение?

А может, тут другое? Чувство ситуации, которое носишь в себе, которое переполняет тебя, так что нужно только стечение обстоятельств (чтобы Шкловский объявил: действие происходит на полустанке!), и оно излилось?

Следы студенческой «лаборатории», кстати, видны в этом этюде — он «слишком точен», слишком старательно последователен в нагнетании настроения: «низкое, равнодушное небо . . . скука . . . дожди . . .» Но

ощущение смертного расставания: и убивающее женскую душу одиночество, и ухарское прощанье мужика, уходящего из дому НАВСЕГДА, — это настроение не случайно же возникает у Казакова и дальше, например, при развязке рассказа «В дороге», написанного шестью годами позже того студенческого этюда, а по тональности — прямо в продолжение его, — когда мать кричит вослед уходящему сыну: «Господи!.. Не нужен им дом родной!»

Оглядываясь на 70-е годы, неслышно надломившие Россию, можно вписать Казакова в самые ранние летописцы этого исхода с земли: в 50-е годы он подал первые сигналы бедствия. Сигналы не были услышаны. Напомним: Казаков был сразу записан по «другому ведомству»; он был — не «деревенщик»; он был из сферы «чистой формы», из ведомства Паустовского и Бунина: чистая русская речь, пейзажи, простор... охота.

Потом, когда усилились эти сигналы до оглушительности — у Шукшина, у Белова, — их расслышали. Казаков оказался в «резонансном кольце».

Он действительно соприкасается с писателями, пошедшими дальше. Есть прямые переклички. Бакенщик Егор из рассказа «Трали-вали», томящийся в ожидании приезжих, чтобы «повыступить» перед ними, — это же Бронька Пупков из «Миль пардон, мадам!», написанный за семь лет до Шукшина. Поморка Марфа — это Матрена, написанная до Солженицына! А Вася, «перекати-поле» из казаковской «Легкой жизни», — это же маканинский «гражданин убегающий», написанный, когда Маканин еще и «Прямую линию» не начинал.

Можно многие казаковские мотивы связать с литературными направлениями его времени, а особенно — времени последующего. Можно найти переклички с Ю. Трифоновым (в спортивных эпизодах) и с В. Конечким (в эпизодах морских). Можно сопоставить казаковских «Стариков» со стариками В. Белова.

И все это мало что прибавит к обаянию и объему казаковского присутствия в русской прозе. Он не работал ни на «направлениях», ни в «типологии». Он вмещал и очерчивал что-то такое — неясное, нечетливое, нечленораздельное, туманное, зыбкое и зябкое от отдаленности, — из чего ВПОСЛЕДСТВИИ проступили «направления» и от чего отслоилась «типология».

Он почуял и передал состояние земли, космоса, русского природного и психологического Целого. Вернее, уже не Целого — уже подраненного, подкошенного. Чем? Ничем извне. Изнутри подкошенного. Тоской, предчувствиями. Скукой бытия.

Русский человек у Казакова — это сила, которая мучается и куражится от неприкаянности. Чугунная сила, самоигральная, самодовольная. Сама собой любит, ищет, кому бы показаться, перед кем покрасоваться. Ты меня выслушай! Или — «ребра поломаю!» (Шукшинский герой подхватит: «Изувечу!»). Злость так же базадресна и непредсказуема, как и великодушна. И куражится человек — просто от избытка сил. «Вы думаете, сплавщик по делу кричал? А он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздастся...» Иногда орет человек, иногда поет. Иногда фальшиво поет, а иногда так, что дух захватывает. Зов в человеке, «голоса». Кто-то окликнет его неведомо откуда — он встанет и пойдет.

Красочный, гомонящий табор цыган, бредущих по непредсказуемому маршруту, незримо связан с потоком российских командировочных в серых плащах, спящих по общагам и гостиницам... Русь спует, переныривает, перебегает, переезжает; человек думает: еду туда-то и затем-то, а в сущности — лишь бы не знать, куда и зачем.

А кто сидит на месте — тот с ума сходит от этих «звов». Судьба русского человека, лейтмотивом идущая через рассказы Казакова: за-

скачал — запил — забуянил. С кем-то подрался, с кем-то расцеловался, на чьей-то груди плакал, потом хотел топиться, а утром, проснувшись, изодранный, избитый, с больной головой, не может ничего припомнить. Из недавнего, ближнего, реального — ничего не помнит, не знает и НЕ ХОЧЕТ знать. Хочет — куда-нибудь подальше, и именно — не зная куда.

Туда, откуда «зовы».

«Здесь» — ничего, все — «там». И чудится человеку, что «все это» было уже с ним, а где и когда — не ведает. У Казакова — совершенно уникальная (лермонтовская!) запредельная память: судьба его героев коренится в какой-то потусторонней, космической глубине, куда их и тянет безотчетно, властно: «здесь», на «этой» земле они гости. Потому и бегут.

Странность казаковского присутствия, одновременно глубоко укорененного, русского, деревенского, природного и вместе с тем — «нездешнего», надмирного, музыкального, может, конечно, озадачить его биографов. Писатель, проложивший пути для русских «деревенщиков», — с детства не видывал деревни, а вырос «на арбатских дворах». Писатель, оставивший пленительные картины природы, с детства этой природы «в глаза не видел и не думал о ней» — он эту природу первоначально вычитал из книг «в темной, холодной и голодной Москве» военных лет. Писатель, одаренный уникальной литературной техникой, был практически первым образованным человеком в своем роду, да и роду-то того было — всего два колена: семья рабочая, московская, а деды-бабки — из смоленских крестьян; дальше — туман; преемства никакого; родителей отделили рвом Беломорканала (глухие намеки на 1937 год); ни с землей связей никаких, ни с деревней. Все получено — «из запредельности».

Простор — и «зовы».

Двоятся, зыблются, дрожат контуры предметов. Вспыхивают и гаснут страсти, «оборачиваются» характеры. Благостный странник ведет себя как плотоядный жеребец-насилльник; красавец-пейзантин оказывается костоломным дурнем. Но и угрюмый бирюк «из бывших», источающий ненависть к нынешним «лодырям», — может обнаружить голубиную душу, сокрытую под десятью слоями коросты. Может, это он сложил северные песни, былины, руны! Может, это он и выстроил когда-то церковь в Кижях, а топор забросил, чтоб повторить было нельзя...

«Ах, Нестор, Нестор...»

Потаенная нежность казаковской интонации, скрытая за скуповатостью штрихового рисунка, за строгой, музыкально просчитанной экономностью слова, вдруг вырывается на поверхность текста в поздних его рассказах, посвященных младенцу-сыну. «Во сне ты горько плакал». Странная для Казакова сентиментальность и какая-то горячечная беззастыдность появляются в его стиле, и кажется, что стиль его сломан, подорван, разжижен, расслаблен экзальтацией... кажется, что любой приличный писатель точно так же вот описывал бы чувства отца, поздно дождавшегося своего первенца.

Но «чисто казаковское» вдруг всплывает со дна этой теплой купели — запредельной, «космической» тревогой. Ребенок плачет беспричинно и безутешно, потому что чувствует, как его душа отделяется, прощается с отцовской. ЗНАТЬ этого он не может: он ничего в жизни своей не видел, кроме внимательных нежных родительских глаз. Откуда же эти слезы во сне, этот ужас прощанья навсегда?

Где опять сольются души, чтобы уже никогда не разлучаться? «... Где, когда это будет?» И будет ли?

В смятении и грусти окидывает, оглядывает казаковская душа холодный волглый русский простор. Слышит звуки, которые «что-то зна-

чат», а что — неясно. Видит контуры, которые похожи на обжитой мир, а еще похожи на «что-то», чего не вспомнишь. Распадается мир, расплывается.

А может, наоборот, собирается обновленный за гранью ближних потерь, за криком проводов, пахнущих «водкой и бензином»?

Зрение у Казакова дальше, дыхание мощное, память запредельная.

То ли это память о старой Руси, новгородской, северной, давно пережитой и забытой, о московской, у Оки притаившейся, тоже полузабытой. То ли предчувствие, сжимающее сердце. То ли залог неистребимости духа, здесь обретшего себя.

В переломный, переложный, сумеречный миг явился в русском пространстве Юрий Казаков, и след его в русском сознании странен и загадочен.

Последователям пути — указаны, так что побежали в след Казакову другие человекознатцы, одни — дальше в деревню, другие — дальше от деревни. Но выразил Казаков и то «предстояние» нашего духовного космоса, от которого могут взять начало совершенно новые, неведомые пути; и там, где вновь встретятся люди, шатнувшиеся с этого места и побредшие «куда глаза глядят», — дай бог им узнать друг друга.

Евгений Шкловский

НЕДУГ

Рассказ

1

Кажется, той зимой было очень много снега.

Снег, снег, снег, искрящийся на солнце, переливающийся всеми цветами радуги, миллиарды сияющих жемчужинок, а в сумерках синеватый, расчерченный таинственными тенями от застывших под его тяжестью деревьев... Еще помнится его лицо, удлиненное небольшой, темной с проседью бородкой, заиндеветшей на морозе, густые брови и глаза — улыбающиеся.

Тут воспоминание как бы раздваивается: то — снежное, раскрасневшееся от бега и мороза лицо, и оно же, на фотографии, — вдохновенно-задумчивое, с чуть прищуренными глазами, словно устремленное куда-то вдаль. Из какой-то его книги.

Писатель.

Мало я видел потом людей, которые бы так легко и искренне воспламенялись; столько в нем было энергии, что он мгновенно вспыхивал, воодушевлялся, ему хотелось излиться, выплеснуться, и любого повода, кажется, было достаточно. Он сразу начинал двигаться, ходить, размахивать руками. Говорил горячо, словно убеждал кого-то. И все вокруг невольно поддавались, воодушевлялись тоже, возникало как бы некое единство, атмосфера, воздух, вернее, поток — общий, но нечто, исходившее от Писателя, доминировало, омывало все прочие ручейки, втягивало их за собой в крутую глубокую воронку — сливаясь с ними, не смешиваясь... И потому, наверно, из всех запоминался только он один, Писатель.

Как-то вечером, теплым-летним, сидели на веранде, напившись чаю, и он включил, нет, завел, крутя ручку, старинный, похожий на комод, граммофон, — я только потом понял, что это такое, когда оттуда, изнутри зашевелились, зашелестели звуки. «Знаешь, что это за музыка?»

А звуки уже набирали силу, шли волной, вздымались — из потрескивания и шипенья, откуда-то издавека, — будто не граммофон, а фантастическая машина времени доносила их — бурные и торжествующие.

Красивый, статный, похожий то ли на Дон-Кихота, то ли еще на кого-то из сокровищницы литературы, Писатель, он шагал по веранде, сотрясая половицы, волнуясь и взмахивая рукой в такт, словно дирижуя. «Неужели не узнал? Это же «Марсельеза», великая «Марсельеза» — сам же и отвечал, и ликовал, как ребенок, забыв удивляться моему вопиющему невежеству: великодушно отпускал грех.

Минут же двадцать до того, когда еще не допили чай, он, казавшийся выше всех за столом — так, впрочем, и было, хотя сын догонял, да и я, гость и приятель сына, тоже тянулся, — как же горячо говорил он о «Двух гусарах» Льва Толстого — «удивительная, совершенно пушкинская вещь! Не похожий на себя Толстой!». И прощал ответную неопределенность мычания. Пропускал мимо, доверяя авансом. И я, признательный, почти готов уже был отличить «Двух гусаров» от киношедевра «Гусарская баллада».

То ли потому, что я не знал, то ли потому, что он был такой, то ли потому, что большой дачный дом стоял в окружении высоченных разлапистых елей и струящихся в высоту берез, да еще тишина гнез-

дилась в нем, несмотря на бравурную, победную мелодию, — чудилась здесь, в этом крепко сбитом бревенчатом доме, в его хозяине, в воздухе, напоенном вечерним травяным и хвойным ароматом, какая-то неведомая полнота, завершенность. Так все здесь плотно было пригнано одно к другому — «Марсельеза», старинный граммофон с поблескивающим медным (или каким?) рупором, «Два гусара», чашки на столе, темнеющий лес. Так все ладно ложилось к его высокой статной фигуре в черном свитере, к седеющей голове и бороде. Как бы приобщалось к его благоденствию.

Это уже потом, спустя годы, я пытался определить, что же там такое было, а тогда — и в тот летний вечер, и в другой, зимний, январский, рождественский — просто ходил очарованный, смешно, наверно, тарасил глаза на Писателя, не умея скрыть своего восхищения, и тот, словно чувствуя, часто обращался именно ко мне. Выделял. Отличал. Или казалось, что выделял. В той полноте немудрено было и разнежиться.

Чем-то стародавним, забытым дышал этот дом с огромным роялем в гостиной, с граммофоном на веранде, двери которой выходили прямо в лес, с картинами — акварель и масло — на стенах (его, Писателя, картинами, потому что он и это умел), с книгами в кабинете и тяжелым, тоже старинным письменным столом. Как будто все здесь было от века, и, может быть, даже не нынешнего, чудом уцелевшее — не дача, а дворянская усадьба. Как будто Тургенев или кто там все это написал — и дом, и лес, и баньку (нет, баньку не Тургенев) в самой глубине участка, и маленькую речушку, настоящую, сразу подле забора, возле деревянных мостков с перильцами по одну сторону.

Это все тоже принадлежало литературе, как и хозяин — Писатель, Художник, и даже, может быть, Музыкант, хотя я ни разу не видел его за роялем. Обычно играла, вернее, наигрывала что-то его дочь — тоненькая, застенчивая, с большими темными глазами в пол-лица, — застываясь от зрителей густой копной волос, касавшихся клавиш. И невозможно было не увлечься — так много сразу входило здесь в тебя, переполняло, жгло внутри: выразить, отдать, слиться с этим миром, такое щедрое сильное чувство...

Миссю, где ты?..

2

Ну да, конечно, это был дом с мезонином.

Вернее, с мансардой.

Это было Абрамцево, Мураново, Мелихово, Ясная Поляна, Шахматово, одним словом, Пенаты. Здесь жила, рождалась литература, где-то здесь был ее источник, ее родник — и все это был Писатель.

Кроме кабинета внизу, он любил работать наверху, в мансарде — маленькой комнатухе как раз над верандой, с низким потолком и большим окном, летом широко распахнутым навстречу березам и елям. Если отойти подальше, в глубь участка, в густую тень, почти темень от еловых лап, то можно было увидеть за окном его посеребренную голову, склоняющуюся над рукописью, сосредоточенно-самоуглубленное, как бы отсутствующее лицо.

Странно, но почему-то тянуло увидеть его именно там, в мансарде, за работой. Там мерещилось нечто тайное, заповедное, закрытое от всех, даже самых близких, из чего потом возникали, материализуясь, книги, в твердых или мягких переплетах, на хорошей, плотной, белой или на плохой, серой бумаге. Ими можно было зачитываться или не зачитываться, а просто пробегать глазами, но там было обещание. Там начиналось.

Кажется, я готов был различить даже нечто вроде ореола, светящегося вокруг его головы, в то время как он, наверно, и не подозревал, что за ним наблюдают. Там, куда я напряженно вглядывался, мир словно уплотнялся, обретал особую концентрацию, начинал чуть ли не фосфоресцировать. Оседала на волосы паутина с елей.

Я видел, как Писатель медленно поднимает лицо и отрешенно смотрит перед собой, навстречу моему взгляду, и вдруг пугался, что могу быть замеченным за таким постыдным занятием, как подглядыванье. Но тень — плотная, почти непроницаемая, словно ель-сообщница, — укрывала меня, и лицо было совсем близко, как и тайна. И я в эти минуты почти был им, Писателем, тепло чужого существования охватывало меня, душа устремлялась туда, к парящему над землей окну с время от времени вспархивающей на ветру синей занавеской.

Но и выбравшись из своего укрытия, я как бы продолжал видеть. Или не видеть — чувствовать. Что-то снисходило на меня оттуда, изливалось, осеняло, и оттого все, в том числе само гостевание тут, у приятеля, наполнялось особым смыслом. Чем бы мы ни занимались — играли ли в карты в шалаше, или распивали венгерский джин, замечательно пахнувший можжевельником, почему-то все время помнилось, что стоит отойти чуть подальше, к облюбленной ели и я у в и ж у. Вернее, узрю.

Пожалуй, никогда с тех двух или трех августовских дней не ощущал я так полно чьего-то присутствия рядом. Или своего — в чужой, по сути, далекой чрезвычайно, как в другом измерении, жизни. Такого полного слияния.

И словно кто-то великодушный шел навстречу: нам с приятелем постелили наверху, в мансарде, допустив, можно сказать, в святая святых. Иначе мне и не мыслился тот, вознесенный кусочек пространства, куда, казалось, простым смертным путь заказан. Кусочек Олимпа.

Хозяин спал внизу, в кабинете, на следующий же день он уезжал по делам в Москву, рано утром, и можно было, проснувшись, еще не окончательно выбравшись из сонной одури, медленно, как бы оттягивая главное любопытство, осматривать деревянный потолок, бревенчатые стены, узкие полки с журналами (главным образом, синий «Новый мир»), иконку в углу. И, разумеется, письменный стол — однотумбовый, но тоже старинной работы, из какого-то сильного, настоящего дерева.

Дальше — распахнутое окно и ели, и березы, протягивающие свои ветви, будто в надежде — достать, дотянуться, дотронуться. Им тоже было нужно, как и мне.

На столе лежало.

К этому столу и к тому, что лежало, вел особый путь: не сразу вскочить и ринуться, не так это делалось, а сначала покружить на узком пятачке между столом и кушеткой, потрогать журналы, уже поблекшие, выцветшие, с немного пожелтевшей бумагой, опираясь на руки, втянуть тело в оконный проем, чтобы увидеть внизу три каменные ступеньки, ведущие на веранду, скамейку неподалеку, к которой иногда подставляли стол для вечернего чаепития, с блестящим медно-настоящим самоваром, ведерным, попыхивающим тлеющими шишками, весь этот усадебный пейзаж сверху, еще невиданный вид, покачивающийся от моего волнения. Как если бы я не стоял, а плыл. Или летел. Как если бы пролетал.

Потом можно было сесть в небольшое креслице из того же, что и стол, настоящего темного дерева, с обводной сплошной спинкой, откинувшись, вновь отдалиться, отлететь туда, в законное еловое пространство, хранящее его взгляд, его тишину, его вдохновение, и только затем наконец дотронуться, как бы нехотя, как бы совершенно случайно, до пухлой картонной папки с развязанными красными тесемками.

На машинописных страницах пометки, помарки, исправления... Простым карандашом. Красным карандашом. Черной ручкой.

Хорошо бы еще научиться читать. Простые, знакомые вроде бы все слова, но — не складывались, не сопрягались. Может, потому, что я нарушал. Пересек границу, но запнулся от неуверенности. От чувства греха. Из чувства благоговения. Я сам себе мешал.

Это была святая святых литературы: до-литература, пред-книга, — что-то горячее, беспокойное витало над ней, словно жизнь, зашифрованная, заколдованная в этих маленьких черненьких значках-криптограммах, еще не уложились, не отвердела.

Передо мной лежал ни больше ни меньше — роман. Так и значилось на первой странице, под заглавием. Крошечными буквами в разрядку, показавшимися очень большими. Больше названия. Может, поэтому и название не запомнилось, проскользнуло мимо, просеялось сквозь эти самые крошечно-огромные буквы: РОМАН. Или, может, оно потом поменялось, и уже книга называлась по-другому, так ведь тоже бывает. И не просто роман, а исторический, из все той же отечественной словесности... Имена мелькали знакомые — Пушкин, Тютчев, Баратынский... Родные все лица.

Впрочем, не так это было и важно — название, герои... Объемистая рукопись на столе и высоченные ели за окном — вполне было достаточно, чтобы проникнуться. Достаточно, что роман. Как будто бы даже законченный. Куда больше?

Я сидел над рукописью, над картонной папкой с красными тесемками, как бы мимолетно задевая ее взглядом, устремленным к вершинам елей, как бы ненароком включая ее в панораму, в пейзаж.

Последний штрих был нанесен, рамка готова. Запредельный, недосягаемый мир родной литературы, дух ее возвышенный, усадебный, трепетный, дух неусыпный, дух бдящий, — ну да, все и снизошло враз, как будто очутился я в ином времени, в другом, в прошлом веке. И даже почувствовал себя немного героем, то есть тоже отчасти писателем. Как если бы меня посвятили.

3

По утрам, уже довольно прохладным, он окунался в речушку, которую постоянно сам же и углублял в этом месте — чтобы не заносило песком, чтобы не заболочивалось. И купался азартно, пьяно, с воплями и взвизгами, как мальчишка. По неведению можно было и испугаться: что происходит? Но оказывалось — ничего страшного, просто вода в речушке текла холодная, ключевая. Обжигающая.

Родная литература и здесь постаралась. Разве не от нее пульсировала в нем эта замечательная страсть к жизни, данной нам и в ощущениях? Вкус к жизни. Вкус, который очаровывает даже в самых неблагоприятных сочинениях русских писателей. Вроде все дурно, а жить тем не менее хочется. Еще как хочется. И не просто, а с азартом. С той же самой недосягаемой полнотой, какую находишь в родной словесности.

У Писателя так и выходило — со вкусом, азартно и полно. Ни убавить, ни прибавить. Почти натурально. И в то же время как бы по законам эстетики.

Ах, как мы бежали тогда по зимнему, застывшему в морозной тишине, уже смеркающемуся лесу! Писатель впереди, я поотстав, а потом, разлетевшись, вдруг почти утыкался в него, наезжая лыжами на лыжи. И видел близко улыбающееся, задумчивое, тонкое лицо, заиндевевшую бороду и покрывшиеся острями сосулек усы. Он подждал меня.

Опершись на палки, он любовно оглядывал всю окружавшую нас красоту — синий снег, серое, но внезапно светлеющее и даже розовеющее небо, словно изваянные, в причудливых снеговых одеяниях ели, — и столько страсти, столько восторженного умиления этой нерукотворной красотой было в его взгляде, что и я, запыхавшийся, но всячески старавшийся не подать виду, тоже сразу начинал озираться, млел и дышал полной грудью.

Так ведь и красиво было поистине — как в иные зимние безветренные дни после обильного снегопада, когда лес погружен в тишину почти неземную, тонет в ней, околдованный белизной собственных риз. Да и какой же русский не любит? . . .

Во время очередной остановки, когда мы уже молча постояли рядом, полюбовались, подышали глубоко, выпуская из себя клубы пара, он неожиданно грустно сказал, словно продолжая давнюю неслышно звучавшую в нем речь, — да, когда сын был маленьким, лет шесть — семь, он его часто брал с собой на лыжах, и тот, закутанный, неуклюжий, смешной такой, но идет, палками старательно отталкивается, упадет, поднимется и снова идет. . . Трогательный. Теперь не вытащишь. Неинтересно ему.

Тени скользили по лицу, просветленно-печальному.

Неужели переживал из-за этого? А может, хотел, чтобы я, приятель сына, что-то ему объяснил, помог понять? Что я мог ему объяснить? Я и про себя-то толком еще не знал ничего, кроме того, что мне хорошо было рядом с ним, с Писателем, в этом зимнем вкрадчивом лесу, в этой тишине и полноте, которую я снова ощущал здесь, как и несколько месяцев назад, летом. Удивительное, несравненное чувство!

А вечером, уже совсем близко к ночи, натаскали березовых поленьев и протопили баньку, так протопили, что, раздевшись и войдя в парилку, сразу же и задохнулись, сразу поплыли в чем-то пылающе-красном, обволакивающем, расслабляющем, слепящем. Жар здесь тоже был настоящий, чудом сохранившийся, неизвестно откуда взявшийся. Впрочем, про жар словесность, кажется, скромно умалчивала. Я, во всяком случае, не встречал. Но она тут же его присвоила — если я не встречал, то это не значило. . .

Веник прохаживался по моей и без того раскаленной спине все настойчивей, все яростней, все плотней прилегали к горячей коже острые, хлесткие березовые прутья, немоготу было терпеть и дышать. . . И что-то неведомое выбросило меня на снег, голого, из разъятого нутра клокочущего жара, выбросило и понесло к заснеженным мосткам, к заранее приготовленной хозяином полынье, к чернеющей в ней, потревоженной в зимнем покое воде.

Мать-Природа, дай мне силы, здоровья и ученичества! Господи, очисти меня, грешного, и укрепи! Какие замечательные слова! Какой в них взлет, какая надежда! Не то что бездарно бултыхнуться в ледяную воду, камнем уйти в нее, как приговоренному, и тут же взвиться, ошарашенному, с гортанным задышливым всхлипом, снова по снегу, к светящемуся запотевшему изнутри окошечку, в благословенный жар, где тебя уже радостно приветствуют, снова гуляют по тебе веником, улыбаются, восхищенные твоей решимостью, и теперь уже твоя очередь работать веником — еще, еще, и вот так, и теперь вот здесь, эх-ма!

Сам хозяин дважды бегал к проруби, оглашая тишину ночного леса пронзительными восторженными криками, так что вороны, испуганные, тяжело вспархивали с верхушек деревьев, сбрасывая с ветвей шапки снега, каркали недовольно. Розово-красный, распаренный, неожиданно совсем молодой, смеющийся — таким он потом еще долго помнился, как и банька, огненно-раскаленная, ярко освещенная

стосвечовой лампочкой, и рыжие бревна с капельками влаги, — как же там было жарко!

Мы уже давно, размякшие, сидели дома, кипятили чайник, заваривали, как было указано, а Писатель все не появлялся, все никак не мог он расстаться с банькой, не весь еще жар вобрал в себя. И то, что он был дольше, больше, задерживался или обгонял, поторапливал или сдерживал, спрашивал или просвещал, печалился или радовался, и маленькие стопки холодной водки, только из холодильника, которые поставил перед нами как равными, и пламя в камине, колеблющееся, и тени, скользящие по потолку, и румянец на скулах, поверх бороды, — все словно уже было видено однажды: и ждали, и сидели, и поднимали к губам, воспоминание в воспоминании.

В тот по-зимнему краткий и вместе с тем необычайно долгий, удивительный день ходили еще в соседнюю деревню, километрах в семи от дачного поселка, к печнику, с которым велись переговоры о ремонте отопительной системы в доме: то ли печку следовало подправить, то ли трубы где-то заменить, в общем, было дело...

Дома по окошки утопали в снегу и как бы выглядывали из сугробов, погруженные в тихую кроткую дремоту, только струился извистисто над некоторыми крышами узкий сизоватый дымок. И никак не взять было в толк, сон ли это, или явь, и какое, наконец, у них тысячелетье на дворе?

Похрустывала снежком под ногами русская ядреная зима, и валенки на вышедшем к нам мужичке в заломленной набекрень ушанке с болтающимися в разные стороны завязками тоже были вечными, как и его простецко-хитроватые глазки, небритая щетина на подбородке, черный ватник. Россия, нищая Россия...

Куда бы мы ни шли, что бы ни делали в тот день, литература была неизменно с нами, я чувствовал ее теплое дыхание рядом, ее неотступный пригляд. Тысячелетье неизвестно какое, да это и не имело значения. В ее сопровождении мы тоже были и все было, даже если — и тот же мрак, и та же степь кругом.

4

В нем, в Писателе, жил азарт.

Что-то заразительное, порывистое, своенравное, почти буйное, отчего рядом с ним особенно отчетливо ощущался собственный изъян. Кто ни холоден, ни горяч... И все это совмещалось с редкой тонкостью и мягкостью третьеклассной интеллигентности, если не сказать — аристократизма.

Странно, но я не помнил его в Москве, в городе, в квартире, хотя и там встречался с ним не один раз, забегая к приятелю. Не вписывался он — в узкий коридор, даже в не слишком низкие потолки, во все это не очень большое и не очень маленькое, но — не его. Он и сам это чувствовал. Говорил, что работается ему только за городом, в его доме. Там его жизнь. Настоящая.

Когда это стало особенно ясно, его самого уже не было нигде. Или все-таки был? Разве не может случиться так, что душа, раз и навсегда облюбовавшая себе земное прибежище, остается там на веки вечные? Не покидает его, а так и продолжает? Если она полюбила?

Сколь бы ни был риторичен и литературен этот вопрос, выскользнувшее слово «полюбила» не менее точно отражает суть вещей, суть отношения.

Он — любил.

Любил, наверно, так, как любят только в литературе. Возвышен-

но и идеально. И строил грандиозные планы, грандиозные прожекты. Простирая руку в сторону домашней речушки, которая впадала в постепенно зарастающий осокой пруд, с энтузиазмом говорил, что ее можно расширить, а пруд расчистить и углубить, построить настоящую плотину на месте полуразваленной, пустить в пруд благородную рыбу, устроить катание на лодках (над озером звенят уключины...), навезти чистого речного песка для пляжа... Здесь все, если взяться серьезно, если захотеть, можно было благоустроить, переустроить, облагородить. Ведь здесь исторические места — неподалеку древний Радонеж (название-то какое!), Абрамцево... Надо объявить эти места заповедными, очистить их.

Лицо вдохновенное, светящееся...

У него даже были разговоры с местными руководителями, которых он убедил подумать, ничего определенного пока, но он не терял надежды. В конце концов, не ему же одному это нужно. Нельзя жить одним днем, не заглядывая в будущее. Если мы не позаботимся, тогда кто же? Если мы не будем хозяевами, то кто?..

А еще большой его мечтой было, чтобы его дом стал местом, куда бы приезжали погостить или просто навевывались хорошие, интеллигентные люди — поэты, художники. Как в прошлом веке. Или в начале этого. Чтобы объединяло одно — любовь к прекрасному. По вечерам бы собирались за самоваром, пили бы чай, слушали музыку, беседовали.

Это я уже слышал не от него самого, а от сына. Хозяин был по делам в городе, мы сидели одни за столом во дворе, курили, когда в калитку прошел невысокий, худой человек с низко падавшими на лоб волосами. Лицо его в сумерках было не разглядеть. Приятель поднялся ему навстречу, и они несколько минут о чем-то говорили возле забора. Потом гость ушел, растворился, а хозяин объяснил, что это к отцу заходил товарищ, поэт Л., не слышал? Несгибаемая личность. Его совсем не печатали, только за границей, но и то — очень редко.

Наверно, действительно было бы замечательно, если бы мечта исполнилась, если бы близкие по духу люди встречались здесь, на веранде, под елями, сидели бы на диване и в плетеных креслах, а хозяин, крутя ручку, заводил допотопный граммофон, откуда бы, шипя, сквозь шум и треск, словно преодолевая время, лилась музыка, или кто-нибудь садился бы за рояль... Идиллия!

Лишь изредка вдалеке прогрехочет электричка или прогудит где-то в невидимой вышине самолет, а так — аукается какая-то птица в лесу да комар звенит над ухом. Покой и мир. Мир и любовь. Покой и воля. О чем она еще мечтала, наша великая и могучая? Да-да, конечно же, о правде-справедливости. Об общем благе и благоденствии. О счастье!

А как же покой?

И то верно: покой нам только снится...

5

Иногда я задаю себе почти кошунственный вопрос: благо ли она сама, литература? Да благо ли этот странный, причудливый нарост на древе человеческого духа?

В самом деле: сколько обещаний заложено здесь, сколько красоты и великодушия, так что вся грязь, весь сор бытия вовсе не кажутся угрозой, а, напротив, тоже как будто обещают — преодоление, избавление... Или — и в них тоже вдруг обнаруживается несравненная полнота жизни, привыкнув к которой потом никак не можешь освобо-

даться от ощущения пустоты, разреженности атмосферы, кислородного голодания. Полнота сродни красоте. Красота — это ведь тоже полнота, тоже насыщенность смыслом и чувством.

О, эти великие несбывшиеся обещания! Какой ценой оплачиваем мы фантастические, святые посулы? По чьим векселям платим?..

Полнота нам тоже снится.

Увы, нам дана всего лишь та одна-единственная — совсем не вечная и краткая, как выстрел в упор, по меткому определению знаменитого философа. Выбрав одно, мы уже не выберем другого. Либо — будем обречены метаться в ненасытной жажде и того, и другого, подобно горячечному больному, и в конце концов плакать над дымящимися руинами. И оставлять плачущих.

Литература, учительница жизни, святая и грешная, ответь, не ты ли обещала нам сотни воплощений, маня своими завлекательными образами, возвышенными и низменными страстями, святостью и грехом, мощью духовного взлета и мучительной сладостью падения? Не ты ли рисовала жизнь лучшую, навевая золотые сны, и звала, звала, сладкоголосая даже в самых своих мрачных пророчествах?

Да, скажи, откуда в тебе этот неуяснимый, завораживающий, проникновенный сплав правды и лжи, добра и зла? И как сумела ты внушить нам свою необходимость, завлечь в свои шелковые сети? Погоди, не рви! Мнится мне, что любовь к тебе — это обманутая любовь к жизни.

6

Как выстрел в упор...

Этот выстрел чуть позже отозвался в замечательном, пронзительном рассказе другого писателя, к тому времени почти замолчавшего. Водка и тайная русская тоска уже подвели его к грани. Но на тот рассказ его еще хватило.

Литература ложилась на литературу, слой на слой, а под ними были еще и другие, и все это — зачем? С какой такой неведомой целью? Не так ли паук петелька за петелькой сооружает паутину, чтобы изловить, увлечь в нее свою жертву, и так же бьется, трепыхается обессиленно в ней потом живая душа?

Опять кощунство.

Но ведь не с этим писалось и пишется. Просто хотелось сказать, что человек тот остался в сердце, воскресить его хотя бы ненадолго и хоть немного снова побыть рядом с ним, словно ничего не ведая о его скорой гибели. А может быть, чтобы еще раз вдохнуть поглубже того воздуха, который окружал его, которым он дышал. Еще раз проникнуться неповторимым ощущением полноты и одухотворенности существования, которое возникало там, в его доме под мохнатыми елями. Затаиться — и взглянуть в последний раз наверх, в теперь, увы, плотно закрытое окно мансарды. Задуматься о неподъемной тайне жизни и смерти.

Я ведь даже не спрашиваю, почему он это сделал, Зачем? Ответа все равно не будет. В оставленной на столе записке — поперек тетрадного листа, резкими, набегающими друг на дружку буквами — просил он никого в его смерти не винить. Классическая литературная формула. Жанр.

И то, как он сделал это, прости Господи, тоже жанр. Вернее, почти жанр. Охотничья двустволка. Разутая, раздетая нога. Холодный металлический ствол во рту. Гулкий выстрел в ноябрьской тишине пустынного дачного поселка.

Старик Хем подмигивает с фотографии.

Кажется, накануне как раз пошел снег. Первый и последний снег той поздней осени.

Роман был завершен. Я вспомнил, как он назывался. «Недуг бытия».

7

Меня почему-то часто тянет туда, хотя я прекрасно знаю, что уже никогда не застану его.

Забор в нижней части участка завалился, речушку возле мостков почти занесло песком, две ели возле дома спилены. И все обрело запущенный, одичалый вид, даже дом кажется сильно обветшавшим. Я смотрю, поднявшись по ступенькам, сквозь стекло на веранду, на его картины, на забыто мерзнущего на топчане детского голыша, на плетеные кресла... Почти все здесь осталось по-прежнему, только холодком необжитости веет оттуда, изнутри, да и снаружи тоже, кажется, посерело. Лишь березы все так же шумят, сея на землю свои целлулоидные семена. Летят, летят...

Трудно, почти невозможно поверить, что это произошло. Что это произошло здесь.

В литературе автор, убивая героя, остается, как правило, жить и живет долго, до глубокой старости. А бывает, что и воскрешает его, передумав. В любом случае ты знаешь, что это как бы не настоящая смерть, что все это вымысел автора, его воображение, его расчет. Она — только возможность, только напоминание о реальности, но не сама реальность.

Эту же бессмысленную, нелепую смерть переиграть нельзя, настолько нельзя, что твое собственное существование вдруг начинает казаться мнимым, как будто бы вымышленным. Какой бы литературной она ни была, отменить, вычеркнуть ее невозможно.

И все-таки, вроде бы случайно сходя на знакомой станции с электрички, я спешу сначала по мощенной булыжником дачной улочке, потом по лесной тропке, по опушке и снова по дачной улочке, вдоль больших и маленьких заборов, вдоль чужих молчаливых домов в глубине участков, с замиранием сердца приоткрываю незапертую калитку и ничего не могу с собой поделать: мне чудится, что вот еще мгновение — и он непременно выйдет мне навстречу или выглянет из своей мансарды, и я увижу его посеребренную красивую голову, умные, внимательные, как всегда задумчивые глаза...

А вдруг, в самом деле, роман все еще не дочитан и финал неизвестен? Вдруг рукопись все еще на столе, там, наверху... Впереди еще много страниц, впереди еще долгая жизнь — вдруг? Я прислушиваюсь, прислушиваюсь...

Весной прошлого года, приняв к публикации фрагменты из абрамцевского Дневника Дмитрия Голубкова, мы и предположить не могли, что скромный этот материал, тихо-тихо дожидаящийся своей очереди и своего журнального места, и ничем, казалось бы, не выделяющийся среди подобных ему человеческих документов, притянет по закону странных сближений немалое количество дополнительных свидетельств о жизни и смерти абрамцевского «дачника».

Сначала Марина Голубова (а это ее стараниями, ее деятельной памятью расшифрован и подготовлен к печати Дневник) обнаружила в оставшихся от отца бумагах никогда не публиковавшиеся письма Юрия Казакова. Раньше многих сообразив, что дом на земле — если и не совсем крепость, то оборона, странный сей человек и не менее стран-

ный писатель — то ли второй Бунин, то ли гениальный имитатор, — жить в нем не смог. Дом предполагает оседлость чувств и мыслей, а Казаков, по самой своей природе, — странник, то очарованный, то безочарованный, но странник, а иногда и просто — «гражданин убегающий». И когда блуждающая судьба занесла его в голубую да желтую Азию и усадила за бесконечный роман Абиджамила Нурпеисова — он, видимо, затосковав, затеял переписку с соседом по абрамцевскому «имению», в надежде, что Митя купит и достроит задуманный им с таким размахом, но оставленный дом...

Естественно, мы присоединили дорогую находку (увы, с купюрами) к основному корпусу публикации. Однако тут же выяснилось, что в результате присоединения отношения между двумя главными действующими лицами абрамцевской драмы — Дмитрием Голубковым и Юрием Казаковым — до этого, по голубковской версии, казалось бы, однозначные, усложнились и запутались. Дабы добиться их прояснения, пошли на рискованный шаг — прибавили к резко развернувшему в сторону **ВЫСТРЕЛА** повествованию еще и отрывок из известного рассказа Казакова «Во сне ты горько плакал».

Вообще история отношений Казакова с Голубковым к рассказу как таковому прямого отношения вроде бы не имеет; и написан пять лет спустя, и посвящен сыну, Алеше. Именно к нему, в ту пору (1977 год) уже отроку, подростку, обращается писатель, пытаясь понять, в какой именно момент их общая жизнь перестала быть общей. Голубков тут как бы третий и вроде бы лишний, но лишний ли? Не связывал ли Казаков, не сознательно, конечно — подсознательно, два УХОДА: Митин — в мир иной, Алешин — в другую, отдельную жизнь («Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, теперь далеко») с каким-то своим душевным изъяном? Не винил ли в слишком раннем — предназначенном и не обещающем встречу впереди расставании — себя, а не их: **УШЕДШЕГО И УХОДЯЩЕГО?** Себя — не удержавшего тайный свой холод?

Знаю, поверть трудно, и все-таки прошу верить: мы не заказывали ни Евгению Шкловскому сюжет для небольшого рассказа «Недуг», ни даже Льву Аннинскому тему для его эссе. Не успевая сделать очередное, в номер, *À propos*, Лев Александрович сам предложил в качестве компенсации журнальный вариант только что написанного предисловия к задуманному в Казахстане томику Юрия Казакова.

Единственное, что мы сделали специально — попросили Владимира Леоновича не тянуть с обещанной «Согласию» подборкой, чтобы — раз уж этого захотел его величество **СЛУЧАЙ** — собрать в один час и в одном месте как можно больше как бы персонажей как бы романа, самой жизнью сначала разыгранного, а потом, двадцать лет спустя, составленного из писем и документов. В этом контексте и Дневник перестает быть всего лишь дневником, приобретает качество настоящей пристальной прозы, куда более пристальной, чем та, что Дм. Голубков отдавал в печать...

У романов такого рода, **ГДЕ ЖИЗНЬ ИГРАЕТ РОЛЬ ПИСЦА**, как правило — конца не бывает. Не оказалось его и у нашей публикации. Забрав как-то к своим литературным друзьям, по надобности сугубо личной, я вдруг нивесть почему стала рассказывать о странно-странных, связанных с публикацией Дневника. Глянув на меня не менее странно, хозяин дома, не говоря ни слова, нырнул в свой книжно-архивный угол и положил передо мной текст посвященного Голубкову стихотворения (когда-то текст этот, как слишком крамольный, был вымаран совписовскими редакторами из его сборника).

«Размышлением о смерти Дмитрия Голубкова», подаренным «Согласию» автором — Леонидом Латыниным — и хочу окончить объяснительную свою записку.

Ты прожил день. А мог прожить и год.
А мог прожить . . . Кому какое дело.
И вот лежишь, свинцом набитый рот —
В чумазый пол уткнув оледенело.

Гурман, эстет, молившийся цветку,
Печальным звукам сонного органа.
Финал судьбы доверивший курку.
И суд ее присяжным балагана.

Лежи, ужо оденут на парад.
И ты в цветах предстанешь благороден,
Вперив во тьму остекленелый взгляд,
Неизлечимо миру инороден.

Лежи один, урок мне этот в масть:
Не повторю, хоть жизнь не по карману.
Брезгливо мне на грязный пол упасть,
Свою судьбу доверив балагану.

Р. С. Абрамцевский Дневник Дм. Голубкова был уже практически сдан в печать, когда в деле о ВЫСТРЕЛЕ вновь вмешался СЛУЧАЙ — подбросил Аракси Голубковой безнадежно пропавшее, сгинувшее во глубине семейного хранения письмецо Ю. Казакова, не письмо даже, записку, извещающую вдову друга, что он, Казаков, намеревается вставить в только что написанный рассказ кое-что о Мите . . .

Поколебавшись немного: писано явно в момент малодушного погружения в заботы мелочные, по размышлении решили опубликовать и его. Ибо, думается, за этим поступком, то есть письмом Ю. Казакова, таким небрежным и даже циничным, скрывается какое-то иное чувство — из тех, КОТОРЫХ НИКТО НИКОМУ НЕ ОТКРОЕТ . . .

Алла Марченко



Владимир Леонович

ЗЕМНЫЙ СВЕТ

* * *

Свет идет от земли.
В сумерках беломошник
под ногой — будто в страшной дали.
Где опора, художник?
Здесь она или там,
в котловине и чаше?
Зёмный свет исхожаше
и при niche пятам.
Там — глухой
обретался народец лихой:
уходил от Ивана, не дался Петру,
здесь по нем два кургана в бору.
Землю в руки вберу
белую моховую
и тебя назову я.
Разберу, как слепец письма,
вплоть к тебе приникая,
что посмел забывать: вот какая
ты нечаянно погребена.
Угадаю родню,
по которой тоскую и сохну...
Первым делом в рогатую соху
запрягу четверню.
Кони или быки —
кругом ходит квадрига.
Пашня пышная, пашня-коврига,
в пашенке камешки
по ста пуд! Лягут в стены.
Две валунных морены —
что твои Соловки!
А в горе сам собой на вершок
ключ забился навстречу усердий,
будто с посохом Сергей
проходил — отвернул камешок...
Тут часовенка — для бытия.
Прудик-сруб для питья,
для скотины и для белья —
зеркала в три ступени,
и простор — для веселья и пенья.
О-зе-ро! О-стро-ва!
Сей округи Великий акустик
голоска, шепотка не отпустит —
слышишь? — песня жива.
С песней тянут плоты,
возят сено широкие лодьи —
как же ты дожила до бесплодья,
до моей немоты?
То ль гагара вопит,
то ль безумная мать причитает —

эхо пересчитает
 острова и века, но смертельных обид
 не сочтет — и растает.
 На вершине трехпрудной
 на камнях лишай изумрудный,
 дивный свет подо мхом,
 яма, холм...

* * *

Напишем слово через два тире:
 оно рычит и охраняет воды
 и отчуждает зону ВЭ—ДЭ—ХРЭ
 от окружающей ее природы,
 равно как от живого словаря
 уродливую аббревиатуру.
 Здесь воды, осужденные зазря, —
 гнилое море, розлитое сдуру.
 Слили в обширной камере одной,
 как языки, здесь множество течений,
 произведя один язык — блатной —
 и обеспечив минимум значений
 прожиточным десятком матюгов.
 Гнилой лиман лежит без берегов.
 Какой былины чудо-богатырь,
 производитель катастроф и ломок,
 в природе произвел такой пустырь?
 Аминь, узнаете их по делам их.
 Кто вынес приговор воде — умри,
 умри, вода в живоначальных связях,
 в самом своем составе, из-нут-ри! —
 где этот основоположник-классик?
 Достигнут водяной полураспад,
 и тихо-тихо в сторону гниения
 подался вождеденный термояд.
 Где этот гений? Не ищите гения...

* * *

Бежала Черной Дебрею тропа —
 тропа уткнулась в море Костромское,
 и мы его поставим на-попа,
 уродливое детище людское.
 Здесь родина моя — сплошной полой —
 весной стоит на сваях курьих ножек —
 моя Венеция, мой свет быллой
 апрельской ночью изо всех окошек.
 И по всему раздолью — светляки:
 плывут — кто со смольем и острогою,
 кто с плоской сальной — те не рыбаки,
 к Ипатию спускаются рекою.
 На Пасху медом дышат берега
 и певчих слышно по воде далёко,
 и стон лягушачий, и га-га-га
 укромное, и светлой поволокой
 весь берег затянула шелюга.
 Здесь хаживал Некрасов, пес Фингал

за дичью плавал, чуток и проворен,
с этюдником своим здесь пробежал
полубезумный, бледный Павел Корин:
да, все непоправимей, что ни день,
Русь деревянная идет под воду.
Амбар, взвоз, баньку, верею, плетень
зарисовать, успеть! Коньки, ворота...
Четыре кряжа здесь прапрадед вбил,
чтобы часовня встала на помосте.
А сваю вытянешь да смоешь ил —
и желтизна блеснет — слоновой кости...

ДЕВА ПУСТЫНЬ

Памяти Аделины Адалис

На нищем больничном одре
лежала тогда в ноябре,
неловко лежала — как птица.
И образ ее, как всегда,
капризничает и двоится,
как призрачные города
возлюбленных ею пустынь —
песок и белесая синь;
об этом и речь, и туда
по осени память стремится...

Крылатое диво сидит
на спинке кровати железной,
и серое око глядит
с тоскою на мир бесполезный,
на сборище дураков:
зачем не дают порошков
забвения! Гнев и обида!
И тайное знает она,
и будет еще рождена
для имени Аделаида...
Для новой утробы узлом
старуха себя завязала
и серым укрылась крылом
казенного одеяла.

ИМ СПАСЕНЬЕ

Олегу Васильевичу Волкову

Соловецкие острова:
человеческие слова
не слышны — не нужны.
Откололась ржавчина от
монастырских Святых ворот,
что вмурованы в валуны
крепостной стены.
Плотно-дочерна, как слюда,
на года намерзли года,
устюжанским узором лед
обметал полотно ворот.
Вот они — на душе душа.

Вот и все, что нам надышал
и коростой оставил тут
соловецкий работный люд.

По прошествии лет
не изгладился в море след
и воронка всегда видна:
твой этап не дошел до дна,
тьмы не вынесла тьма.
Продырявленные трюма...
Им — светлицы и терема,
им спасенье, а нам тюрьма.

Не поддался на переков
Главный колокол Соловков.
Он шпангоуты проломил
и ушел от нечистых рук,
это он мне душу томил —
непрерывный — повсюду — звук...
Главный колокол сей
не зарылся в песок, но всей
вольной тяжестью на весу
в Беломорском царит лесу!
В том лесу потайной красы,
исполинской райской травы,
что сошел с валунной косы,
чтоб его не топтали вы.

Выплывает могучий звон,
а слова позабыл амвон,
воровскую приявший власть,
кою призван проклясть.
Будь же проклята до конца —
смертью деда, мукой отца,
болью вечной моей
и бедой сыновей —
соловецкая тьма —
анафема!

СЕЛО НИКОЛА

Эту зиму колю я дрова на морозе.
Разбираюсь в березе, понимаю осину,
каковая внутри собрала все оттенки январской зари, —
так и в печке дойдет добела и дотлеет дотла.
А сосновый кряжок расколю:
эти волны, эти цепкие болоны... Развалю —
и на сколе смоляную волну повели эти доли
во всю долину!
Отливает шафраном ольха: под сугробом поленница —
что лазоревки, что твои снегири!
Ах, беда не беда, а беда не лиха —
тот смотри, кто не ленится.

Как спасаюсь? До зари просыпаюсь,
прыгаю в полынью. Жизнь подобна моя житию.
Примерзаю ко льду, вылезая, по снегу бреду

к ризам, стало быть, к ризам.
 Чуть заря. Ветерок и по телу парок.
 У меня ревматизм и сердечный порок.
 Уважаемую болезнь лечат — наоборот. . .
 Только разве для этого лезем под лед?
 Быстрина струи черные вьет, и мерцающим настом
 под шагом нечастым промерзлое поле поет.
 Славным мастером отлита на окрестную весь
 музыкальная эта плита — затаенная песнь.
 Поле, поле, еще мы споем. . .

Не похожа заря на зарю — будто девочки в классе моем:
 узнаю, узнаю. . . В лес хожу с бедной Лялькой, с ружьем.
 Лялька бедная умерла — без меня отравилась,
 скулила, ждала.
 Только я не охотник в лесу: слишком вижу красу
 то театра, то храма. Открыто
 совершаются величайшие драмы: вижу Лира,
 узнаю Ипполита,
 природа смела в каждом сдвиге.
 Отделите добро ото зла — будут книги.
 Всё меня изумляет. Всполохнется тетёрка
 и пулей с-под снега вылетит и петляет —
 только слово сообразить успеваю —
 выстрелить забываю.

Но потом, все равно, жиловатое мясо от страха черно,
 подожметса в печи, зарумянится —
 из меня так и не получилось вегетарианца.
 Будут по полу красные блики — спаси-сохрани! —
 женщину прогони, слово выкинь:
 нет, учитель, ни возраста, ни тебе пола —
 школа! Дети — и только они
 да твои наблюдающий дни чудотворец Никола. . .

Все слова сохрани. Таково,
 недостойный, живу возле храма его.
 Колокольню и купол алтарный снесли.
 Храм походит на остов опрокинутого корабля на мели,
 на угоре погоста,
 Но зажмурься — и мнится, будто цел и хорош на заре. . .
 Вон — белье кладовщица развешивает в алтаре.

* * *

Тяжела и вязка
 малодушная эта порука.
 Хоть нога, хоть рука —
 а хоть оба обрубка!
 Так седой лисовин
 отгрызает зажатую лапу —
 не бегите за ним
 по кровавому крапу.
 На своих на двоих по прямой,
 слава Богу, покамест.
 Задыхается мой
 разноstopный анапест.
 Черногрязьем, родным непролазьем,

слава Богу, живьем ужожу.
Сяду на пень, сырого гриба съем —
одолжу
знатоков ресторанных,
из лесной колеи
пригублю золотого аи.
Помолитесь о странных,
родные мои.
Мне водица сладка,
гриб не горек,
и на дне пестерька
мой кормилец-топорик.

* * *

Паркует он, впритирку подруля,
свой драный «Запорожец» инвалидный
с чернофигурной маркой инвалютной,
чьи золотые льются вензеля.

Брезент накинёт, сшитый из кусков,
тесемочки подвяжет, еле-еле
сгибаясь в изуродованном теле,
и кожа багровеет у висков.

И через двор с пакетом молока
хромает он, отмеченный собесом,
асфальт пятная батоном-протезом,
сей помесью бутылки и дровка.

Так за день много раз и без нужды
поправит он лоскутную попону,
поклонится, и по его поклону
видать: уж недалеко до беды,

И на брезенте белая рука
лежит, забывшись, пухлая с потыли...
Хорошего, должно быть, мужика
на инвалидку мы пересадили.

Он медлит возле черного крыла —
почтенье «Мерседесам» и «Тойотам» —
играют с ним кривые зеркала,
в которых ничего не узнает он.

СИГНАЛИСТКА

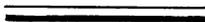
Для ребенка, солдат, для ребенка.
Лед в углу — оторвалась вагонка.
Не боишься, так спи на полу
(где пуховая наледь в углу).
Жись как жись, хрен не жись, а продленка.
На полу уложила... теленка,
подоткнула тулуп — засопел...
Все кивал, да вздыхал, да краснел.

Спит, не спит? Ну да ладно. Покуда
 плакать буду, рассказывать буду.
 Скорый мчит, подымает метель —
 оглушил, закачал колыбель.
 Обозналась, терпела подонка
 для ребенка опять, для ребенка.
 Уходил, приходил ночевать,
 незажившие груди жевать.

Ты же сытый, козел, ты же сытый,
 ты же с этой, кричу, ты же с этой...
 Со стыда поперхнусь, в пол гляжу —
 ничего дураку не скажу.
 Припасёна ему самогонка,
 все надеюсь: отец, для ребенка...
 Пей до визгу, а я не хочу,
 понужаюсь — треплюсь да шучу.

Завернули за сорок морозы,
 леденеют, чуть выступают, слезы,
 так что плакать Сибирь не велит,
 а румянит тебя и белит.
 А не то как сегодня — накатит,
 заревусь... на всю ноченьку хватит,
 вся опухнешь и ходишь как те...
 Спишь? Не спишь? Поднялась на локте.

То и правда, что рвется, где тонко.
 А не спит... Ночь ты, ночь, полусонка...
 Пожалела его как дитя
 и отправила перекрестя.
 Все ж не вытравили... Крестьянка!
 Накормила его спозаранку,
 так и на сердце будто ясней...
 Уходи, возвращаться не смей.



Валерий Пискунов

ВИТЁК САЛОМАТИН

Рассказ

Он и до армии был одинок. Юноша улицы — напряженный, нахмуренный, себе на уме — строго шагал он к близкой, непонятной нам цели. Его когда-то хотел усыновить предисполкома, но Витек увертывался, стараясь сохранить дистанцию, — обедал, позволял обстирать, ночевать же уходил к себе. Нас, подростков, он привлекал густой смесью силы, бездумной отваги и книжного всеядия. Это последнее было особенно сильно в нем выражено, нам казалось, он накачивает мозг, как мускулы, и если мы встречали его пьяным, он избивал нас цитатами. Такие стычки я переживал болезненно: в наш городок уже проникла бацилла интеллектуального стилистичанья.

Натыкаясь в журналах на фотографии с бюстов греческих философов, я насмотреться не мог на огромные лбы, забранные колечками вьющиеся челки, выпуклые белки и, особенно, пронизательные зрачки под сонными веками. Зенон, Гераклит, Сократ! Маневренная конница софистики! И я не мог ответить ни на один выпад Саломатина. . .

Иной раз, проходя ночной улицей мимо его дома — старого, двухэтажного, где на первом этаже была у Витька комната в одно широкое окно, — я пытался быстро заглянуть в щель занавески. Я уже знал: если горит под потолком пустая лампочка, значит он дома — трезвый, лежит и читает.

Саломатин не интересовался девушками в той мере, в какой мы, и тем выступал фигурой законченно мыслящей. Правда, когда сильно напивался, приходил к проститутке Алине. Стоял на порожке перед дверью, склонив голову, подставляя луне или фонарю заросший затылок: изображал великое смирение. . .

Нас он не замечал, держа жесткую возрастную границу, или, когда попадался хмельной, пугал нехорошей улыбкой узких редких зубов.

Школу Витек закончил с трудом, все куда-то убежал, его возвращали, предисполкома хлопотал, чтобы приняли экзамены. В армию ушел незаметно. Его никто не провожал, а в опустевшую саломатинскую комнату вселилась какая-то женщина. Она повесила новые занавески и выставила на подоконник горшочки с цветами. На голую лампочку насадила розовый абажур. Облупленную дверь выкрасила голубой краской. Это обновление — оконные стекла были так вымыты, что цветы герани проступали густыми каплями, — торопливое перекрашивание оскорбляло меня: прошлое Саломатина замазывалось так, как будто у него уже не могло быть будущего. . .

Городок наш располагался среди высоких холмов-гор и был погружен в сочную древесную вязь. Все времена года опробовали свое умение на буках, дубах, бучине, кустах сирени и боярышника. И я старался смотреть на городок глазами природы — искал в ней равновесия, с юношеской хитростью стараясь смягчить болезненное наслаждение точной наводкой на изощренную скоропись жизни.

. . . Воздух над нашими холмами слоисто пронизан дыханием увядающих листьев. С холма виден весь спектр свечения, вся очистительная гамма осени. Хочется закурить, так пахнет у корней сухая листва, так пахнет дым от сигареты, так вспыхивает спичка — черная головка медленно сгибается под тяжестью невесомого пламени. В этом, в почти мыслящем нагнетании цвета (клену оставалась лишь алая

дымка в огненной радуге), я со страхом следил за смещением времен дня — сегодня у меня было свидание. Витек ушел несколько недель назад, и я внутренним косвенным взором ловил его как бы косвенные следы: ухмылку в сучьях старой сосны, глянец темных губ на слюдяной полоске в камне, слышал голос с гнусавинкой эха, случайные его слова — «жизнь — сука и, в отличие от женщины, отдается по выбору». Именно это, судя по мелодии, выговорил клест.

Вечером, когда уже было темно под каштанами, мы встречались. Назвать ее имя — удлинить рассказ. Мы с ней спорили. Она говорила, что сюжет — это главное, без нового сюжета нет нового искусства. Я не знал, что такое сюжет, но я знал, что это то, что выдумывают, и холодно, самоуверенно возражал. Я говорил, понося невидимых снобов и эстетов, что в жизни нет ничего выдуманного.

У нее были крупные черты лица и короткая стрижка; чтобы взглянуть в широко расставленные глаза, я переводил взгляд от зрачка к зрачку и никогда не мог понять их выражения. Я распался умом, голова разрасталась и гудела. И в то же время я был беспомощен. Я не мог ее поцеловать, и она мне никак не помогала. В этом я находил мечь — мечь бессюжетной жизни нашему невольному сюжету. Мальчишеская прическа возлюбленной (чувишки) слагалась из полуобрезанных локонов: когда я обнимал чувишку и брал на ладонь широкий детский затылок, моя ладонь чувствовала сердитое ворчание усеченных, волнистых по характеру волос. От нее пахло духами, но под слоем духов сиротливо теплился запах зацветающей бузины. Я вынюхивал его там, где врач нащупывает признаки ангины. «Мы так и будем здесь стоять?» — спрашивала она, а я стоял и смотрел сквозь трепетную тень акаций на небо, стоял из упрямства. Идти было некуда, оно — небо — нам это говорило на языке звезд: «Вы идете туда, куда вас ведет перегревшийся разум».

... Вернувшись из армии, Витек домой не пошел, жил по знакомым, ютился в сараях. Упившись, ночевал и на вокзале. Иной раз его забирали в милицию. Утром он выходил из КПЗ смурной, тихий до жалости, мел крыльцо у дежурки и тротуар. Его не били и даже не стригли, и он, вечерами встречая кого-нибудь из нас (мы подросли, и он уже признавал за нами право выслушать его), говорил хмельным, посапывающим в угрозе голосом: «Я выдержу любое издевательство. . . Но всему есть предел».

Однажды он выгнал тетку из квартиры. Тетка ходила под окном, по двору, вокруг кучи вещей, кричала, что этого гаду и бандиту не простит, посадит. «Я тут срачник целый год разгребала, вот, люди — свидетели, а он на готовенькое!» Тетка стояла под окном, стучала в стекло. Саломатин не выходил, дверь не отпирал. Тетка перетасила куда-то вещи и время от времени приходила, накидывалась на Витьку, и тот отдавал ей то розовый абажур (лампочка с легким «ах» повисла в свободном падении), то кастрюлю, то горшок с геранью. Потом тетка куда-то пропала, но Саломатин зачем-то сорвал и выкинул занавески.

Снова квартира стала просторной, с потолка яростной «чистой мыслью» свисала трехсотсвечовка, и сквозь незавешенное окно были видны пустые стены, кровать на кирпичках и книги на столе, на подоконнике, на гнутой тонкой этажерке.

Саломатин почти не изменился, однако в его повадках появилось нечто новое. Иногда он стал замирать. Идешь ночью, и вдруг — Витек, стоит, набычив голову на угол дома или на ствол дерева. . . Он теперь напивался чаще и становился развинченным, боксерски вскидывал плечи, выпячивал мышцы, сопел и харкал. А когда впадал в бешенство — дышал глубоко, ритмично, на губах створаживалась пена.

Если не было с кем подраться за справедливость, Саломатин мял ногами мусорные тумбы или молотил кулаками водосточные трубы.

Проститутка Алина избегала его, но он выдежуривал ее на крыльце: в дождь ли, в снег — сидел без шапки, в бушлате и сапогах, курил в кулак. Алина приходила, и он молча поднимался за ней. Если Алина была пьяна, она упиралась в дверях, кричала: «Навязался на мою жопу, пидар вонючий! Что тебе от меня надо? Нашел маму родную!» Саломатин заводил ей руки за спину, — «Ай, больно!» — успевала крикнуть Алина, и он вталкивал ее в комнату.

Яростная лампочка под потолком в комнате Витька упрекала меня всякий раз, когда я, возвращаясь с очередного свидания, проходил мимо. Эта лампочка сияла странным, резким двойным светом — одним для книгочех Саломатина и другим для меня. Саломатин вернулся, и прежняя его жизнь почти полностью совместилась с теперешней. Так мне представлялось, и я упрекал себя, что не могу сосредоточиться на какой-то высокой мысли, всего себя отдать чужой мудрости во имя своей. . . Надо было решаться, любовь к девицам не приносила мне той, окрыляющей свободу необходимости, о которой писали поэты. Я сам пытался писать — передразнивал лириков, выпячивая «мозговую железу», и говорил, что таковы ее выделения, — так где же то «духовное тело», которое способно принять эти выделения и не умереть в конце строфы? Я был практически невинен, но мой мозг, моя «железа» были так развращены, что можно утверждать: юноша невинность теряет с головы. Греки ведали этот грех и потому изобрели гигиену для ума — не могли отказать себе в высшем, по их мнению, эротическом удовольствии — головной, духовной, мужской любви. Не было иного пути, иной возможности удовлетворить «головную железу»? Или бесполоая божественная красота, или муки кентавра?

В этой несурянице, коробившей меня (иначе я не воспринимал гомосексуальную закольцованность), было что-то недоговоренное. Я понимал необходимость восхождения к абстракции (и красоте) путем мыслительной работы, но зачем доводить до абстракции переживания плоти?

Однажды я столкнулся с Витьком в библиотеке. Я сидел за столом в читалке. Он наклонился из-за спины и взял мою книгу: «Что читаем? Эп-тон Синклер». Он еще что-то сказал, что — я не расслышал, поскольку напряженно собирал внимание. Лицо у него было гладкое, безмимичное, а в глазах дрожали и мягко, ртутно посверкивали зрачки. Говорил он так, словно прижимал в споре, — так мне казалось. Но был он трезвый, спокойный, а узкие темные губы делали его улыбку детской. Он говорил как будто на прощание: вот доскажет главные, последние слова и уйдет. А я все напрягался, совмещал его голос с его словами, его слова с его лицом, ведь никогда раньше мы не беседовали, и слушать его было для меня все равно что дышать сдавленной грудью.

Мы вышли. Морозный сухой ветер мел по тротуару снежный песок. Деревья были голые, ветер вымел снег из древесной коры. Саломатин не застегнул бушлат, шел лицом на ветер. И говорил: «Человеку всегда хочется свободы. . . Ты прав». Я испугался: он сказал так, как будто знал, что я об этом думаю, но Саломатин пролетел над моей мыслью. «Свобода не дается человеку с одеждой. Надо приноравливаться. Все время приспособливаться. . . Надо разорвать на куски человеческую психику, разделить восприятие от ощущения, мысль от чувства. . . Трудно, Алеша, но жить надо». Он исподлобья смотрел на ветер, снежные семена с трудом удерживались на плотных курчавых волосах. Меня бил озноб сильнее, чем от морозного ветра. Витек вбежал в меня, забыв закрыть дверь, как будто и для него и для меня его визит был привычным делом. Я сразу заболел свободой, я вспом-

нил ее, как вспоминаешь знакомого на групповой фотографии. «А вот этот, — говорят тебе, — совершил нечто», — и ты вглядываешься в него, удивляясь не столько тому, что в нем нет ничего от «нечто», сколько тому, что ты сам не совершил это. И еще: впервые я не из книги узнал слово, впервые слово было произнесено — и я не мог (как не может мембрана клетки не откликнуться на солнечный свет) не отозваться. Я кивал, у меня были такие же, как у Витька, суровые и слезящиеся глаза. «Надо жить, Алеша. («Надо жить в свободе, — думал я, — как в воспоминании»). Надо бить себя, бить каждый день: утром за то, что живешь без цели, днем за то, что ничего не добился, вечером за то, что сомневаешься...» — «А как же «сомнейся во всем»? — сделал я попытку вспорхнуть. — «А! — Витек как будто ожидал этого вопроса, радостно повысил голос, заговорил быстро, нажимно: — Сомнение — это химия, Алеша. Держи сомнение в сейфе, не давай ему выплеснуться. Это — кислота, пользуйся ею осторожно. — У него порозовели щеки и в уголках губ выдавилась пена. — Жизнь ничего не обещает тебе ни на час вперед, ни на минуту, жизнь опережает сомнение... Сегодня ты жив, а завтра тебя башкой о бронетранспортер!» Губы у него потемнели, нижняя раздвоилась и выпятилась, Витек щерился, а глаза бешено смотрели на меня как бы со всех сторон. «Ничего, — сказал он, приобнимая меня. — Знаешь, что сказал тот, которого ты назвал под мышкой? Жизнь — это комедия для того, кто мыслит, и трагедия для того, кто чувствует».

Мне льстило его интеллектуальное доверие, но движение его мысли было для меня труднопереносимым: он давил и морозил меня, как встречный ветер, и долго потом мне казалось, что и в самом деле у меня под черепом гуляет январский сквозняк, и я не мог унять дрожь.

Я стал приглашать Саломатина домой, чтобы мама покормила его. Мне нравилось, как он ест. Мама наливала миску борща, клала кость со шмотками мяса, Витек ел мощно, неторопливо, вежливо. Мама, отойдя и глядя на него, ждала, что он скажет. Витек ничего не говорил, но его усидчивый вид удовлетворял маму. Борщ мог быть вчерашним, а кость жилистой, но Витек и борщ выхлебывал, и кость крушил. «Ешь, ешь», — говорила мама, но в ее голосе я слышал *интонацию* и отворачивался. Витек доедал добавку и благодарил. Он не задерживался, ни с мамой, ни с моим отцом он почти не разговаривал, и я понимал: не о чем. Но чувствовал за этим его молчанием еще и неумение общаться с родителями, пусть даже и не его собственными.

Я не мог разобраться в себе: не то мне было жалко Саломатина, не то я завидовал ему. После его ухода я слушал, как мама живописует отцу: «Жрет, бедный, аж за ушами трещит. Думала, полведра не хватит». Отец весело кривился и кивал, кивал. Это желудочное отношение к Витьку бесило меня. «Да он умнее вас всех!» — орал я. «Ну, тихо, тихо», — говорил отец, не глядя на меня. Он ужинал вареной свеклой, осторожная поступь вилки и ножа обрывалась тихим ударом по свекольному телу, а затем кусочек свеклы, возносимый незаметно, словно телекинезом, облаткой ложился на язык... Я вспоминал, как Витек, входя через рассуждение в ярость, сказал: «Человек, как зверь, ходит позади себя». От его слов у меня пробежали по спине мурашки, как в детстве от выдуманного, но непреодолимого страха. Глядя на спевшихся родителей, я вспоминал, словно прилежный ученик — толково преподанный урок, как в том же своем детстве вдруг почувствовал себя неродным ребенком. Мне было неприятно это подозрение, но одновременно я гордился этим никому-ничем-необязанным существованием. Я так полагаю, что в определенном возрасте этот космический, релятивистский байронизм просто необходим, — он помогает приспособиться к внезапности мысли. Когда ты начинаешь ду-

мать, то оказываешься вне привычной, утоптанной, обжитой земли (помню, как дух захватывало от одного прикосновения к девочке — к иной вселенной, к мысли об иной вселенной, в которой девочка была лишь представителем иного разума), мысль пронизывает земной остов и уходит в беспричинность. Где же тут место человеку, страсти, любви? Вот таким космическим Байроном и казался нам, а мне в особенности, Витек Саломатин.

Он был ничьим, и я никогда не спрашивал его о родителях. Саломатин так жил, так ходил по улицам, так рассуждал, так напивался и зверел, что о родных и мысли не возникало. Однажды под хмелем, но еще не пьяный, он сказал мне: «Я не хочу знать ни отца, ни матери... (он презрительно сопел и раздувая ноздри маленького острого носа). Все говорит о наследственности. Я не хочу знать свою наследственность. А значит, ее нет у меня, понимаешь? Наследственности нет! Тот, кто ее выдумал, — нацист, подонок... Я сделал себя вот этими руками». Он показывал и сжимал в кулаки жесткие пальцы. Он представлялся мне несущимся во Вселенной. Он был занесен в наш мир, и я обнаруживал, что он мой... юродный брат и черты этого... юродства я уже находил в себе, именно в себе, он напрягал меня сходством изнутри.

Я окунался в Саломатина головой, как в майский дождь, испытывая морозную, веселящую растерянность. Я получал отдохновение от ненасытной мозговой логики, бродя вслед за Саломатиным по кромке его безумия. Когда Витек напивался, он дурел, переставал узнавать меня, и я старался убраться до наступления сумасшествия.

Саломатин работал электриком в ЖЭКе, иной раз я встречал его с мотком проволоки и деревянным чемоданчиком. «Здравствуй, юноша, — говорил он, приветствуя меня полуулыбкой. — Трудись. Не забывай, поступать вместе поедем». Мы так решили, он предложил, а я согласился: поступать на факультет философии. «Философия — мать свободы, — говорил Саломатин. — Она учит, как превращать колебания в поступательное движение». Мне казалось, я представляю себе, что такое философия. А внутренне свободу я испытывал (именно испытывал себя на свободу, принимая поражение как необходимое предпосылку эксперимента), испытывал всегда. Саломатин лишь научил меня пользоваться свободой — удивительной свободой переплавлять извлеченные из вещей и их отношений смыслы, выбирать их и втягивать в себя, подвергая, как в тигле, такой высокотемпературной обработке, что они, эти жалкие «вещи-в-себе», теряли всякую связь со своей почвой и навсегда оставались в пределах моего сознания. Так я однажды, раздосадованный своей возлюбленной, ее стойким и бесчувственным охранением своего тела (Господи, как же трудно понять самого себя, следуя мыслью, как подводной лодкой, за своими руками, ищущими не столько ее голого тела, не столько прикосновений, сколько смысла того, что делаешь!), сказал ей (кинул в лицо, оставив в покое холодный парашют клетчатой юбки), что она просто пошлая, глупая девчонка, не способная чувствовать ничего, кроме жалких границ своего холодного тела. И глядя в ее засверкавшие, протертые фланелью обиды глаза, я постучал себя по лбу: «Если ты из себя что и представляешь, так только как результат работы моего мозга». Так и сказал: мозга! Мне надо было обозначить весомость высказанной мысли, а под рукой у меня не было ничего, кроме черепной коробки — странного посыльного ящика, в котором бог отправляет свое сокровище «до востребования». Возлюбленная посылки не приняла...

Я узнал, что у Саломатина день рождения. Колебался: идти или не идти? Но решил, что просто зайду выпить. Мама нажарила котлет, дала соленых помидоров. По дороге я купил две бутылки портвейна. Приятно было идти по слякотному от снега тротуару, думать о том, что

к Витьку можно и без чувихи, что сам Витек, как я замечал, не напрягается от отсутствия баб, спокоен и силен. Я по-свойски толкнул дверь, потоптался в тесной прихожей, услышал: «Входи!» Витек читал, но сразу отложил книгу. Котлеты мы ели прямо из кастрюли. Витек вдруг сказал, что написал рассказ и посылал его в московский журнал и что ответили отказом. Он длинно усмехнулся. «Они мне говорят, что завидовать неприлично. Почему же это неприлично? У нас все заработано трудом, значит, богатства наши честные, и я завидую, я страшно завидую дипломату, который тащит чемоданы добра, заработанного тем, что он поднимал престиж нашей державы за рубежом. Я завидую нашим правителям, которые возят свои трудовые тела в Крым. Все стоит на хорошей зависти, ведь человечество ничего иного не выдумало, так ведь, Алеша? Я животной завистью завидую тем, кто катается в «кадиллаках» — ведь они куплены на трудовую валюту. И если в будущем наша держава треснет по швам, никто из этих высокопоставленных и заработавших себе на жизнь не пострадает. Потому что они зарабатывали наше будущее... Почему же мне не завидовать им? Почему не терзать себя животной завистью?»

Я пил, но следил за его речью. Всепрощение — вот что неожиданным образом открылось для меня в самой «животной» зависти. Подумав, я мысленно раскрыл кавычки: именно в животной — именно всепрощение. А Витек накалялся светлым безумием, глаза ртутно тяжелели, и сам я, хмельной, с радостью видел по этим глазам, как поднимается температура плавления в голове Витька. Он тыкал рукой в стену и говорил «им»: «Ха-ха-ха! Да вы, господа писатели, должны ценить меня за то, что я умею находить жемчуг в вашем говне!» Ха-ха-ха-ха, волны смеха, солнечный угар, крысья улыбка! «Кто, как не я, умеет наслаждаться вашими серыми произведениями? Меня надо ценить, меня, я — читальня улицы!.. Туман, туман, — он водил перед лицом растопыренными пальцами. — Туман, как дрожжи. Вы кричите о вреде суррогатов, но если бы мы не извлекали из суррогатов то, что вы высасываете из подлинного искусства, кто бы платил вам деньги? Все вы бабы и тряса-согузки!.. Ууу, — мотал он головой, — тоска такая, что облысеть можно». Саломатин упал локтями на стол, склонял голову, крутил ею, словно его жгло где-то под черепом. Я курил, шурясь сквозь дым в глубину бытия: там шло печатание слов справа налево, но в надлежащем по смыслу порядке, процесс печатания представлял осмыслением, и тот, кто сидел на литерях, персонифицировал Великий Смысл... Витек вдруг вскакивал, сбивал ногою стул, выдавливал нижнюю кровавую губу. «Армия! Это дух коллектива! У тебя — Я? В раздолбон! Все в шеренгу, церемониальным маршем, повзводно, равнение на знамя, шээ-гом аарш!» Он топал ногой, другой, запевал:

Сырая тяжесть сапога,
ррроса на карабине!..

Допев, он выпил, схватил помидор и вбил его себе в рот, помидор брызнул, растекся, я захохотал, он тоже. «Ха-ха-ха, жалкий сарказм! Душа не трудится! Как заставить эту сволочь трудиться?» И вдруг подмигнул мне (он уверен был, что я и об этом думаю): «Мне много про вас говорил некий Лермонтов! Ха-ха-ха! Душа, трудится, в строю — ать, ать, ать! Налейте гусару, Томочка!»

Мы допивали остатки. «О чем рассказ?» — спросил я. Саломатин упал спиной на спинку стула, застонал, играя желваками: «Позвоночник как оглоблей ударенный... Но ученому ль думать о пустяковом изъяне?.. Я написал о том, как мы въезжали в Прагу, и женщины, как охалки цветов, кидали под гусеницы детей. Ты видел, Алеша, кишки на траках? Они обстреливали нас базаками, забрасывали зажигалками! Жалкие недоноски! Они ударили меня в голову!» Он кинулся через стол головой вперед — я увидел под густыми курчавыми волоса-

ми длинный, розовый, как глиста, шрам. «Пр-р-ролегомены экспоненциальной эрменевтики! — взревел Витек. — В узких готических улицах стоял выхлопной дым от наших «пантер» и «тигров»! Удивительное, необыкновенное зрелище: человеческое качество, разлитое по мостовой. Так мы сливали отработанное масло. Зампотех, щенок, сошел с ума. Политрук, маменькин ссыкун, дышал в платочек! Тонконогие и жидкие кровью. Душа должна трудиться в строю, но сначала ее надо вываривать в общем котле, чтобы мой правый не мог отличить своих потрохов от моего левого!» Витек скользнул на живот, пополз, извиваясь, к моим ногам. Я поспешил к двери. Момент для ухода был упущен, но я не мог высвободиться из-под тяжести внезапной догадки: он убивал.

Пражские события прошли мимо меня, поверх. Я не вник в суть случившегося. Но вот передо мной распустился «каменный цветок», и я понял, что рядом с Саломатиным мне всегда было тяжело, он заужал пространство дыхания, заворачивал на себя свет перспективы, глушил голос, изгонял эхо. Он был самостоятельной гравитационной массой, и в поле его тяжести я потому чувствовал свободу, что это была свобода ото всего. Вот почему он стал замирать и казался медленнее окружающего мира: он убивал. Он стал черным космическим телом, на которое падают души убитых... Впрочем, эта поэтическая вольность придет ко мне после, как и внезапное переоткрытие Витька Саломатина. А тогда я прижимался к двери, все еще не решаясь выказаться испуг. Витек встал на колено, вскинул воображаемый карабин: «Проникновение в каждого и каждого в меня. Абсолютная диэлектрическая проницаемость». Он вскочил, остолбенел по чьему-то неслышному приказу, потные волосы черными колбасками лежали на голове. Я прижался спиной к двери, улыбался отвлекаяще, делал вид, что хочу закурить. Витек вбил кулак правой в ладонь левой, крутнул, хрустя хрящами. «Смотри, стою. — Он раскинул руки. — Делаем так, так, — заорал он злобно, пена пеплом лежала на губах. — Теперь так! — Вскинул ногу, задел стол, упал, пружинисто подскокил, безумно оглядываясь. — Кто? Вы все?! Теперь так! Цель и средство, так и так. — Он делал быстрые, безвольные выпады. — Не знаю такой цели, которая имела бы оправдающие средства. Так, хэк, хэк, намерение, мотив, побуждение. Ногой в пах, ребром в горло, хэк, ломаем руку в локте, так. Цель и результат! Содержание поступка и его форма — бьем ногой в позвоночник...» Он то подвигался ко мне, то отскакивал, и я, ухмыляясь, расстегивая ширинку, как будто мне надо в туалет, выскочил в прихожую. «А! — заорал он, выбивая вслед за мной дверь. — От кого бежишь?! Ат апостола Луки бежишь! Хотел всучить швейную машинку? Сопrotивление обмотки постоянному току!» Я стоял уже на улице, комкая в руках пальто и шапку. Витек тяжело дышал, всей грудью и через нос. Белое маленькое лицо было похоже на одну сплошную напряженную мышцу — голени или бедра. Эта мышца была схвачена судорогой. Я пятился, мокрый снег плескался под ногами. Саломатин сбросил руки и плечи — словно скинул с себя напряжение — и сказал с гнусавой протяженностью: «Истинно говорю вам: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними...»

Я выкарабкался поздней ночью. Зима дряхла особенно и странно — ночами. Мягкий иней срывался с тополей. Простеганное звездами небо было черной атласной плотности. Эта мировая плотность, охватившая Землю, подсказывала моей хмельной голове ответ на головоломную задачку. Так доброжелательный учитель подсказывает любимому ученику мимикой лица, боясь проявить слабость перед неумолимым судом класса. «Человек приходит из детского дома жизни, чтобы стать всечеловеком», — думал я мыслями Саломатина. Мне было легко оттого, что я избежал мордобоя. И в этой радости брез-

жила разгадка, ответ, я его нашел. Я говорил себе под нос о свободе и напоминал себе, что был настолько свободен, насколько был одинок. Я отрицал любовь, отрицал родство. Я двигался над Землей, как фосфорический смерч. «Ты искал «философское начало»? — гнусавым голосом Саломатина спрашивал себя. И говорил: — Прими его, прими гравитационную тяжесть убийцы как свое начало. Оно не изменит тебе». Я даже пытался спеть эту тяжелую песню (она легла во мне плотно, словно для нее от природы, от рождения сохранялась ниша) — маршем:

Возьму шинель, и вещмешок,
и каску,
в защитную окрашенные
краску.
Ударю шаг по улочкам
горбатым.
Как просто стать солдатом,
солдатом!

Шаг в шаг, тон в тон этому пению, кантиленой — голос Саломатина: «В человеке столько свободы, что обуздать ее может только смерть». Пам-пам, пам-пам, ближе к звездам, по кромке относительно.

Потом был холодный май. Над неподвижной листвой выбиралась крепкая полутушка луны с лучащимся задом и косматым брюшком. Завершалась школьная жизнь, а я, волнуясь в предэкзаменационном пространстве, не забывал о Саломатине. Он не оставлял меня — я навсегда «отяжелел» им. «Если бы у меня был брат, он должен был стать убийцей», — думал я. Я словно обрел нечто, казавшееся мне привычным (таким и был для меня Саломатин, *такими* и бывают знакомые люди, ты их принимаешь раз и навсегда, как в откровении, и они остаются для тебя *такими* на всю жизнь, этот внутренний образ лежит в твоей памяти атомом, ядром атома, это и есть твое знание человека), как если бы я не знал, что у Луны есть невидимая сторона, и вдруг эта сторона явилась мне. «Там» была такая же луна, и все вместе тоже луна, но образуется новая цельность, «тяжесть», существующая как бы отдельно от формы, та, что мгновенно сливается с формой и застывает в ней. Так и образовался во мне Саломатин. Это чего-то требовало от меня, а я не знал — чего? Политических шагов? Смены всей жизни? Я обрел в «тяжести» опору, — может быть, это и называется возмужанием?

Мы, пять-шесть хмельных выпускников, шлялись по парку, сидели на спинках лавочек, выпивали, и я рассказывал друзьям о Саломатине, о событиях в Праге, о необходимости менять мир, систему, власть. Я поднимался все выше, мне казалось в те минуты, что вот наконец я делаю то, что необходимо мне и Саломатину. В порыве диссидентского негодования я призвал друзей немедленно совершить акт протеста. И мы пошли против парковых статуй. Гигантский футболист, как и равная ему женщина с веслом, не поддались. Тогда в кустах у старого, круглого фонтанчика мы напали на пионера. Руку и кораблик оборвали быстро, а сам пионерчик стоял стойко, глядя далеко мимо нас, но в том далеке, судя по мертвому взгляду, ему ничего не улыбалось. Мы уже надломили и откручивали ему голову, когда из кустов вынырнул Саломатин. «Все на одного? — проскрежетал он пьяно. — Я буду битый! Бить жестоко!» — «Витек! — заорал я зазывающе. — У нас бунт против статуй!» Он сорбачил квадратные плечи, медленно обошел фонтан, остановился, глядя на нас и пьяно, бодливо принаравливая мысль к тяжелому языку. «Не люблю я этих левых детей правых родителей», — выговорил он. Я почему-то жестоко обиделся, но Саломатин перекрыл

обиду полусумасшедшим хохотом: «Психопатология обыденной жизни! Ха-ха-ха! Рим свергает своих богов!» Тяжелым ударом ноги Саломатин скривил, сломал пионера, белая голова кукольно мотнулась и каменно канула в стоячую воду.

Экзамены в институт я завалил. Саломатин со мной не ездил. Когда я вернулся — узнал, что он женился. Мама, брезгливо морщась, сказала: «Старуха какая-то, безобразная, да какая за него пойдет?» Витек же, сидя со мной в сквере за бутылкой, объяснил: «Взял из-за ребенка. Одинокая». Я усмехнулся — и ясная, надменная мысль пришла ко мне: «Что, кроме Вселенной, может быть моим основанием?» Я стал прощать Саломатина. Он уловил эту перемену, но не вскинулся гнуть меня, как это могло случиться полгода назад. Он буркнул: «Это не мой ребенок». И стал развивать идею божественного отцовства: так-де и положено от христианского мира, чтобы не знал ребенок, кто ему отец. «Ведь и отец не принимает ребенка сразу. Ему надо обвыкнуть, сформулировать идею ребенка, только после этого становится отец отцом подлинным». Он исподволь посмотрел на меня — я с неприязнью наблюдал, как его крепкие коричневые губы произносят слова, за смыслом которых я не мог не следовать. Витек сказал: «Отец не тот, кто спустил в женщину себя, а тот, кто сформулировал идею ребенка». Мы не разговаривали, курили. И вдруг он сказал — словно отбросил цветную карту Земли и обнажил черный атлас Вселенной: «Жалко детей, они обречены любить своих родителей».

Я не мог ему этого простить, но под обиду подвел другую причину. Почему он выбрал себе безобразную жену? Я был убежден, что моя привязанность к Витьку как бы подтверждает его мужскую красоту, а красивому мужчине должна принадлежать красивая женщина. Я сам влюблялся только в красивых, дурацкий же выбор Витька подвергал сомнению не только его красоту и ум, но и мою красоту и ум, а это было почти невыносимо.

Изредка я приходил к ним в гости и наблюдал, как Саломатин играет с младенцем. Он замысловато разговаривал с ним, читал Данте, заставлял дышать по йоге. Младенец еще не ходил, но голову держал. Сквозь полусуматую пленку темных глаз он смотрел не мигая в лицо Саломатину, а тот тихо заводился: «Скажи: ро-от. Ну, вот так: роо-от!» Ребенок начинал кряхтеть, мать, безмолвно переживавшая, оживала и забирала его на руки. Она была такой же большеголовой и широколицей, как ребенок. И взгляд у нее был взглядом младенца... Младенец не знает, что он смотрит глазами, поэтому он не знает, что смотрит в объектив времени. Для него свет никак не отделен от предметов, им освещаемых. Ребенок не видит себя, и то, что он заплачет или шевельнет рукой, — это чистая случайность. Младенец еще вне законов, построенных человеком. Ребенок познает мир всем телом, если быть точным — телом-духом. Такая же всетелесная готовность проступала в каждом движении жены Саломатина, и лицо, все еще не отличное, наполнено было печальным материнским идиотизмом. Она могла оставить Саломатина с ребенком и уйти по очередям. Ребенок орал, Саломатин не подходил к нему, говорил мне: «Это хорошо тренирует волю. Не обращай внимания. Он сам не понимает, что чувствует. Крик его есть неповторимый крик первобытной тревоги».

Пьяный Саломатин бил жену и выгонял из дома. Она заворачивала ребенка в телогрейку и — дождь, снег — уходила к каким-нибудь знакомым. Приходила и к нам. Мама кормила ее, а я капризно и строго учил ее быть терпеливой и уважать Саломатина. Мама насмехалась и надо мной, и над Саломатиным, подзуживала жену подать на него в суд. Жена соглашалась со мной: «Ага, разве ж я не знаю!» А в суд подавать отказывалась. Мама настаивала, тогда она заворачивала ребенка и уходила. Я ругался с мамой, а мама отвечала, что я нашел

себе дурного учителя, вот почему не поступил в институт. Я не слушал ее, меня больше задевала доброта жены Саломатина, которая возникала всегда, как волна, покрывающая нелюбовь кого-либо к Саломатину. Иной раз я шел следом за ней, зная, что она бродит по улицам. Шел, подталкиваемый раздраженным желанием пережить нечто такое, в чем я мог бы подняться на уровень ее жертвенности. Я стучал в дверь, говорил с Витьком о смысле жизни, о божественной роли отца: «Нужны усилия, Витек, чтобы вернуть человеку его божественный образ. Каждый раз нужны усилия, ничто не дается само собой! И мы ляжем безобразным месивом, но дети наши обретут лицо!» — «Ублюдки и черная ночь! — кричал он из-за двери. — Извольте, кушать подано! Семейный Ужгород — Помары заменит нам отцовство!» Я оглядывался на жену, на младенца и говорил Витьку через дверь, что жена любит его, что на свете нет ничего святее женского терпения. Полудожь-полуснег густо освещал ночь. Жена снимала с головы платок и плотнее укутывала младенца. По ее лицу медленным глянцем текла вода. Я грохотал в дверь, в окно, Саломатин гасил свет и пел. Мы стояли растерянно, я против воли испытывал нежность к его жене. Внезапно Саломатин распахивал дверь и выбегал, хохоча и злобствуя.

После таких сцен мне хотелось раздавить Саломатина. Я презирал его особенно за то, что его грязными, сумасшедшими усилиями в мою жизнь вошли его жена и младенец. Это было унижительно и, как мне чувствовалось, противоестественно: из гордости я вынужден был защищать ее, но вслед за гордостью, ластясь и вясь, в меня вползала неразборчивая нежность к женщине.

Витьку я не говорил об этом. Но я говорил ему, что мысль только тогда достигает полноты и величия, когда, как история, избавляется от грешной и грязной плоти. Он долго смотрел мне в глаза, он никогда не просил меня повторить сказанное. Глаза его были обведены такой же белой корочкой, какая запеклась на углах губ. Слово он уже давно не умывался. И говорил о своем: «Не так просто, Алеша, избавиться от грешной плоти. Человека никто намеренно теперь не доводит. Это Достоевский умел доводить. Теперь — социальное равенство... Заботливый патернализм, все тебе по-христиански желают добра. Вот только в армии было такое. Но там я их всех давил... Кто же возьмет на себя смелость целенаправленно доводить человека?» Он опять долго смотрел мне в глаза, я отворачивался. Мы опять пили портвейн, жена подавала нарезанную колбасу и успокаивала младенца. Витек декламировал: «Что есть слова? Зола, поковка снов, каленье клейм, клеймующие-клейма иль след клейма... Бессонница келейна, и тянет холодом от пола, от основ». Я ревновал, потому что он читал не для меня, а для нее и для младенца. «Искрится соль на цокольном стекле. Свежати́на сочится иступленно. Глаза. Печаль их солоня, и словно...» Я оборвал его: «Витек, все сомнительно, особенно рифма «иступленно — словно», это подражательность дурного толка». Он слушал пришибленно, пожимал плечами, и я понимал (гениальность пьяного ума), что стихи ему не нужны, и не нужно ему мое мнение, и жена с младенцем ему тоже не нужны. Он напивался молча, губы темнели, покрывались слюной. Вдруг он заорал, выпучив глаза и губы, — казалось, пена выступала в белке и на переносице. Он выхватил младенца из рук жены: «Знай, Магдалина, я принял выbledка твоего из рук твоих и дал ему душу и нарек его Володимир!» Он уложил младенца на стол, набрал в рот воды (жена успела подставить кружку вместо рюмки), распеленал и брызнул, как под горячий утюг. Младенец не вздрогнул, таращил черные глаза и молчал. Саломатин замер: перед ним лежала девочка. Я сам опешил, нежная глянцевитая вмятинка бесстыдным и волшебным способом превращала человеческое лицо в женское. Саломатин зарыдал и театрально залепил глаза ладонями. Жена хихикнула, улыбнулась, и я увидел,

что у нее нет зубов, вся правая сторона была заполнена языком. «Он добрый, — сказала она мне. — Он потому ребенка не признает, говорит, я конченный, а ей еще жить!» Саломатин также театрально завернул девочку, поднял, прижал к себе. Жена счастливо улыбалась, язык просовывался в проем между зубов, улыбка получалась собачья — дикая и подобострастная.

Саломатин передал мне девочку и обнял жену. Он гладил ее по голове и говорил, взрыдывая: «Женщина, браток, на всем свете нет такой. Я люблю тебя, как никто не будет тебя любить, ты мне подарена небом». Он стал целовать ее лицо, а я смущался и театральными поцелуями Витька, и запахом младенца — внезапным для меня, пристающим к рукам, к памяти. Младенец тыкался в меня головой, мазал пухлящейся слюной, похожей на бешеную пену Саломатина. Я видел, как Витек стал теснить жену к кровати, посадил и заголил ляжки — полные, как поросята. Она одернула подол, оттолкнула его. Я отворачивался и отворачивал младенца (я все еще не мог привыкнуть к тому, что держу девочку), а младенец, упираясь руками в мое лицо, все силился оглянуться на родителей. И, вдыхая запах младенца, я подумал: не ищет ли человек «чистой мысли» и свободы только потому, что высшие интересы справедливости ничего иного не оставляют? И не находит ли он в «чистой мысли», в стремлении к свободе того же, что находит в крайнем самоунижении: и та и другая сладость необъяснимы.

Мысль, что Витек неизбежно кого-нибудь убьет, не давала мне покоя. Наша слякотная зима незаметно впустила весну, в мае мне предстояла солдатчина, и подозрения мои невольно усилились. Я следил за Витьком, а он, как нарочно, становился все беспомощнее и слабее. Мы часто гуляли с ним, он то прикидывался, что глупее меня, то — что младше. А я, спровоцированный, разглагольствовал о детерминизме и индетерминизме, упивался своим пониманием онтологии духа. Мы стояли на склоне холма, где земля уже подсыхала на мягком тепле взрослеющего солнца. Деревья казались сухими, но каждое стояло на особицу, самоуглубленно ожидая какого-то тайного сигнала. Витек тоже выглядел сухим, хрупким, он посматривал на меня быстрым, словно снизу вверх, взглядом и молчал. Я заволновался, каким-то своим фантастическим сожалением — тонким, ветвистым, устремленным к синему, слоистому небу, — сожалел о загубленной жизни Витька. Я забормотал: «Кто говорит языком цитат, тому неведом язык истины. Капли пота на челе твоём дороже всех благ мира...» Перенятая у безумного и пьяного Саломатина эта пошлая манера цитировать чужое, самозабвенно выдавая за свое — только бы подвернулась значительная минута, — не смутила меня. Мы стояли, разделенные молчанием. Холм насыщался медленным, весенним вдохом. Одна, редкая в наших местах, береза стояла ниже по склону. Густые темные ветки, чудилось, не касаются белого ствола и узкая раздвоенная вершина висит сама по себе. Я хотел сказать об этом Витьку, но он не услышал бы меня. У него осунулось, сократилось лицо, рот удлинился впадинами. Он думал и думал одну какую-то мысль, проступившую вдруг извилистым шрамом на его курчавой голове.

Несколько дней я его не видел. Увлеченный весной, я снова влюбился. Я уже разминал крылья, чувствуя под мышками подъемный поток привычного наваждения. В этом наваждении чувствовалась сильная струя тоски. Неверно было бы сказать, что я хотел не любить, но точнее было бы сказать, что я не мог не любить. Я вспоминал, как Саломатин с собачьей изворотливостью унижался передо мной. От этого тоска моя усиливалась, усиливалась обреченность, которую смягчали деревья, сдавшиеся на произвол беспощадной листвы... Как-то утром мама разбудила меня со «страшными глазами». Пришла жена Саломатина с младенцем на руках. Она сказала, что Витек ушел с ночи и

до сих пор не вернулся. «Ну и что? — сказал я. — Проспится — придет». Накануне я наголо остригся, и мне было неловко, казалось, что и мысли стали видны. Из-за этого я был сдержанным, молчаливым. Мама звала ее присесть, уложить ребенка, но она не садилась и ребенка не отдавала. Она смотрела на нас во все глаза — так смотрят с фотографии. Она проговорила: «Когда уходил, сказал: давай договоримся, как встретимся на том свете». Я ухмыльнулся, девочка, глядя на меня, тоже разулыбалась. Тогда жена Витька развернула младенца: все тело у девочки было покрыто синяками, видны были следы ногтей... Мама моя тихо взвыла. «Нет, нет, — быстро сказала жена, — крови не было!» И я вдруг все понял — как увидел, это длилось мгновение: я увидел судьбу, и пока мое сознание корчилось, как смятый лист, картинка исчезла и потом вспоминалась уже как сумасшествие. Я заторопился из дому, я побежал куда-то, делая вид, что знаю, куда иду и что буду делать. Жена Витька что-то крикнула вслед. На улице было пустынно, легкое солнце поднималось с птичьими перекличками. Я выбежал за город, лес светился листовыми зеркалами — полупрозрачный, пахнущий сыпучим древесным соком. Я спугнул сойку, она поднялась тихо, кинулась, как будто я застал ее за преступным промыслом. Так же бесшумно, суетливо упорхнул скворец. Я вышел на склон холма. Витек висел на березе (мне показалось — стоит, неловко зацепившись), бушлат валялся внизу. Витек был в рубашке-безрукавке, в сапогах, он висел вдоль ствола, просунув голову в узкую рогатину вершины. Все-таки он довел себя. Он был парень волевой и выполнил свою последнюю волю.

Ольга Ермолаева

* * *

Этот горский, этот лермонтовский воздух
Наподобие Господнего подарка.
На земле под цвет сухих комков навозных —
Голубел жемчужный круг золы неярко.

Пахло свежей прогоревшею соломой.
Представлялся мне Тенгинский полк пехотный...
И с волшебною станичною истомой
Все вдыхала я ваниль страницы плотной.

Нам стелили на полу в турлучной хате.
Плохо спали мы, а весело вставали.
И со стержня умывальника в ограде
Пили осы, и в ладонь меня кусали.

В синем воздухе притягивала зренье
Стенка яркой известковою побелкой,
Столь нарядной — от соседнего скопления
Изабеллы сизо-дымчатой и мелкой:

Над верандным изрешеченным оконцем
Лозы, как доисторические кости,
И лилово золотел, просвечен солнцем,
Виноград, не прилегающий ко грозди...

Сквозь причудливые, частые ячеи
Невысокого, сомкнувшегося сада,
Проникали, с каждым часом горячее,
Пятен солнечных подвижных мириады.

Все пестрело: стол в саду, на нем — нелепость! —
Газетенка, что и лжива и кургуза...
И сверкал, как дымно-розовая крепость
С цепью окон смоляных — кусок арбуза.

Весь сухой, зеркальный день, библейски-жутко
И всегда очаровательно над нами
Бденье горлинок — их вечное: «Побудка!»
Так, как кликал бы со сжатыми губами...

Только к ночи подменяли их цикады.
Холодало. Шла луна в ветвях за хатой.
И горел овал серебряный лопаты
В кратких сумерках, в заре зеленоватой...

Били новости тяжелые, как ядра.
Мать брела к своей просторной, горькой койке.
И с трагическим лицом глядел из кадра
Поносимый всеми демон перестройки.

25 сентября 1990

Роберт Штильмарк

ГОРСТЬ СВЕТА

Роман-хроника

Глава девятая

ЦВЕТ СТОЛИЦЫ

I

С улицы явственно донесло перезвон кремлевских часов.

— У вас, оказывается, Спасскую прямо из окна слышно! — констатировал Волжин. — Два пробило. Пора мне куда-нибудь... в гостиницу. А завтра утром — в Питер.

Сутулясь, он сидел в любимом кресле покойного профессора Кестнера, держал на коленях старого кота Панкрата и ерошил ему шерстку. Зелень кошачьих глаз усиливалась отблеском в них настольной лампы под зеленым колпаком. Сбоку от стола висела в рамке фотография Ленина, читающего «Правду».

За ширмой лежал выздоравливающий после операции. Роня мало участвовал в разговоре, больше слушал, терзаемый уколами совести и ревности. Неужели он стал помехой человеку на таком его высоком творческом пути? Нарушил возможное содружество этого ученого с желанной ему соратницей, помощницей и спутницей? .. Угадав ход его мыслей, Катя склонилась над ним. Он горячо зашептал ей на ухо:

— Кити! Будь я здоров, рванул бы куда-нибудь... хоть в Самарканд, хоть на Сихотэ-Алинь... Оставить бы вас с ним вдвоем на годик-полтора! Вот тогда все бы и решилось!

— Я непоправимо люблю тебя, Ронни! И все будет хорошо у нас!

Обернулась к гостю и тоном, не допускающим возражений, сказала: — Я постелю вам здесь, на диване. Утром сама провожу на вокзал. Однако, сенсей, где же ваши вещи? Не с одним же этим чемоданчиком вы явились из Токио?

— Вот именно, с одним! Остальное поручил отправить следом.

— Боже мой! Ужас какой! .. Ну — утро вечера мудренее. Покойной ночи!

... Утром они ушли из дому. Волжин предложил позавтракать «в какой-нибудь кофейне». Вскоре они сидели за столиком, поджидая официантку. Целая стайка этих полнотелых накрашенных девиц окружила пустой столик и, полулежа на нем, сблизив лица, горячо обсуждала какую-то свою животрепещущую проблему. Длилось это не менее четверти часа. Наконец, с видом оскорбленной невинности, официантка записала в книжечку их заказ.

— Екатерина Георгиевна, я чувствую, что вы приготовились к решительному разговору. Вчера я просто застал вас врасплох. Да и сам был слишком ошеломлен открывшейся мне ситуацией... Скажите, когда вы писали мне, вскоре после похорон, вы допускали мысль, что... такая ситуация сможет наступить столь быстро? Словом, простите за прямой вопрос: зачем же вы меня-то обнадеживали? Еще раз

простите и, Бога ради, не смотрите на меня как на обвинителя! Откинем совершенно вопрос «кто виноват», спросим себя: «Что делать?» Но для этого мне надо все же кое-что понять! Для вас не новость, что лучшие мои надежды связаны с вами. Мне кажется, что и на свет-то Божий я родился с чувством любви к вам! И что оно — высшее во мне чувство.

— А я всегда считала вас лучшим своим другом и большой опорой в любой беде. Но это... как бы иная плоскость отношений. Такая же, как была между вами и Валентином... Я не думала, что вы все это понимаете по-другому.

— Но чем вас победил этот юноша? Знаете, это просто какое-то колдовство!

— А знаете, что Винцент нас благословил?

— Когда? Где? Как? Ушам своим не верю!

— После нашего приезда в Москву, еще в августе. Они вернулись с Волги и задержались в Москве. В общежитии ЦЕКУБУ, на Москвереке. И я привела его к ним. И он, и Надежда Иосифовна приняли его, как говорится, сразу. Именно как своего, нашего! Проговорили они часа два, я почти не вмешивалась. Когда мы уходили, мудрый Винцент шепнул мне: «Катерина Георгиевна, не бойтесь его молодости. Он сдюжит!» Заметьте, что ему самому я даже об этом не сказала. Мне совсем не хочется никакой «принуды». Впрочем, едва ли Винцент думал при этом о вашем близком приезде.

— Ага! То-то же! Только не буду тут хитрить. О приезде он знал. Я написал ему в Ленинград, еще ожидая визы. И давайте, Катя, не ссылаться на друзей, авторитеты и советы. Наша дружба давнишняя. И я давно вас люблю. Все это — вещи самодовлеющие. Только из них и будем исходить. Работы наши, судьбы наши — только наше дело! Мое и ваше, Катя! Вы так мне и не ответили: что вы в нем нашли?

— Это объяснить не так-то просто! Поразила меня в нем духовная одинаковость, что ли, вернее, соразмерность его души с моей.

— Он намерен стать вашим мужем?

— Он предоставляет мне право решать это. Скажите, даже из нашего короткого вчерашнего разговора с его участием, — неужто вы не почувствовали, что тут нет духовного неравенства? Самое для меня удивительное — когда это он успел пройти точно тот же цикл развития, что и мы — я, моя сестра, Валентин, Вадим Григорьев, если вы его помните? Словом, вся интеллигенция нашего с вами поколения. Он же прошел все это гораздо самостоятельнее и быстрее. Внутренне он уж не так молод. Только внешне...

— Вчера, перед сном, я видел в зеркале то, что давно пытался вообразить: насколько схожи наши с вами лица. А потом вы наклонились к этому юноше и что-то доброе прошептали на ночь, и поцеловали ласково. Луч лампы лежал на его лице и немного скользил по вашему... Нет, Катя, это не лица супругов! Это какая-то романтическая ситуация из Флобера или Стендаля! Мальчик — учитель детей в доме и — хозяйка дома, не погасившая вовремя своей женской страсти и нежности к этому юному герою. Все это сулит ей только страдания впереди... Не губите себя, Катя! Просто умоляю вас! И потом — ваш сын... Скажите, как он воспринял вашу новую... дружбу?

— Ежичка очень ревнив. Он ведь близко ко мне не подпускал коллег, старших студентов. А Рональда стал звать «папа Ронни». Без него скучает и нудится... Полюбил его как-то сразу. Пожалуй, даже раньше, чем...

— Договаривайте! Раньше, чем полюбили его вы? Так?

— Так. Именно так.

— Ну, а коли так, — значит, возможно, я во всем кругом ошибаюсь. Не посетуйте, у любви, мне кажется, есть какие-то особые права, даже у неразделенной... Пора эту беседу заканчивать. Коли это не увлечение,

не мелкая страстишка, а большое чувство, и уже начинает складываться семья,— значит, совет вам да любовь! Поезжайте-ка домой! А мне уж пора и на поезд. Поеду к Винценту. Кланяйтесь там дома всем!

* * *

Вскоре после отъезда профессора Волжина Рональд Вальдек, вороватившись на свое фабричное производство, по неосторожности так надышался хлорным газом, что очнулся в приемном покое Сокольнической больницы имени Русакова. Оттуда напуганная Катя привезла его домой, услышав от врачей, что отравление довольно серьезное и может остаться не без последствий. Пришлось снова на целых две недели возвратиться к полупостельному режиму по больничному листу. Екатерина Георгиевна настаивала, чтобы Роня с фабрики уволился:

— У тебя есть литературное образование, педагогический опыт, пусть и небольшой, журналистские навыки. Можешь идти в редакторы, литсотрудники, стать переводчиком, учителем, наконец, экскурсоводом где-нибудь в Совторгфлоте или Интуристе, ведь тебя там знают и уважают! А сейчас ты сидишь меж двух стульев: красильщики считают тебя поэтом, а поэты — красильщиком! Вот что: завтра я поеду в «Вечерку» и дам от своего имени объявление: «Читаю курс немецкого языка для небольших групп в учреждениях».

... Уже через четверо суток после публикации объявления у него появились три интересные группы: на московском спирто-водочном заводе — для химиков-лаборантов, на курсах Внешторга — для работников крупной экспортной конторы и на других курсах, готовящих молодежь к поступлению в вузы. Да еще в издательстве «Мысль» получил он перевод романа на русский, а для одной известной театральной студии взялся инсценировать смешную, остроумную английскую повесть. Постановка эта осуществилась и принесла Рональду неожиданно крупный гонорар, а затем была вскоре снята с репертуара после уничтожающей газетной критики и самой повести и спектакля — за пустое развлекательство, безыдейность и приукрашивание буржуазной жизни.

А языковые уроки продолжались долго, давали регулярный и немалый заработок, полезные знакомства, педагогическую практику. В издательстве похвалили перевод, поручили новое дело — литературную редактуру, причем работать пришлось над романом маститого автора-мариниста, очень самолюбивого и действительно одаренного, но не слишком грамотного.

Однажды, после очередных Рониных занятий с одной из групп, они с Катей шли пешком по малознакомой улице, и вдруг оба примечательны вывеску «ЗАГС». Решили заглянуть в это учреждение, чтобы осведомиться насчет формальностей, требуемых для регистрации. Было это после обеда 25 октября 1929 года... Вышли они из этого учреждения законными советскими супругами! Настолько все оказалось несложно и даже мило!

После скромного домашнего пира, где главным угощением девяти-рых гостей служило блюдо соленых груздей, молодая чета, по старинной традиции, уехала на трое суток в «свадебное путешествие» в Сереброво! Было там еще тихо, прекрасно, и сохранялся порядок и стиль, присущий Ольге Юльевне Вальдек: она прожила здесь не один летний сезон. Ночью молодые бродили в парке над Длинным прудом и над Черным прудом и около пруда Купального... Были облетевшие вековые липы и двухсотлетние сосны, луна в просветах аллей, вечера у камина. Кате казалось, что она каким-то волшебством перенесена в собственное детство, в имение деда Ивана или в кестнеровскую Гривну.

Воротившись в Москву, они узнали, что Рональд Алексеевич Вальдек приглашен посетить Генерального Секретаря НКВД товарища Флоринского.

2

Барственного вида господин расспрашивал Рональда о родителях, домашнем воспитании, знании языков, переводил беседу на современные литературные темы, задавал вопросы об искусстве, архитектуре, русской старине. С оттенком мечтательной меланхолии припоминал парижские достопримечательности, названия улиц, бульваров, кафе и театров. Спросил, на какой площади стоит Триумфальная арка и какая была судьба дворца Тюильри. По-видимому, ответы удовлетворили важного собеседника, ибо он вызвал секретаря и велел приготовить анкетный бланк на четырех страницах.

— Вы, Рональд Алексеевич, конечно, догадываетесь, что мы хотим предложить вам работу по нашей линии. Рекомендовал вас один из ваших слушателей на курсах Наркомвнешторга. Полагаю, что предложение вам подойдет, и убежден, что ваши знания, склонности и способности найдут лучшее применение, чем на красильной фабрике... Впрочем, значение некоторого производственного стажа в здоровой пролетарской среде я отнюдь не преуменьшаю! Тем не менее пора браться за свое настоящее дело! Заполненную анкету благоволите оставить секретарю... Непосредственным вашим начальником будет Август Иоганнович Германн. Личность интересная, глубоко принципиальная и достойная всяческого уважения. Кланяйтесь жене, будьте здоровы и счастливы!

* * *

Август Иоганнович Германн навсегда остался в памяти Рональда Вальдека единственным образцом так называемого кристального коммуниста. Он был неприхотлив как спартаец, скромнен как монастырский послушник, беден как дервиш и абсолютно не способен извлекать из своих немалых служебных прерогатив хотя бы ничтожную личную выгоду. Родился он в Восточной Пруссии, с детства знал нужду, учился на медные пфенниги за домашние уроки, рано вступил в «Союз непьющих студентов», участвовал в создании «Союза Спартака», из коего впоследствии образовалась КПГ, дружил с Кларой Цеткин, знал Розу и Либкнехта, Эрнста Тельмана и Фрица Геккерта. Был членом правительства Баварской Советской Республики в апреле—мае девятнадцатого года, заочно приговаривался в Германии Штреземанна к смерти через расстрел, до двадцать второго года вел партийную работу в глубоком германском подполье, после чего тайно был транспортирован в СССР, работал в Исполкоме Коминтерна, перешел из КПГ в ВКП(б), а с 1929 — возглавил Отдел Внешних Сношений того «дочернего учреждения» НКВД, куда Флоринский направил Рональда Вальдека. Вот таким-то образом Роня и очутился под руководством немецкого кристального коммуниста товарища Августа Иоганновича Германна...

Произошло это как раз в ту пору, когда в «нашем дочернем учреждении» начали поговаривать о предстоящей партийной чистке. Провели ее чуть позже, но, даже готовясь к ней, партийные сотрудники становились неузнаваемыми для сотрудников беспартийных: утрачивали свою тугую слоновость, обретали терпимость к чужим суждениям, переставали грубить и понукать, снисходили до шутливо-благожелательного тона с беспартийной сволочью и буквально горели на работе, засиживаясь у своих бюро чуть ли не до полуночи. В течение же нормального

служебного времени больше шушукались между собой с таким загадочным и значительным выражением лиц, что беспартийные не могли не ощущать всеми фибрами своих низших организмов всю глубину собственного ничтожества и непосвященности в суть вещей.

Товарищ Германн тоже шушукался и тоже засиживался, чтобы не выделяться среди прочих начальников и членов партбюро, но надо было двигать и запущенные служебные дела, ибо уже начали приходиться письма с жалобами на инертность и равнодушие сотрудников Учреждения, оставляющих, мол, безо всякого внимания запросы иностранных друзей СССР. Поэтому, занятый делами сугубо партийными, товарищ Германн предоставил Рональду Вальдеку довольно широкое поле для самостоятельной деятельности. Новый референт принял дела от своей предшественницы, пожилой умной дамы еврейской национальности. Она откровенно обрисовала новому товарищу внутриведомственную обстановку, подводные течения, рифы и мели на пути учрежденческого корабля, потрясаемого интригами внутренними и внешними, борьбой за влияние, неясностью общих установок, целей и задач Учреждения. Оказывается, руководители Исполкома Коминтерна смотрят на это по-разному. Первые хотят, чтобы Учреждение активно и беззаветно помогало раздувать пожар мировой пролетарской революции, вторые же видят в учрежденческом аппарате лишь умелых вербовщиков душ иностранной интеллигенции: заполучив их на сторону социализма, Учреждение должно помогать практическому использованию этой интеллигенции для нужд советского социалистического строительства в любых отраслях и областях.

Во главе Учреждения еще числилась старая большевичка — родная сестра виднейшего, уже глубоко опального революционера, да к тому же еще и жена другого революционера, пока еще не снятого со своих государственных постов, однако давно стоящего в открытой оппозиции к генеральной линии ЦК партии. На всех последних съездах ВКП(б) муж руководительницы Учреждения подвергался самой резкой критике и не раз выступал с покаянными речами. Родной же брат руководительницы, исключенный из партийных рядов, покинул страну и пытался там, за рубежом, создать собственную партию. Одно лишь упоминание вслух его имени, некогда популярного в красноармейской массе и среди советской левонастроенной интеллигенции, теперь грозило гонениями и наказаниями. Поэтому, хотя руководительница не раз отмежевывалась публично от антипартийного брата, громогласно осуждала его взгляды и вовсе не поддерживала оппозиционных выступлений мужа, роль ее в Учреждении была окончена, отставка и замена уже предприняты и оставалось только гадать, с какими новыми установками придет после чистки будущий Председатель учрежденческого Правления.

Тем временем референт по Центральной и Северной Европе Рональд Вальдек трудился засучив рукава. Уже подталяли в его шкафах завалы иностранной корреспонденции. Иные запросы и заказы из-за границы удавалось срочно удовлетворить: кому посылались нужные книги, кому — наборы плакатов, кому — комплекты журналов и серии фотографий. На имя Вальдека все чаще стали приходиться благодарственные письма и трогательные изъявления признательности. Между тем подошла и партийная чистка.

В те времена партийные организации нескольких близких «по профилю» учреждений и ведомств были, как правило, объединенными: Рондино Учреждение проходило чистку вместе с Наркоминделом и Секретариатом Председателя ЦИК и ВЦИК Калинина. Именно в помещении Приемной «всесоюзного старосты» и происходили в послерабочие часы открытые партсобрания всех трех объединенных коллективов, где и «чистили» партийцев.

И тут-то, в третий раз, чуть не сыграл в судьбе Рональда роковую роль злополучный «Смит и Вессон».

Перед тем как идти на собрание, посвященное проверке самой руководительницы Учреждения, Роня решил передать свой револьвер Герке Мозжухину, чтобы тот снова припрятал оружие в старом тайнике: Екатерина Георгиевна давно настаивала, чтобы опасная вещь исчезла из дома. Свидание же с Геркой Роня непредусмотрительно назначил по телефону у входа в Приемную. Герка легкомысленно опаздывал, а Роня с опасным предметом в кармане околачивался у входа, злясь на Герку. Сам Калинин должен был появиться с минуты на минуту — он был председателем комиссии по чистке.

... Вместо Герки перед Роней внезапно возникло бледное и злое лицо Екатерины Георгиевны. Она догадалась, для чего должны были встретиться старые друзья. Катя схватила Роню за руку и потащила по Моховой, от угла Воздвиженки к Румянцевскому музею. Тут-то на встречу им и попался Герка Мозжухин. Катя заслонила собой молодых людей в каком-то темном уголке и через несколько секунд велела Герке убираться со свертком подальше, а мужа поволокла назад, к Приемной, где и покинула его, тихо приговаривая:

— Два патентованных идиота! Господи, помилуй этих несмышленьшей!

И пока он глядел ей вслед и докуривал папироску, у Приемной за-тормозил автомобиль Калинина. Несколько штатских мальчиков оттеснили Роню, и один из них тут же ощупал Ронины бока и карманы. Случись это тремя минутами раньше — и можно было бы, вероятно, полагать законченной и Ронину карьеру, и вообще его жизнь, по крайней мере, для мира внешнего. А в мире лагерей и тюрем, возможно, еще некоторое время доставлял бы хлопоты надзирателям, конвойным и нарядчикам осужденный по статье 58-8 террорист Вальдек.

С того дня злополучный «Смит и Вессон» в Рониной судьбе более не возникал, но сослужил еще последнюю службу самому Герке Мозжухину. Это случилось уже после второй мировой войны. Он не справился с грузом пережитого на фронте... Воротясь в осиротевший дом, откуда уходил на войну с напутствиями отца и матери, уже не застал никого в живых. И через несколько дней, ранним утром, в отдаленном уголке Сокольнического парка нашли тело демобилизованного инженера связи Германа Мозжухина, покончившего с собой выстрелом из револьвера системы «Смит и Вессон». Вместо записки он положил рядом, на сухом пне, переломленный надвое крестик — благословение матери — и аккуратно разорванный пополам партийный билет. Письменным комментарием своего поступка он пренебрег...

Кстати, в тот самый час, когда Герка Мозжухин подносил к виску оружие и, верно, вспоминал Осю Розенштамма и его секунданта, этот последний следовал по этапу из Краснопресненской тюрьмы на Крайний Север, под вологодским конвоем, который, как хорошо известно всем энкам, шуток не понимает. Но об этом — позже.

Глава десятая

ОСТРИЕ КИНЖАЛА...

1

Той осенью Рональд Вальдек впервые побывал за границей — сопровождал выставку Советской детской книги. До поездки он маловато в ней смыслил, и лишь там, в чиновной Гааге, где выставка имела серьезный и заслуженный успех, Рональд и сам научился ценить все

то, что дали детям такие мастера, как Чуковский, Маршак, Житков, Чарушин, Ватагин... В области книжной они совершили в России самую подлинную революцию во имя детей, едва ли не самую благотворную изо всех революционных российских преобразований. И голландская публика оказалась до удивления чуткой к этим скромным по внешнему виду, небогатым книжкам, напечатанным на неважной бумаге и совсем не в парадных обложках. Но эти книги были не просто талантливы и умны, они безо всякого нажима и тенденции учили любить, радоваться и узнавать. Учили удивляться обычному и отвергать пошлое.

Там, в Голландии, все было непохоже на привычную московскую жизнь. Людям тамошним и в то кризисное время жилось несравнимо легче против нашего, но Москва, со всеми ее трудностями, казалась отсюда высокой, чистой, человеческой и разумной. Сразу ушли, испарились из памяти черты российского бескультурья, невежества, варварства, бедности, озлобленности... Помнились лишь черты советского патриотизма, благородства, самоотречения, целеустремленности к светлomu завтра, сияющему для всего человечества как единственный и неповторимый пример. «Москва — необманный и надежный светоч для трудящихся всего мира, хотя близкого рая мы никому не сулим! Знаем лишь, что он — на Земле!..» — так учил Рональда товарищ Германн.

... Рональд подружился со своим суровым шефом, руководителем Отдела внешних сношений Учреждения, кристальным коммунистом Августом Иоганновичем Германном. Человек этот сыграл немалую роль в дальнейшем идейном и деловом воспитании Рональда: он выбирал для него марксистские книги, проверял, насколько глубоко Рональд вникал в самые трудные главы, подкреплял новыми доказательствами из собственного политического опыта, требовал ясного понимания каждого внешнеполитического шага советского правительства. В качестве руководителя кружка текущей политики поручал Рональду самые трудоемкие доклады и помогал их готовить. Екатерина Георгиевна со временем тоже привыкла к этому внешне сухому человеку, очень непопулярному в Ронином Учреждении за придирчивость, сверхпунктуальность и беспощадную строгость. У него не было на службе личных симпатий или антипатий, он был одинаково сух с пожилыми мужчинами и молоденькими переводчицами и оценивал людей только по их деловым качествам. Люди обижались на него за недоверчивость и сверхбдительность, за часто выносимые им служебные взыскания, выговоры и долгие нудные проповеди с характерным немецким акцентом, взглядом исподлобья. Но в то же время он умел ценить инициативу, «огонек» (он называл это «энтузиазмус») и отчетливо понимал, когда сотрудник вел себя самоотверженно, жертвовал для дела личным временем, а главное — когда удавалось быстро преодолеть какую-либо из серьезных «временных трудностей» в интересах очередного служебного поручения — выставки, выезда или издания. А за любую проволочку — карал и «дафал строгий фыгофорр...»

... Рональд в Голландии тосковал по Москве, по России. Из окна гостиницы «Роза» на Схидамм, уже в Амстердаме, куда переехала из Гааги выставка, он видел трамвайную остановку и толпу одинаково одетых людей с одинаковыми черными глянцевыми зонтами. В стороне вдоль улицы проходил канал. Старик широкой сеткой снимал с воды налет зеленой ряски и тины, чтобы зацветшая вода не распространяла зловония. Медленно проплывали буксиры и барки, небольшие парусные суда с серыми и коричневыми гротами, кливерами и стакселями. И странно: в этих парусниках не было ни романтики, ни поэзии. Они, как и люди под зонтами, там, на скучной чужой улице, навевали одну

лишь тоску. Как, впрочем, и здешние женщины, энергичные, деловые и полностью лишённые обаяния женственности.

Запомнился еще в Гааге очень старый подъемный мост через канал, множество готических черепичных крыш и еще вокзальная площадь, где владельцы велосипедов оставляли их у особых стоек. Рональд, с его московским опытом, не скоро смог привыкнуть к мысли, что, воротясь к велосипеду, хозяин найдет его в целости, на месте, причем не только седло, насос и инструментальную сумочку, но даже оставленные там гульдены и кроны.

Тем удивительнее, что при такой поголовной честности граждан Рональду пришлось констатировать исчезновение с выставочных стеллажей некоторого количества детских книг-экспонатов. Пропадали, например, красочные издания «Мухи-Цокотухи» и «Кошкиного дома», а также и детгизовский Киплинг с рисунками Ватагина. Однако ни одно парадное издание про Ленина, Москву и счастливое советское детство не только не пропало, но и вообще не вызывало никакого интереса посетителей. В отчетах же Рональд, как ему велено было, писал нечто прямо противоположное. Это слегка отягощало совесть, но зато гарантировало в будущем такие же интересные поездки.

Пока выставка переезжала из Гааги в Амстердам, а затем в Роттердам, Рональд получил от редакции задание ознакомиться с большим осушительным строительством на Зойдерзее. Этот морской залив, отделенный от Атлантики грядой Западно-Фрисляндских островов, осушался голландцами под сельскохозяйственные культуры, особенно под пшеницу. Об этом большом строительстве, вскоре, однако, временно остановленном из-за кризиса, он через год выпустил книгу очерков под названием «Морская целина». Почти весь ее тираж закупили строительства каналов Москва—Волга и Беломорского. . .

В небольшом поселке Медемблик Рональд пережил необыкновенной силы грозу. Молниями были разрушены и подожжены обе насосные станции, откачивавшие назад, в море, воду с поверхности полейдеров, то есть осушаемых земель. Уровень воды на польдере стал быстро подниматься, и там, где накануне проезжал автомобиль, той ночью можно стало опять плавать на лодках. Одна из таких спасательных шлюпок вовремя подобрала и Рональда с его блокнотом и дорогим казенным фотоаппаратом. . .

Месяц спустя Екатерина Георгиевна, на последних днях беременности, обняла его на перроне Белорусско-Балтийского вокзала, а еще через двое суток родила ему сына-первенца, нареченного Теодором, в просторечии — Федей.

* * *

До весны 1932 года Рональду Вальдеку, по ходатайству Учреждения перед Наркомом Обороны товарищем Ворошиловым, предоставлялась отсрочка от призыва на действительную службу в Красную Армию. Но в ту весну сам Ворошилов ответил председателю правления отказом: мол, на сей раз отсрочка от призыва товарищу Вальдеку Р. А. как специалисту предоставлена быть не может — армии он тоже нужен!

Вскоре Рональд был зачислен в Отдельный батальон, входивший в состав Территориальных войск Московского гарнизона.

В походных колоннах призывники совершили марш-бросок через весь город, от Матросской Тишины до Ходынских лагерей. Поселились в палатках, занимались по восемь часов воинскими науками, строем и физкультурой, да еще два часа — самоподготовкой. Руководить этой самоподготовкой в своем взводе поручили Рональду, в особенности — политзанятиями.

В конце лета начальство выпросило у товарища Ворошилова крат-

кий отпуск для тов. Вальдека на предмет его консультационного участия в работах XII Пленума Исполкома Коминтерна. На некоторых пленарных заседаниях в здании Ленинской школы у Калужской заставы Рональд присутствовал. Слушал большое выступление товарища Эрколи (он же — Пальмиро Тольятти), консультировался со скандинавскими представителями Третьего лендерсекретариата (секретарем его был немец Мюллер) и с голландским коммунистом товарищем Реезема. Однажды в кулуарах пленума, пока Рональд беседовал со шведским товарищем Йогансеном и его хорошенькой женой, Эвой Пальмер, проходивший мимо югославский деятель, товарищ Вальтер (впоследствии известный как Иосип Броз-Тито) не очень осмотрительно чиркнул спичкой недавнего советского производства. Головка этой спички оторвалась, вспыхнула на лету и догорела... как раз на правом веке товарища Вальдека. Пострадавшего тут же втолкнули в уборную, глаз промыли и завязали, но веко все же несколько воспалилось... Это позволило Роне почти неделю провести дома, а для идейной закалки бойцов его батальона он смог уговорить свое командование и коминтерновское начальство устроить в батальоне несколько зажигательно-революционных выступлений участников пленума — немецких, австрийских, голландских и норвежских коммунистов.

Бойцы батальона тарасили глаза на этих хорошо одетых, буржуазного вида деятелей, слушали их пламенные призывы к солидарности с рабочим классом поработанных капитализмом стран, а после этих речей кое-кто тихонько спрашивал у Рональда, какого рожна им еще надо, коли нет у них ни колхозов, ни госпоставок, ни соцсоревнования за перевыполнение норм... Рональд горячо разъяснял этим несознательным слушателям, какое счастье строить социализм для будущих поколений, но в ответ порой получал на прочтение письма, полученные с какой-либо оказией от родных из колхозов дальнего Подмосковья, из Смоленщины или с окских берегов. Читая о голоде, жестокостях, произволе и бестолковщине в хозяйстве, он мог только разводить руками и выражать мысль, что, мол, все это — чисто местные неполадки...

Однажды по всему лагерю загредел сигнал боевой тревоги. Завыла сирена, ей вторили радиорупоры клуба, и сразу же командиры взводов и рот, вскочив с мест, стали подавать команды к построению, однако без оружия. Минут в пять-семь весь наличный состав бойцов и командиров батальона стоял в строю. А на Всехсвятском шоссе уже вибрировали заведенные моторы полутора десятков тяжелых немецких «Бюссингов», грузовых автомобилей с железными шариками на отсечках по концам бамперов. Бойцов батальона пригнали к машинам, мигом погрузили и повезли в Тушино, где, оказывается, горели ярким пламенем неоконченные корпуса по всей огромной строительной площадке треста «Заводострой».

... С пожаром боролись более суток, но огонь одолели. Смогли отстоять провиантские склады, покрытые толем и уже сильно тлевшие. Вся работа велась без воды, только в самом начале тушения подали на площадку по рельсам паровоз серии «Э»; к его насосу присоединили шланги, протащили их чуть не с километр к месту пожара, а другой, «заборный» рукав опустили в единственный водоем на площадке — большой пруд под двумя ветлами. Паровоз фыркнул, сильно задышал, высосал весь пруд за пять-десять минут... И больше ни капли воды на стройке не оказалось.

В полевой штаб тащили каких-то задержанных. Кругом шептались, что это вредители, поджигатели, схваченные, мол, с поличным, прямо с бутылками керосина под одеждой.

Взвод Рональда дольше всех боролся с огнем, держал оцепление, проверял подозрительных, помогал погорельцам, таскал оборудование

в безопасное от огня место. Комбат объявил благодарность особо отличившимся на тушении. Среди них — и Вальдеку.

В лагере комиссар отдельного батальона вызвал Рональда к себе и без обиняков велел подавать заявление в партию. Отпустил на двое суток за характеристиками и рекомендациями. Из Учреждения комиссар пригласил товарища Германна как члена партбюро, — дескать, не будет ли возражений со стороны этой партячейки?

Товарищ Германн дал ответ осторожный, но положительный. И Рональд подал в свою ротную ячейку заявление со всеми надлежащими бумагами. Ячейка постановила: п р и н я т ь.

Батальонное бюро постановило: решение ротной ячейки У Т В Е Р Д И Т ь. Рональду Вальдеку дали партнагрузку: руководить в батальоне школой партийного просвещения. Взялся он за это дело с подлинно фанатичным пылом. Впервые в жизни он почувствовал всю сладость оказанного ему высокого доверия. Оно просто окрыляло. О каких-то выгодах и преимуществах своего нового положения он совсем не думал. Напротив, был готов к любому самопожертвованию, лишь бы оправдать доверие.

Он старался теперь смотреть на все явления жизни с партийной точки зрения, воспитывать в себе любовь к вождю партии и подавлять любые остатки и пережитки своей прежней, буржуазной идеологии, воспринятой в домашней среде с раннего детства. В душе Рональда жила вера в Бога и любовь к Христу. Это нужно было подавить в себе, как того требовала партийная совесть. Но рядом с этой партийной совестью жила и давала непрестанно о себе знать совесть христианская, привычная с детства. Некий компромисс, быть может, заключался в том, чтобы принять блоковского Христа, шествующего впереди двенадцати революционеров? И допустить, что Бог Отец благословляет страждущих и обреченных на смертный бой с угнетателями? А церковь и все гонения на нее? Может быть, она не угодна Богу в том виде, в каком она ныне существует? Эти раздумья, сомнения и поиски компромиссов не оставляли Рональда в часы ночных дежурств, в минуты одиночества и за письмами близким. Но наступал рассвет, наваливались дела и в будничной сутолоке внутренние голоса стихали, практическая жизнь брала свое . . .

Между тем в ту засушливую осень 1932 года пожары охватили не только леса Подмосковья, но и большую часть новостроек первой пятилетки. Взвод Вальдека участвовал в тушении крупных пожаров: на Первом шарикоподшипниковом заводе, автозаводе АМО (впоследствии имени Сталина), на Шатурской электростанции, где целую неделю одолевали огонь в окрестных лесах и торфяных болотах. Горели и подсобные строения близ самой станции, и лишь ее главные здания удалось сохранить в неприкосновенности.

. . . До сентябрьских дождей Отдельный батальон связи жил тревожной, полупоходной жизнью с частыми выездами по пожарным сигналам. На одном из больших пожаров в талдомских лесах понадобилось держать радиосвязь с командованием в Москве. Командиром походной радиостанции назначили Вальдека. Сам он маловато смыслил в радиотехнике, но догадался взять в свой расчет лучших ротных радистов. Связь действовала, и расчет снова премировали. . . Лишь глубокой осенью батальон вернули в казармы, бойцов продержали здесь еще неделю и распустили наконец по домам, до следующих сборов.

* * *

В судьбе Рональда Вальдека этот преждевременный отпуск по домам сыграл роль важнейшую, роковую для всех его видов на будущее. Продлись сборы 1932 года всего на месяц дольше — и армейская ко-

миссия, на правах райкома, утвердила бы товарища Вальдека Рональда Алексеевича кандидатом в члены ВКП(б). Но товарищ Вальдек был отпущен «на гражданку» раньше, чем комиссия приступила к работе, и партийные документы были выданы ему на руки для передачи в партбюро по месту гражданской службы.

За месяцы Рониного отсутствия Учреждение стало неузнаваемым.

Товарищ Германн с работы был снят — ему поставили в вину частые заболевания, а главное — поддержку чрезмерно «коминтерновской» линии в практической деятельности Отдела внешних сношений. Обвинение, будто бы исходившее из кругов наркоминдельских, было несправедливым. Вся деятельность Учреждения была связана с НКВД, дипкорпусом, советскими посольствами за границей, зарубежными обществами культурной связи с СССР, но, ведя всю эту обширную идеологическую и политическую работу, нельзя же было игнорировать или вовсе обходить интересы иностранных компартий на Западе и на Востоке. С ними держали связь, советовались, консультировались. У них брали характеристики тех учреждений, обществ или выдающихся отдельных лиц, с которыми Учреждение вступало в переписку или в какой-либо вид сотрудничества, начинало книгообмен, вело переговоры о выставках или радиопередачах. Учреждение далеко не всегда следовало рекомендациям иностранных компартий — порой отзывы коммунистов о ком-либо, желавшем общаться с Советским Союзом, бывали резко отрицательными, а это лицо или общество все же получали согласие либо на приезд в СССР, либо на получение запрошенных материалов, имеющих для них научный или иной интерес. Тут Учреждение поступало по наркоминдельским рекомендациям, но, конечно, старалось по мере сил не вредить и интересам компартий, не путать им карт. Товарища Германна обвинили именно в том, что интересы компартий он всегда ставил выше наркоминдельских и тем самым как бы демаскировал близость советского, якобы нейтрального и беспартийного Учреждения, к «агентуре Коминтерна». Он, мол, клонит к тому, чтобы дочернее Учреждение НКВД во всем подыгрывало коминтерновцам, а это могло, мол, лишь напугать и оттолкнуть интеллектуалов Запада и Востока! С партийным выговором товарищ Германн оставил свой пост.

Сняли с должности и Председателя правления, весьма уважаемого старого большевика, обвиненного в барстве, либерализме, поощрении подхалимства и в притуплении классовой бдительности, что привело, оказывается, к засорению аппарата Управления неподходящими и даже чуждыми элементами.

Так говорилось в докладе нового Председателя, присланного выше. Это начало сулило мало доброго сотрудникам Учреждения, тем более что каждый руководитель имел обыкновение приводить с собой собственную свиту, с которой сработался где-то раньше; под предлогом «засоренности аппарата» разгоняли неугодных и насаждали своих людей. Новый Председатель правления, тоже из числа старых большевиков, отличался от своего предшественника буквально по всем статьям, начиная с пола: это была женщина-большевик, очень сварливая, несколько даже истеричная, скорая в решениях, весьма упрямая и склонная все переиначивать по-своему, лишь бы все стало по-другому, чем было до нее. Она с ненавистью относилась к предшественнику, всякое упоминание о нем вызывало взрыв, и особую антипатию она питала к тем сотрудникам, кто ранее считался ценным и нужным. Лишь запрет увольнять призванных на сборы помещал ей заочно уволить Рональда Вальдека вместе с Августом Германном.

Разумеется, при такой перетасовке дела Учреждения пошли из рук вон плохо. Замирали иностранные связи, уходили лучшие зарубежные работники, жаловались заграничные уполномоченные, сократи-

лись переписка, книгообмен и работа выставок. Вероятно, недовольство таким развалом дела дошло до ушей власть предержащих, которые потребовали прекратить внутренние распри и делать дело!

У Рональда появился новый начальник, товарищ Шлимм. Аккуратный, маленький, чистенький немчик. Откуда и когда он взялся в Москве — никто не ведал, но новая председательница его превозносила на всех собраниях. Он почитался первым ее фаворитом, хотя почти не понимал обиходного языка, открыто презирал все русское, сразу завел новшества в учете, велел перекраивать картотеки и журналы, люто возненавидел Рональда и чуть не ежечасно бегал в кабинет председательницы «за указаниями»...

Но пополнился аппарат и людьми положительными. Должность Генерального секретаря занял товарищ А., мягкий, образованный и очень умный человек. Художественный отдел Учреждения возглавил товарищ Ч., видный журналист, хороший организатор и очень знающий дипломат. Работать с ними обоими было легко. Они быстро поняли цену товарищу Шлимму, и акции Рональда пошли было в гору... Но тут-то и грянуло постановление ЦК ВКП(б) о новой чистке партии: прием в кандидаты отменялся вплоть до окончания чистки, более чем на год. И райком вернул Рональду Вальдеку его партийные документы не рассмотренными. Тем самым они превращались в пустые бумажонки...

Так и остался Рональд вне рядов. Вероятно, это было для него самым тяжким ударом за всю его общественную жизнь. Теперь на вопрос о партийности он с горечью отшучивался: я, мол, ВКП/б/! И пояснял: Вроде Как Партийный. В скобках: беспартийный.

А юный сынишка Теодор — Федя, как и старший сынище Ежичка, помаленьку подрастали, умнели, хорошели и терпеливо сносили полуголодное существование. Ранние детские годы Феда и школьная учеба Ежика пришлось на самую тяжкую пору сталинской коллективизации. Семья получала по карточкам убогие пайки. Родительских окладов едва-едва доставало на молочишко и карточные продукты, а они не прикрывали и трети потребностей семьи — четверых взрослых и двоих детей. Отрывая для мальчиков куски от себя, недосыпая у Фединой детской кровати вместо работающей матери, бабушка Анна Ивановна надорвала собственные силы, заболела и в течение одного месяца отошла в те миры, где ждал ее муж, Георгий Георгиевич, отец-сенатор и весь ангельский сонм расстрелянных, замученных и умерших от голода родственников. Старушка, баба Поля, хранившая удивительную фамильную преданность этой семье, вела теперь все хозяйство, ворчала на «молодых», но помогла им вырастить Федю ухоженным и не слабым.

2

... Все то, о чем будет поведано здесь дальше, не легко понять сегодняшнему читателю. Еще труднее воспримут все дальнейшее романтическим поклонники Че Гевары, люди, увлеченные нынешними модными ультралевыми революционными теориями. Но их, левонастроенных романтиков, в первую очередь, конечно, юных, неустоявшихся и легко увлекаемых, стерегут и поныне те же опасности, те же волчьи ямы и пропасти, что искалечили судьбу моего героя и его истрадавшихся близких...

* * *

... Начиналось с малого. В общем-то — с романтики, как многое в революции...

Кате и Рональду попалась однажды книжка в коричневом пере-

плете под названием «Дневник шпиона». Издательство «тиснуло» ее «под детектив». На самом же деле все это оказалось горькой и талантливой повестью о родовитом английском офицере Эдуарде Кенте, романтически возмечтавшем «стать острием кинжала, входящего в грудь врагу» (собственно, честнее было бы сказать: «в спину врагу»...). Этот сэр Эдуард Кент поступает в разведку Интеллидженс Сервис, проходит полный курс шпионских наук, подвигается успешно в России, а при повторной переброске в страну большевизма погибает. Его дневник теперь, мол, стал достоянием читателя!.. Эта книга и разбудила в Роне и Кате самые романтические страсти к тайной стратегии!

Им обоим приходилось сталкиваться на работе с иностранцами, вести переписку с границей. В таких особо доверенных учреждениях, как оба Катиных научных института и как Ронино Учреждение, партийные организации сильно налегали на идеологическую подготовку своих сотрудников. Почти через день шли занятия либо кружка текущей политики (им после товарища Германна руководил сам Генеральный секретарь), либо более углубленного семинара по марксизму-ленинизму. На этих занятиях, обязательных, как сама служба, руководители и члены проникновенно толковали о политической бдительности, о зоркости и бескомпромиссной борьбе с вражескими влияниями и тайными вылазками.

В стране вершился общественный переворот, от которого у самых смелых перехватывало дыхание. Рушился весь строй крестьянской жизни. Мужик-хозяин отдавал свое имущество, земельный надел, скот, инвентарь, подчас и свой сарай — в колхоз. Вел туда коня, выращенного из жеребенка, вел корову, овец, кое-где и кур, чтобы потом отводить глаза, не видеть худобу Буренки и измочаленные бока лошади в чужих руках... Ибо этот мужик под могучим воздействием гигантской партийной пропаганды проникался сознанием, будто иным путем не создашь всеобщего счастья.

Новые индустриальные центры рождались среди тайги, в горных долинах и по берегам великих рек. Эти новые города строители соединяли друг с другом железными путями — через пустыни, болота и леса. Рылись каналы, задуманные еще великим Петром на благо России. Электрические провода загудели над степью, как некогда гудели дальние колокола. Тогда не думали о том, какой ценою народ оплатит эти свершения и преобразования.

Однажды вечером Кате позвонили из НКВД.

... Из Японии приехала корреспондентка от литературно-политического журнала «Кайдо». Знает ли товарищ Кестнер этот журнал? — Да, это известный и крупный журнал. Так что же?

— Видите ли, корреспондентка желает встретиться с вдовой писателя Чехова, Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой... Не будет ли товарищ Кестнер так любезна взять на себя функции переводчицы в этой беседе?..

Встреча японской корреспондентки Саку-сан с Ольгой Леонардовной прошла очень интересно. Втроем долго сидели в ее типичной старомосковской квартире, тесно заставленной старинной мебелью, среди мягких пуфиков и подушек, множества картин, бронзы, мрамора, книжных полочек и остекленных шкафов, набитых музейными редкостями. Величаяя и строгая Ольга Леонардовна привыкла к таким интервью, вела их прекрасно; японка благодарила и великую артистку, и тонкую переводчицу. Она почтительно назвала Катю Кестнер-Вальдек словом «сенсей» (учитель), записала ее домашний телефон и выразила надежду, что, может быть, в будущем сенсей не откажет ей в уроках русского языка, ибо она устраивается в Москве надолго в ка-

честве сотрудницы японского посольства... Катя пожала плечами, сославшись на крайнюю служебную занятость. На том они и расстались; японка высадила Катю из такси перед подъездом дома в Малом Трехсвятительском переулке.

* * *

В следующий же вечер после интервью появился в квартире молодой, скромно одетый, очень вежливый и тихий товарищ.

— Могу я видеть Екатерину Георгиевну?

В кабинете он попросил разрешения курить (явно уловив, что он здесь этим не нарушит домашних правил!), тонко намекнул, что присутствие при разговоре хозяина дома излишне и пробыл с Катей наедине два с половиной часа. Минувя уже перед полуночью столовую, очень вежливо извинился за беспокойство, очень дружески кланялся и улыбался, тщательно и долго оправлял перед зеркалом шарф на шее, вмятинку на шляпе и не до конца надел перчатку на правую кисть, как бы оставляя ее в готовности принять рукопожатие. Раздраженный Роня от рукопожатия воздержался, полагая поведение гостя слишком уж бесцеремонным. Екатерина Георгиевна проводила посетителя.

— Кто сей? Откуда? И... пошто он?

— Ронни, он... оттуда! Зовут Володей. Пришел... по вчерашнее. Велел подробно записать содержание всей беседы. Весьма заинтересовался просьбой насчет уроков. Пригласил меня на завтра в Большой Дом. Говорит, это лишь на первый случай, для беседы с Большим Начальством. Дальше будет частный адрес. Квартира либо номер в гостинице.

— Чтобы встречаться с этим... Володей?

— Очевидно. Ронни, знаешь, он ведь запретил говорить тебе, кто он и откуда, но я ответила, что без ведома мужа никуда ходить не буду и ничего делать не стану.

— Умница! А он на это как?

— Сказал, что об этом надо завтра поговорить с начальством. Сам он не вправе дать такое разрешение.

— Слушай, ну а все-таки... к чему же все это?

— А к тому, Ронни, что, кажется, и мы с тобой будем... остриями кинжалов, входящими в грудь врагу!

Катя, видно, была рада этому визиту и новому обороту событий, какой сулило завтрашнее приглашение в Большой Дом... А по Рониной спине забегали холодные мурашки. И тихий внутренний голос внятно сказал ему:

«Это — пропасть. Она бездонна».

* * *

Уроки с Саку-сан начались с той же недели и пошли регулярно. Либо на даче, снятой Катей и Роней в Салтыковке, либо прямо в квартире Саку-сан, что было рискованно: Катю мог заметить в дверях кто-нибудь из сослуживцев. Объяснить, зачем она ходила в жилище посольских иностранцев, было бы невозможно — тут не помог бы никакой Володя или Николай Иванович!.. Этот Николай Иванович сменил Володю на встречах с Катей и велел ей подписывать свои доклады каким-нибудь условным именем. Спросил: «Где вы в детстве жили на даче? Ну вот и подписывайтесь: Саблина!»

Благодаря торгсиновским бонам, которые получала Катя за уроки с Саку-сан, стали исчезать приметы недоедания на детских щеках и попках. Это было, конечно, хорошо, но домашнего покоя вся эта Катина эпопея не прибавила: не исчезало ощущение некой двойственности жиз-

ни. К тому же у Рони на службе атмосфера ухудшалась. Казалось, товарищ Шлимм своим высокомерием, неверными распоряжениями и прямыми несправедливостями разрушает все, сделанное за годы работы Учреждения.

— Не посоветоваться ли мне... со своими?— тревожилась Катя. Она уже добилась у начальства позволения говорить мужу о своих встречах с Володей и Николаем Ивановичем, уроках с японкой и «азных» заданиях. Эту кличку, слово «азы», Катя придумала для своего нового начальства. Большой Дом она звала «азницей», а себя — «подазком». Название пришло из детского сна: Кате приснилось, что в ее детскую спальню вошел трубочист, черный и страшный. Он искал кого-то, но еще не видел Катю. Она же знает, что в образе трубочиста за нею явился самый главный и страшный черт из ада. И зовут его Аз. Девочка пробует уговорить себя: «Вот я как-нибудь от него отшучусь, он меня и не тронет!» И черт, угадав ее мысли, поворачивает к ней свой страшный, угрюмый лик и грозно говорит: «Ну, с Азом-то ты не пошутись!»

Сегодняшних «азов», впрочем, Катя несколько не страшилась. Отговаривала их от некоторых начинаний, часто спорила с Володей и Николаем Ивановичем, возражала против отдельных предложений и советов. Такое поведение лишь увеличивало уважение к ней. Но, конечно, «в случае чего» шуточки и с этими «азами» были бы плохи! Однако конфликтных ситуаций пока не возникло, требований неисполнимых или бесовестных они не выдвигали и просили лишь об одном: всемерно расширять связи с японцами!

Тем временем в Отделе Внешних Сношений на Рониной службе Шлимм превращался в маленького диктатора. С референтом Вальдеком у него происходили частые и бурные стычки. Наконец референт потребовал себе полной автономии, и начальство пошло ему навстречу: Отдел Внешних Сношений расформировали. Роне поручили самостоятельный сектор Скандинавских стран. Пристегнули к ним еще Голландию и Чехословакию.

Однажды в Ронином кабинетике, где он сидел вместе с секретарем, миловидной девушкой Клементьевой, вкрадчиво и настойчиво зазвонил телефон.

— Это вы, товарищ Вальдек? Говорят из Большого Дома. Только не повторяйте вслух! Понятно вам? Пусть никто не обращает внимания. Притворитесь, будто вам какой-нибудь дружок звонит. А теперь внимательно слушайте: мы хотим с вами побеседовать лично. Вам удобно сегодня вечером? В 20 часов, хорошо? Пропуск будет в окне номер три, по Кузнецкому мосту, 24... Знаете?

— Знаю, конечно! Я тебя понял! Если найдешь, что выпить — приду непременно! Сервус!

Слова эти вызвали у трубки одобрительный смешок и поощрительное:

— Отлично, отлично! Люблю понятливых!..

* * *

Обыкновенная канцелярия. Шкафы, столы, стулья. Ничего таинственного. В комнате несколько человек. Один занимается с Роней. Другие не обращают на них никакого внимания. Ронин собеседник — молодой, жизнерадостный, нагловатый, но благожелательный. Очень простые, прямые вопросы: о семье, о родителях, круге знакомств. Роня намекает, что жена его — человек им известный. Собеседник пропускает это будто мимо ушей. Пристрелочные вопросы окончены. Начинается огонь на поражение. Взгляд собеседника косо целит в блокнотную запись.

— Как вам работается в Учреждении? Какие трудности?

Роня отвечает осторожно. Выражает сожаление, что ценный, знающий и верный человек, товарищ Германн, был незаслуженно снят с поста.

— А кто на его месте?

— Некто Шлимм.

— Ну — и как?

— «Шлимм» по-немецки значит «плохо». «Скверно». Так и есть. Собеседник хохочет.

— Не в бровь, а в глаз имечко! Так вот, учтите, товарищ Вальдек, этот Шлимм — агент германской разведки. Крупный немецкий шпион. Ясно?

Роня Вальдек опешил от неожиданности. Шпион?! Ну, это уж слишком, пожалуй. Бездарность, мещанин, дерьмо... Но шпион?

Он выражает сомнение в такой огульной характеристике. Собеседник сразу мрачнеет.

— Это уж нам виднее! А ваше дело, товарищ, помочь его разоблачению. Но... мы вот сейчас доверили вам государственную тайну. И вы должны нам дать письменное обязательство о неразглашении. Сами понимаете — несоблюдение тайны строго карается. Подпишите, что соответственные статьи вам известны... Какой псевдоним вы себе выберете?

— Псевдоним? А зачем он мне?

— Для будущих материалов о деятельности иностранной шпионской агентуры. Мы вас научим ее распознавать. Вот, к примеру, этого Шлимма вы еще не раскусили как следует. Куда он гнет — вы поняли, а на кого работает — еще поймете... Или вы колеблетесь?

Роня молчит. Не знает, всерьез ли с ним говорят или проверяют, как он себя поведет. Насколько он легковверен и насколько устойчив.

— Нет, не колеблюсь нисколько. Родине я принесу любую жертву. Не пожалею и жизни, но... с толком! Думаю, мог бы стать... острием ее кинжала, входящего в грудь врагу!

— Ого! Звучит красиво! Кинжала, говоришь? Молодец! Вот тебе и псевдоним: Кинжалин. Расписывайся... Разболтаешь — ответственность внесудебная. Ясно?

— Нет, пока далеко ничего не ясно. Хочу немедленно встретиться с вашим большим начальством. Мне надо кое-что оговорить и уточнить. Потому что весь этот разговор с вами я мыслил себе... совсем иным. О моих задачах я хочу услышать нечто более конкретное и весомое. Словом, мне нужны серьезные и веские разъяснения. И притом — сразу. Нынче же.

— Ну, хорошо. Подождите.

* * *

... Коридоры. Двери. Двери... Крупные золоченые номера-цифры. Этаж, помнится, пятый... И все цифры — с пятерки начинаются...

Просторный кабинет. За большим столом — коротко остриженный, еще не пожилой, но уже чуть поседевший человек с крупным, приятным лицом, выразительными, темными, не злыми глазами. Начальник Отделения.

Предлагает вошедшему садиться. Закончил писать какую-то докладную и стал просматривать бумаги Рональда Вальдека. Эти бумаги — небольшую пачку — принес начальнику сотрудник, бравший у Рони подписку.

— Меня зовут Максим Павлович. Познакомимся поближе. Ваши личные обстоятельства мне известны. Биография вашей жены тоже известна. Знаю, что вы подавали в партию, человек наш, цельная нату-

ра, инициативный, энергичный работник, а жена ваша — серьезный ученый и глубоко преданный советской родине человек, доказавший это многими делами внутри страны и за ее пределами. Вот все это вышесказанное и побудило нас привлечь вас обоих, хотя и по разным линиям и заданиям, к нашей святой чекистской работе. Более благородного и святого труда современность не знает! Мы — передний край революционной борьбы.

Над столом начальника висел портрет Дзержинского в профиль. Волево, суховатое, очень красивое лицо. Рисовала его англичанка, лепившая романтический, тонкий, проникновенный портретный бюст этого революционера.

— Вы так на него глядите, товарищ Вальдек, будто с вами не я беседую, а сам Феликс Эдмундович. Что ж, это хорошо! Он, верно, сказал бы то же самое. Итак, мы вас проверили. Вы отлично показали себя в армии, жена ваша — на большой заграничной работе. Известен ли вам наш главный принцип в работе? Тот принцип, который завещан нам прямо Железным Феликсом? Вы понимаете, о чем я толкую?

— Нет, пока не понимаю. О каком принципе вы говорите?

— Принцип номер один для нас заключается в том, что советская разведка должна вестись только чистыми руками! Это запомните раз и навсегда! Вы и представить себе не можете, какие люди входили сюда до вас и еще войдут после вас. В этом — наша сила. Поэтому мы привлекаем к сотрудничеству и вас. Однако, если я верно понял, вас как будто что-то смутило в беседе с нашим сотрудником? Давайте разберемся!

— Мне не понравилась легковесность беседы. Я ждал разговора о серьезных общих вопросах, а все свелось к рассуждению о товарище Шлимме и моих формальных подписках. Мне кажется, что говоривший со мной товарищ просто-напросто ожидает от меня каких-то мелких кляуз о моих сослуживцах. Учтите, что я на это совершенно неспособен. И в столь безоговорочную оценку Шлимма я тоже серьезно верить не могу.

— Ждем от вас служебных кляуз? Боже сохрани! Для этого у нас предостаточно людей... помельче вас! А что касается Шлимма, могу со всей ответственностью подтвердить, что это — втершийся к нам в доверие иностранный агент. Очень ловко сумевший опереться на некие партийные связи высокого порядка, однако кое-что мы уже о нем проведали, и лично вам, товарищ Вальдек, делает честь ваше недоверчивое и осторожное отношение к этому лицу. В наших оперативных интересах, однако, нельзя его настораживать и пугать. Чтобы в будущем использовать его каналы для разоблачения сообщников и прочей агентуры.

— В теории я все это готов понять и одобрить. Лично мне он представляется просто мелкой, пошлой эгоистически-мещанской дрянью, вредящей нашему делу не потому, что он — враг идейный или подкупленный, а потому, что не умеет работать, тем более — с интеллектуалами. Он прежде всего просто глуп. И смешон. Помните, у Пушкина: «Он слишком был смешон для ремесла такого...»?

Начальник засмеялся. Роня продолжал:

— Но ведь вы меня тоже лично не знаете. Ваше знакомство со мною — чисто анкетное. Оно, мне кажется, дает очень мало! Вреда от него больше, чем пользы. Я, к слову, довольно откровенный и прямой человек. Весьма доверчивый, как большинство людей, желающих быть правдивыми. Ибо другие, привыкшие врать сами, не склонны верить и доверять чужим словам. Умение молчать и хранить секреты — главная профессиональная способность врачей, священников и разведчиков. Своего рода талант этих людей.

Оба чекиста все более оживлялись. Мол, не ошиблись в выборе человека! Парень как будто занятен и не так-то прост!

— Вот я и должен сказать, что лично во мне эта профессиональная способность развита еще слабо. Я в ней отнюдь не натренирован. А вот этот товарищ...

— Василий Николаевич, — подсказал начальник.

— ... с места в карьер, с бухты-барахты огрел меня обухом по голове: мол, товарищ Шлимм, ваш сослуживец, просто-напросто германский шпик! Вы это только что подтвердили. Да еще приоткрыли передо мной кое-какие ваши оперативные виды насчет его каналов... Мне это все не очень понятно: то ли вы всерьез, то ли учиняете мне какую-то проверку. Ведь с товарищем Шлиммом мы почти в открытой вражде, он и я. Рассчитывать на откровенность я могу меньше, чем кто-либо. Выходит, что вы оба просто понапрасну вовлекли меня в ваш секрет!

Улыбки мигом исчезли с лиц обоих чекистов, старшего и младшего. Начальство, как известно, не терпит никакой критики, оно допускает ее лишь по другим адресам. И то — больше в теории. Прощаясь, Максим Павлович хмуро проговорил:

— Вы излишне торопливы с выводами. Шлимм — это просто попутная мелочь. Забудьте о нем. Для более серьезного оперативного разговора вас в близком будущем пригласят. Один из моих старших помощников...

Протянул руку к телефону.

— Гараж «Интуриста»? Слушай, старшой, нам с Василием Николаевичем домой пора... Подбросишь? Через пяток минут, к нашему подъезду. Бывай!

* * *

Кажется, все хорошо? Катя, пожалуй, довольна, что теперь, рядом с тов. Саблиным, явился на свет Божий и тов. Кинжалин. Два клинка — лучше одного. Но почему же так смутно на душе? Почему не оставляет чувство неправды, греха? Чепуха какая! Ведь все правильно! А? Польза революции? Так? Ну, конечно же, так! Откуда же давящая тоска, безнадежность, ощущение бездны?

— Ронни! Это голоса нашего с тобою проклятого прошлого. Мы должны сами выжигать его следы. Надо быть строже, беспощаднее к себе. То, что природные пролетарии всосали с материнским молоком, мы с тобою обязаны еще только вырастить в себе, ценою ежедневных жертв, воспитывая в себе всю мудрость и решительность рабочего класса. Самоограничение, волевая тренировка, действие «через не могу». Трудно? Ужасно трудно! А надо.

Все, значит, верно.

Конечно, она права. Все так... Только странная тяжесть налегла на плечи. И от нее — такие темные, глухие, дурные предчувствия...

Глава одиннадцатая

ВОЛЧЬИ ЯМЫ

1

На службе у Рональда Вальдека прошли очередные перемены. Товарищ Шлимм вдруг торопливо сдал дела и таинственно исчез. Кажется, уехал к себе в Германию.

Теперь прямым Рониным начальником стал Генеральный секретарь А. — мягкий, покладистый и разумный. Прошла еще одна партийная чистка. Снова убрали Председателя Правления: вместо старой истеричной большевички назначили мужчину, тоже из заслуженных членов партии, убранного с высокой дипломатической должности за крупные ошибки. Насколько логично было такое назначение, где возможность крупных ошибок в дипломатической области еще более возрасла по сравнению с прежним постом, — сие остается неисповедимой тайной высшего партийного руководства. Вновь назначенный Председатель был груб, капризен, злопамятен и неумен. Притворялся веселым, гостеприимным и играл «широкую натуру», разумеется, за учрежденческий счет. Любил сильно выпить и полагал, что для этого и устраиваются дипломатические приемы и банкеты. К тому же еще и сочинял романы; благодаря крупным своим связям мог их и печатать. Стояли они на уровне обычной барской графомании.

Рональду было очевидно, что с новым Председателем сработаться не удастся. Во-первых, он не нравился Рональду сам по себе, а такая антипатия никогда не бывает в служебных отношениях односторонней. Во-вторых, и это было главным, новый Председатель, что называется, имел зуб именно против товарищей Германа и Вальдека. Дело в том, что указанные два лица резко критиковали действия Председателя в те годы, когда тот был еще уполномоченным Учреждения в одной из стран Центральной Европы. Эти критические письма за двумя подписями посылались диппочтой самому адресату, а копии их шли в НКВД. Теперь один из авторов критических писем оказался в прямой власти бывшего объекта своей критики! Это не сулило ничего, кроме туч на служебном горизонте. Новый Председатель плотоядно осведомился, тот ли это Вальдек, что был в те времена референтом... И куда девался тов. Германн? Поскольку в Учреждении уцелел лишь один из критиков, весь гнев мстительного Председателя и грозил ныне ему одному.

Однако, когда Рональд Вальдек подал прошение отпустить его в редакцию большой газеты, куда приглашал его сам главный редактор, новый Председатель позвал Рональда в кабинет и заявил решительно:

— От нас, товарищ Вальдек, не уходят! У нас выгоняют! Это вам, как старому сотруднику, должно быть понятно. Я вас не отпускаю!..

Работать стало еще труднее. Ассигнования срезались. Отменялись приглашения тех скандинавских деятелей, чья репутация стояла высоко и кто был способен влиять на общественное мнение в странах, где интеллектуалы играют особенно крупную общественную роль. В этих северных странах Европы все еще не могло улечься тягостное недоумение по поводу советских политических монстр-процессов, потрясших весь цивилизованный мир — шахтинского дела, уголовного процесса Промпартии, дела компании Виккерс-Армстронг и всех прочих показательных, срежиссированных судебных спектаклей, разоблачавших «вредителей». Из северных государств, как, впрочем, и из многих других стран Европы сыпались протесты интеллигенции против этих судебных расправ, против арестов советских ученых.

Несмотря на усиленную контрпропаганду коммунистов и советской прессы, в Скандинавские страны стали постепенно проникать сведения о жесточайшем голоде, искусственно вызванном политикой коллективизации прежде всего в основных хлебных областях России. Этот голод по масштабам граничил уже с геноцидом, хотя, конечно, тщательно скрывалась советской стороной. Тем не менее редкие сигналы отдельных спасшихся или свидетелей все же попадали в скандинавскую печать, вызвали опровержения с советской стороны, однако тревожили совесть шведов, норвежцев и датчан. В иных селах и станицах трупы гнивали прямо в домах, заражая их тлетворным запахом так, что

присланные из российских губерний новоселы не уживались в этих хатах и уезжали...

Однажды зимней ночью Роня споткнулся в подъезде, в начале лестницы о чье-то вытянувшееся вдоль стены тело. В луче карманного фонарика оказалось насмерть перепуганное, очень миловидное девичье лицо с голубыми глазами, золотой косой и явными приметамы полного физического истощения. Вторая женская фигура, сидячая, с низко опущенной головой, замечена была у противоположной стены.

Роня сходил за Катей. Они привели погибавших к себе. Баба Поля, ворчливая и не склонная к сентиментам, на этот раз безропотно затопила дровами ванную колонку. Отрепья с обеих были сожжены, спасенных вымыли и одели в чистое. Их накормили остатками ужина и уложили на Ежичкиной кровати за ширмой в столовой, ибо сам Ежичка уехал в зимний лыжный пионерский лагерь вожатым. Младшая оказалась Ниной со Смоленщины, старшая — 55-летней Степанидой из под Старой Рязани. Обе пытались в столице спастись от голода.

Вальдеки обеих пристроили. Старшую — к соседям в домработницы, со временем выхлопотали и прописку. Младшую оставили у себя, в помощь бабе Поле, уже немощной для всего домашнего хозяйства со стирками, очередями и трехлетним человеком в семье. Потом, годы спустя, выдали Нину замуж за артиллерийского майора.

Короче говоря, как ни изощрялась советская пропаганда в сокрытии прорех и просчетов, все-таки истина просачивалась на Запад через затычки и препоны. Это заставляло усиливать все каналы агитации. В России голод? Помилуйте — мы эшелонами продаем излишки хлеба! Этот отобранный у голодных ртов хлеб давал правительству инвалюту и опровергал слухи о голодных бунтах и хлебных очередях.

Западная пресса что-то клеветает насчет принудительного труда? Что же, верите вы, скажем, Ромену Роллану, Бернару Шоу, Андре Жиду или архитектору Андре Лурса? Вот, мы их пригласили. Они у нас смотрели все, говорили, с кем хотели, убедились, каким энтузиазмом воспламенен весь народ! Они тонули в океане объятий, рукопожатий, банкетов, встреч, визитов, приемов, подарков, гонораров, изъявлений такой любви и такой веры, что их возвращение в Европу всегда знаменовало очередной пропагандистский триумф для устроителей этих поездок. Исключений было мало. Закулисную режиссуру понял Андре Жид, грек Панайот Истрати, еще несколько недоверчивых гостей. А большинство рукоплескало успехам социализма. Поэтому такое приглашение видных людей, как правило, себя оправдывало. Подготовка же этих поездок лежала обычно на Ронином Учреждении.

Однако по Рониним северным странам эти важные мероприятия с приходом нового Председателя стали тормозиться. Референт настаивал и писал — начальство налагало негативные резолюции, отказывало в деньгах по такой важной графе учрежденческого плана, как проезд крупных иностранных деятелей, в особенности — писателей.

Смекнув, что плетью обуха не перешибешь, Рональд Вальдек отважился раз поставить начальство перед свершившимся фактом, зная, что лиха беда — начало. Заполучить знаменитость в страну — а уж там достанет умных людей поддержать у гостя хорошее настроение.

Буквально тайком от собственного начальства он послал через своего датского уполномоченного приглашение большому писателю-демократу, уже известному в России не только по переводам его книг на русский язык. Старшее поколение советских людей хорошо помнило, как писатель этот приезжал в Россию во время блокады одновременно с Айседорой Дункан, чтобы оказать посильную помощь голодающим Поволжья в 19—22-м годах. Тогда писатель общался лично с Ле-

ниним, присутствовал на Конгрессе Коминтерна и числился верным другом первой в мире пролетарской страны. Получив Ронино приглашение, он взял билет до Москвы и телеграфировал Рональду, что прибудет с женой завтра, через границу в Белоострове.

Было это еще при старой председательнице-истеричке. Та на просьбу референта выделить средства на скромную встречу писателя ответила ругательствами и отказом:

— Откуда он взялся? Да я его и не читала — значит, не так уж он известен! Если он вам так нужен — везите его к себе домой! По плану его приезд не значит, стало быть, нечего с ним возиться!

Положение было невеселое. Научил Роню, как действовать, старый, опытный начальник Отдела приема иностранцев товарищ Букетов.

— Позвоните начальственным басом в особняк Наркоминдела. Мол, готово ли помещение для великого писателя-демократа? Он, мол, через час приезжает. И везите его с вокзала прямо туда.

Роня еще до приезда дал заметки в несколько газет. Накануне прибытия знаменитости телефоны Учреждения надрывали звонки из недавно созданного Союза писателей СССР, писательского клуба на Поварской, из МОРПа (Международное Объединение Революционных Писателей). ФОСПа (Федерация Объединений Советских Писателей), «Литературной газеты» и многих редакций. Роня действительно позвонил в наркоминдельский особняк на Спиридоновке и в тоне строгого приказа произнес:

— Через час к вам прибудет, прямо с поезда, великий западный писатель. Встречайте его скромно, но тепло. Поместите его поспокойнее!

На вокзале благодаря Рониным газетным сообщениям оказалась целая толпа встречающих. Были тут и Бела Иллеш, и Бруно Ясенский, и Михаил Кольцов, и Гейнц Коган, и Матэ Залка, и Альфред Куррелла, их друзья и жены.

Роня поутру позвонил председательнице по телефону-автомату:

— Я исполню ваше вчерашнее указание и повезу писателя к себе домой. На вокзале собралось пол-Москвы для встречи. Дадите ли вы мне служебную машину или мне везти его на такси, тоже на свои личные средства?

В ответ председательница что-то проклокотала, но Роня своего достиг: она испугалась!

А такси пришлось таки ловить на улице. Попался старый «Рено», истрепанный, как томик Конан-Дойля в городской читальне. Пока «скандинавский Горький» со своей очень милой женой усаживались в жуткий драндулет, каких-то американских девок сажали в интуристовские «Линкольны». Следом за драным «Рено» поехали и морпovsky — Иллеш и Коган.

У подъезда наркоминдельского особняка Роня не без тайного трепета вышел из драндулета. Пустят ли? Была бы хоть машина приличного вида, а то сразу видно — липа! Но все сошло, как предвидел Букетов. Пожилая горничная с поклоном встретила прибывших, повела их по парадной лестнице наверх и распахнула двери уютного покоя, обитого желтым шелком. Дюжий Бела Иллеш и худой Гейнц Коган отволокли туда увесистые чемоданы писателя. В столовой уже был сервирован легкий завтрак и чай. В то время на стенах этой столовой залы висели четыре подлинных Врубеля. Кажется, впоследствии их все же куда-то перевесили. . .

У Рони совсем уж было отлегло от сердца — писатель чудесно устроен, а главное — тронут заботой и радуется великолепию обстановки, созданной, как явствовало с очевидностью, для приема самых важных и высокопоставленных зарубежных гостей Наркоминдела. Од-

нако Гейнц Коган сурово хмурился и, вкусив завтрак, отвел Рональда в сторонку:

— Куда это вы, товарищ Вальдек, привезли большого пролетарского писателя? Этот бордельный особнячок предназначен для капиталистической сволочи! Сюда селят магнатов-монополистов и их буржуазных лакеев! Я подам на вас официальную жалобу за оскорбление пролетарского, революционного самосознания нашего гостя!

Кстати, угрозу свою он привел в исполнение. В тот же день товарищ Коган подал в НКВД письменную жалобу на товарища Вальдека: мол, оскорблен в своих лучших чувствах революционный писатель! В НКВД долго смеялись над этим антикапиталистическим протестом. Даже враждебная Роне председательница, узнав о жалобе, не дала ей ходу и назвала Гейнца Когана «недалеким человеком»... Однако тот все же настоял, чтобы писателя перевели в гостиницу «Гранд-Отель», чем весьма огорчил «скандинавского Горького». К тому же датский посол намекнул ему, что подобный перевод из особняка в гостиницу означает у русских не очень хорошую примету. Значит, предположил посол, русские чем-то недовольны... Писатель вовсе смутился, и Роне стоило немалых трудов убедить его, что никакой дискриминации тут нет. Наконец, когда сам Гейнц Коган намекнул ему, что отель более соответствует пролетарскому духу, чем особняк, писатель грустно заметил: «Их хатте эс дорт фийль Бессер!»

Тем временем писатель уже погружался в океан московского гостеприимства. Шли приемы, поездки, банкеты, встречи, выступления. Его приглашали заводы, издательства, писатели, студенты, профсоюзы. С ним заключили договоры и в газетах крупно печатали отчеты о его высказываниях и длинные с ним беседы. Однажды на многолюдном собрании был прочитан лестный отзыв Ленина об одной из ранних книг писателя — это вызвало долгую овацию зала...

Наконец, и председательница сообразила, что дала маху, и решила поправить дело банкетом в честь писателя. Потребовала у референта справку о книгах «скандинавского Горького» и, нетвердо усвоив список, произнесла на банкете речь, перепутала все названия, но поклялась, что сызмальства обожала эти книги, читала их запоем и числит с тех пор писателя в строю своих любимых авторов. Встреча с ним — величайший праздник для ее сердца!

Писатель, обласканный и растроганный, уехал домой еще большим другом Советского Союза, чем приехал. Таким образом, тактика совершившегося факта, избранная референтом Вальдеком, полностью себя в данном случае оправдала.

Однако начальство, как всегда упрямое, существенных выводов из этого успешного опыта не сделало и по-прежнему скупилось на скандинавских гостей! Рональд Вальдек почти теми же ходами начал свою следующую шахматную партию. На этот раз речь шла о другой крупной северной писательнице, чьи книги он сам знал с юности и любил их. В них чувствовался подлинный талант, широкое сердце и недюжинный ум. Он решил действовать по оправдавшему себя трафарету: завязал переписку, посоветовал приехать и обещал здесь, на месте, сделать все возможное, чтобы ей понравилось.

Женщина деловая и практичная, она договорилась с большой скандинавской газетой о серии корреспонденций об СССР, получила аванс, взяла билет и приехала вместе с секретарем-компаньонкой. Все пошло сперва точно так же, как и с предшественником-писателем. Сначала — упрямое невежественное сопротивление всем предложениям и просьбам, отказ от всякой материальной поддержки приезда, потом — газетный шум, нарастающая сенсация, десятки статей и корреспонденций, портреты писательницы на первых страницах журналов,

интервью с нею, поцелуи, банкеты, объятия и... очередная речь главы правления, как близка его сердцу любая книга дорогой гостью.

Общение с писательницей поистине обогащало! Прежде всего — поражала ее работоспособность, дисциплина ее труда, изумительная натренированность воли, чувство ответственности за каждое слово, каждый жест и штрих в статьях и публичных речах. Эта далеко не молодая женщина могла в день осмотреть два больших музея, с поразительной точностью запоминая и выделяя все наиболее существенное. Был случай, когда утром она за четыре часа осмотрела Третьяковскую галерею, а после обеда — Политехнический музей. Рональд попытался ее «проэкзаменовать». Она вспомнила все картины, иконы и скульптуры, на которые обращал ее внимание профессор Сидоров, проважавший писательницу по галерее. Безошибочно она называла художника, период и тему вещи. А после Политехнического музея она прочла своей компаньонке такую лекцию об основных отраслях промышленности в пятилетке, что получился ученый инженерный обзор, который сделал бы честь экономической газете.

С этой умной и наблюдательной женщиной Вальдек был на скромном деловом приеме у Надежды Константиновны Крупской, вдовы Ленина. Сперва сидели целой группой в ее служебном кабинете на Чистых прудах, в здании Наркомпроса, где она занимала пост замнаркома (после Луначарского наркомом был Бубнов). Затем обе главные участницы беседы пожелали поговорить с глазу на глаз и на некоторое время уединились в другом кабинете. Вышли они оттуда к остальной группе, утирая слезы. По дороге в гостиницу писательница шепнула Роне:

— Она плакала, потому что вы здесь, похоже, совсем забыли Ленина! Только не проговоритесь об этом никому, — ведь она может ответить за эти слова!

Вот так, с перебоями, успехами и неудачами, шла работа Скандинавского сектора, руководимого Рональдом Вальдеком. Он редактировал журнальные статьи, писал предисловия к изданиям, работал с уполномоченными, вел немалую переписку, отвечал на запросы, слал целые библиотеки книг и тонны материалов, помогал зарубежным авторам специальной научной литературой по их темам. Так, например, один из Рониных корреспондентов в Голландии выпустил двухтомную историю русской революции по материалам, полученным через Вальдека, — это были сотни советских исторических трудов... Многие он послал из собственной библиотеки, когда отчаялся добыть книги иным путем. Но все это была лишь видимая поверхность его деятельности. Существовал еще и некий другой, сложный, противоречивый, как бы подводный мир, не менее важный, чем видимый.

И был у Рони Вальдека в этом подводном-подземном мире свой властитель, свой Плутон и Нептун в одном лице. Он велел называть себя Йоасафом Павловичем, а между собой Роня и Катя звали его не иначе, как «Зажеп»... Обычно он носил штатское, но в петлицах его форменного чекистского обмундирования красовался «ромб» — знак различия комбрига (по-нынешнему, приблизительно, генерал-майора). Поскольку человек этот, как позднее смог понять Рональд, был насквозь фальшив, совсем не исключено, что «ромб» вдевался в петлицу лишь для устрашения трусов или вдохновения фанатических простаков: имел ли Зажеп на самом деле столь высокий чин — остается сомнительным.

Сколько ночей не спали из-за него Роня и Катя!

Обработку восторженного неопита, Рональда Вальдека, начал он с того, что пригласил домой, в Денежный переулочок. Потребовал, чтобы

Рональд чистосердечно и откровенно, страницах на 10—20, написал бы всю подноготную своих дедов, родителей, близких и даже дальних родственников. В следующем разделе Роне надлежало ярко и выпукло живописать не только все собственные изъяны, заблуждения, ошибки, проступки и тайные грехи, но и замыслы подобных грехов. . .

— Не вздумайте отнестись к этому поручению бюрократически,— говорил Зажеп. — Вы должны понять: мы требуем это от каждого и преследуем двойную цель. Первая наша задача — проверить степень вашей искренности с нами, вашей честности. Ведь мы знаем о вас ВСЁ, даже то, что вы сами либо забыли, а может быть, даже и не знали вовсе. Например, мы знаем, какие виды на вас могут иметь наши враги. Вот мы и судим по вашим самопризнаниям о степени вашей искренности. Вторая наша цель — подстраховаться. То есть получить от вас как бы моральный вексель. Чтобы мы всегда были в состоянии воспользоваться вашей подписью и вашими самопризнаниями в целях обороны в случае вашей неустойчивости или прямой измены нашему делу.

— То есть вам нужен инструмент для шантажа?

— Шантаж, товарищ Вальдек, выражение неприемлемое, когда речь идет о чекистах. Этим занимаются грязные зарубежные разведки. А разведка советская знает лишь необходимые средства обороны на случай неустойчивости агента или, скажем прямо, его подкупа врагом. . . Словом, назначение этого векселя вам ясно! Принесите его побыстрее!

Целую ночь они с Катей сочиняли вексель в виде разоблачительных признаний. Роня изложил на бумаге все сокровенное, что когда-либо происходило с ним и с его родителями, упомянул даже о неудачной попытке некоего старика склонить его к содомскому греху. Он перечислил все свои высказанные и невысказанные сомнения и смолчал только об одном: о непреодолимой вере в Бога.

Листы эти Зажеп читал в Ронином присутствии, причем по мере чтения лицо его чернело и все яснее принимало оттенок неудовольствия. Он назвал самопризнания слабыми, половинчатыми, неискренними, стал повышать голос, требовать других признаний, фактов, деяний реальных, лежащих на совести. Под конец этой беседы он орал, стучал по столу кулаком, требовал правды, грозил немедленным арестом, кричал в телефон: «Готовьте «воронка» для арестованного», но достиг результата противоположного. Роне вдруг стало совсем не страшно, даже как-то скучно и томительно. Зажеп явно переигрывал.

— Дайте-ка мне трубку!— сказал он вдруг, прерывая крики собеседника. И тот, верно, от неожиданности, протянул Рональду трубку.

Роня набрал номер Максима Павловича. Просил принять его по возможности еще сегодня вечером. Получил согласие и указание, где будет пропуск.

Явился с написанным заявлением-жалобой по поводу стиля работы товарища Иоасафа Павловича. Прием был краток. Начальник отделения заверил, что «допросы с пристрастием» больше не повторяются, однако выразил неудовольствие по поводу пассивности самого автора претензии.

— Чем с руководителем своим препираться по-пустому из-за чепухи, помогли бы лучше нам разоблачить немецкий заговор в Москве.

— Какой заговор?— удивился Рональд.

— Ну вот, рядом ходите, а никак не нащупаете!— был ответ.— Оглянитесь получше, вздумайте и будьте подлинным коммунистом, притом — русским коммунистом-ленинцем! А на Иоасафа не обижайтесь, он, бывает, зарывается, но работник прекрасный! Берите пример с его инициативности!

Все-таки, при всей своей инициативности, Зажеп, видимо, взбучку получил, ибо стал приветливым и спокойным. В глаза и по телефону, наедине и при Максиме Павловиче стал называть Рональда Вальдека своим лучшим международным консультантом, все чаще обращался по сложным проблемам, прося уточнить детали, иногда требовал немедленных характеристик той или иной зарубежной организации, состава ее членов или руководящих лиц. Его, например, интересовали общества вроде «Клярте» или «Мот даг», «Союз норвежских студентов», а иногда вдруг нужны были сведения о какой-нибудь коммерческой фирме, в чем Роня ему помочь не мог, разве только в самой общей форме, из официальных справочников. Просил Зажеп приносить ему отдельные номера западных газет или журналов, находил там нужные места, делал вид, будто углубляется в текст, а затем спрашивал значение слов, фраз и даже целых абзацев. В результате Роня переводил ему вслух всю интересующую его статью. По их нейтральному содержанию Роня понимал, что Зажепу нужны эти переводы отнюдь не в мнимых «оперативных целях», а попросту для каких-нибудь учебных курсов, где он, видимо, сильно отставал по иностранному языку.

Особенно его интересовали сведения о немецких жителях Москвы, о «немецкой колонии», как он выражался. Потребовал письменно изложить все, что известно Рональду, о таких обществах, как «Лидертафель» и «Турнферайн», церковный хор, немецкие гимназии в Москве — Петропавловская, Реформатская, и обо всех остатках немецких концессионных предприятий.

Консультант отвечал, что все это — не по его части, и узнать какие-либо подробности можно только через представителей старшего поколения, например, через собственных родителей. Но не может ли, мол, эта информация, самая объективная, все-таки повредить всему указанному кругу лиц, общественно весьма полезных, политически нейтральных или безобидных и, как правило, технически образованных и профессионально ценных?

Зажеп улыбнулся дружески:

— Слушайте, неужели вы еще не поняли, что мы просвечиваем людей вовсе не для того, чтобы вредить или мешать! Но мы должны держать руку на регуляторе! Чтобы предотвратить соскальзывание в пропасть, вовремя вмешаться и помочь избежать ошибок. Правдивый и объективный отчет ваш спасет всех невиновных, когда мы нашу паему среди них и выявим вражескую организацию, то есть реальный заговор. Вот тут ваша революционная совесть, коммунистическая убежденность помогут вам определить, где их наивность переходила в преступность. . . Тут вы проверите себя, какой голос в вас звучит громче: голос коммунистической совести или голос крови.

— Вы намекаете, что мои родители. . . могут быть замешаны. . .

— Нет, нет! Мы знаем профессора Вальдека и верим ему. Но мы убеждены, что такие люди м о г у т стать объектом вражеского шантажа и обмана. Мы тщательно следим за его окружением, чтобы вовремя отвести вражескую руку. За одно я вам ручаюсь: с головы ваших родителей не упадет ни один волос, если через них самих или через их посредство мы получим в руки реальный материал о вражеских происках. Он послужит им защитой, даже если обнаружись бы какие-то их собственные ошибки. . . Мы умеем прощать ошибки старых людей. Не прощаем мы только ложь и утайку!

— Что же практически вы мне предлагаете? Я с юных лет уже отошел от их круга. Возвращение в него было бы слишком неестествен-

ным, как сами немцы говорят, «ауффалленд». Кроме того, я абсолютно убежден в полной честности моих родителей и их круга друзей.

— Согласен, но луч света никогда не вредит всему здоровому и нормальному! Я полагал бы, что вам надо приглядеться к церковной общине. Вы не поете? Лучше всего было бы вступление в церковный хор.

— Невозможно. Условия моей службы это исключают. Да и голос мой не для хоралов!

— Жаль! Ну, хорошо, свяжитесь с органистом. Вы ведь любите органную музыку?

— Конечно, люблю! Там прекрасный орган. В детстве заслушивался им.

— Ну, вот видите, как хорошо! Органист репетирует всегда в пустой церкви. Попросите его, чтобы разрешил вам присутствовать на репетициях. Войдите к нему в доверие, кое-что выясните с его помощью, а там . . . Словом, лиха беда — начало! И помните, фашистский паук плетет свою сеть! А немецкий церковный хор — очень жирная муха для этого паука . . .

В пустой церкви Петра и Павла он слушал Баха, Моцарта и Гайдна в исполнении сравнительно молодого, болезненного с виду музыканта, сумевшего быстро переучиться и сменить фортепиано на орган. Это были приятные и грустные часы, обычно довольно поздние.

Сквозь четыре цветных витража с изображением евангелистов Матфея, Луки, Марка и Иоанна слабо пробивался отблеск уличных огней. На алтаре золотело распятие, а над ним уходило вверх, к дубовой панели под самый свод, большое полотно «Моление о чаше». Коленопреклоненный Иисус Христос, Сын Божий, Богочеловек, взывал к небесному Отцу о миновании грядущей муки. Лик его, написанный с вдохновением известным академиком живописи, излучал свет, осязаемый в полутьме храма, при потушенных люстрах и светильниках. Только органную клавиатуру робко озарял матовый плафон. Звучали фуги Баха, одна за другой. Слушатель грезил о море, видел катящиеся волны, слышал ветер и уплывал в лунную зыбь . . . Или возникал перед ним снова снежный Казбек среди звезд.

И Рональд Вальдек в эти часы молился Господу Богу во имя Христа, во имя всех нас, детей Твоих человеческих, научи, просвети меня, дай мне быть орудием Твоим, не допусти моей ошибки, ложного шага, грехопадения рокового. Не ради выгоды и корысти, а для блага моего отечества и всего страждущего и обремененного человечества сподоби меня, Господи, поступить по высшей правде и справедливости. . . Ведь с самого детства моего, с блоковской поэмы, ты, Христос-Спаситель, шествуешь в белом венчике из роз впереди темной, грешной, но всепобеждающей и очищающей Революции. . . Подскажи мне, Господи, верно ли я ей служу, и укрепи дух мой!

(Окончание следует)



Наталья Лаврецова

* * *

Мы прокатили медленно тележку наших зим.
И прикатили к озеру — и здесь теперь сидим.

Но рыба здесь не ловится, торчит один осот.
Погода не погодится и озеро цветет.

И что-то все не ладится, и что-то все не так.
А каждый хоть немножечко, хоть чуточку — рыбак.

В ведре, споткнувшись сослепу, качнется глубина.
Мы вычерпаем озеро до самого до дна.

А мы дворец здесь выстроим и розы разведем.
И наконец, по-доброму, с тобою заживем.

Но сломана тележечка и полетела ось.
А сквозь ведро прогнившее мы видим мир насквозь.

А в нем — другие мальчики, другие времена...
И ломаной тележечке сегодня грош цена.



ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери ЦИТАДЕЛЬ

Перевела с французского Марианна Кожевникова

СIX

Да, горько видеть, как обошелся циничный себялюбец с бесхитростной и нежной невинностью: чистота поругана, доверчивость обманута. И вот ты хочешь защитить от опасности невинную девушку, сделав ее душу опытнее, искушеннее. Девушки твоего царства стали подозрительны и скупы на улыбки — ты разрушил то, что хотел сберечь. Нет неуязвимых добродетелей, каждой есть предел. Захребетник рано или поздно изнурит великодушное благородство. Циник развратит целомудрие. Хамство обозлит доброту. Живущее всегда в опасности, ты захотел обезопасить его и умертвил. Отказался строить прекрасный храм, испугавшись землетрясения.

Но я — я хочу, чтобы невинность стала как можно доверчивее, хотя только доверчивость и можно обмануть. Если обольститель надругается над одной из моих простодушных роз, я буду ранен в самое сердце. Но, взращивая могучих воинов, разве не должен я помнить, что война их может убить? Ты хочешь спасти добродетель, заковав ее в броню неуязвимости, но добродетель уязвима всегда, а неуязвимая добродетель уже не добродетель.

Ты пожелал совместить несовместимое, и у тебя ничего не получилось. Тебя восхищает человек, созданный укладом твоего края, но уклад тебе ненавистен, ибо принуждает служить себе совершенного человека. Да, уклад — принуждение, он и принудил человека стать совершенным. И если ты уничтожишь уклад, вместе с ним ты уничтожишь и человека, которого задумал спасти.

Посмотри: страхась бесстыдства, хамства, цинизма, что чинят обиды великодушию и благородству, ты предлагаешь благородным и великодушным усвоить замашки хама, бесстыдника и циника.

Но я — я люблю все хрупкое, все уязвимое. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость — свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушения, не обретишь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность измен и соблазнов, только благодаря им так драгоценны неподкупность и преданность. Я люблю солдат, мужественно стоящих под пулями. Нет мужества, нет и воина. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых.

Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабое дуновение ветра.

Как мне дороги юные лица, беззащитные перед старостью. Как мила улыбка, беззащитная передо мной и готовая смениться слезами.

СХ

Наконец-то я понял, как выбраться из противоречия, что так долго меня мучило. Я — царь, со смятенной душой склонился я над уснувшим на посту дозорным и не мог разбудить спящего счастливым сном ребенка, чтобы передать его смерти, чтобы он за свое уже недолгое бодрствование столь многое претерпел от людей.

Я увидел, что он проснулся сам, провел рукой по лицу и, не замечая меня, поглядел на звезды, потом легонько вздохнул, вновь вваливая на себя тяготу службы. Тогда я понял: я должен завоевать его сердце.

И вот я, повелитель и царь, повернулся и вместе с моим дозорным стал смотреть на город, город был один, но смотрели мы на него по-разному. «Не в моих силах наделить дозорного усердием и любовью, — подумал я. — Но если предложенная мной картина станет для него счастливым откровением, если дробность, которую он видит, окажется связанной воедино Божественным узлом, он станет моим единомышленником». И я понял разницу между завоеванием и принуждением. Завоевать означает, переубедив, обратить в единовеца. Принудить — значит держать в вечном плену. Я завоевал твое сердце, человек в тебе свободен. Если я тебя принудил, я связал в тебе человека по рукам и ногам. Завоеывая, я строю нового тебя с твоей собственной помощью. Принуждая, выстраиваю камни в ряд. Что построишь потом из этих рядов?

Я понял: каждого человека нужно завоевать. Того, кто бодрствует, и того, кто спит; того, кто ходит вокруг крепостных стен, и того, кто живет внутри них. Того, кто радуется новорожденному, и того кто плачет об усопшем. Того, кто молится, и того, кто усомнился. Завоевать — означает вложить в тебя остов и пробудить в твоей душе вкус к истинной пище. Ибо существуют озера, которые утолят твою жажду, но надо показать дорогу к ним. Я поселю в тебе своих богов, чтобы они тебе светили.

Я понимаю: завоевывать тебя нужно с детства, потому что потом ты уже слепплен, затвердел и тебе невмоготу освоить иной язык.

СХІ

Настал день, и я убедился: нет, я не ошибся. Не потому, что оказался сильнее или рассудительнее других, а потому, что не доверился логике, которая последовательно выстраивает постулат за постулатом. Я знаю, логика обслуживает свершившееся, она в подчинении у него, в ее ведении следы на песке, а не танцор, что прошел по песку, и если был гениален, то привел всех к спасительному колодцу. Я убедился: все свершения поступают в ведение логики, потому что каждое из них было цепочкой шагов. Логика умеет читать следы, но ходить, бегать, танцевать, сделать движение рукой, что взрастит будущее, она не умеет. Я убедился: культура ветвится, как ветвится дерево, и для того, чтобы она зародилась на свет, необходимо семечко, она — единство, хоть и существует в миллионах обличий, в ней непременно будут и корни, и верхушка, и ствол, и листья, и цветы, и плоды, но все это вместе живительная сила одного-единственного семечка. Я знаю: если оглядеть путь, пройденный культурой, он потянется к истокам без пустот и зияний, логики охотно следят эту дорогу вспять, но они не могут идти вперед, потому что не слышат вожатого. Я видел: люди в спорах не находят истины. Я слышал, как рассуждают толкователи геометрии, они не сомневаются, что владеют истиной, но если вдруг спустя год один из них отказывался от общей истины, как корили они коллегу за

святотатство, как цеплялись за свое шаткое божество! Я сидел за столом с единственным подлинным геометром, он был моим другом, он знал, что ищет доступный людям язык, как ищет его поэт, стремясь передать свою любовь, он говорил как равный с камнем и со звездой и понимал, что год от года язык будет изменяться, и это будет означать, что человек переходит с одной ступеньки на другую. Понял и я: не существует лжи, потому что не существует истины (изменяющееся, растущее дерево — вот единственная истина), поэтому я в молчании моей любви терпеливо слушал бессмысленный лепет, гневные вопли, смех и жалобы моего народа. Еще в юности я понял: язык неловок и неуклюж, и оставил споры, ибо они бессмысленны. Сколько я ни приводил доводов, стремясь сказать лишь самое насущное, не увлекаясь цветами красноречия, мои доводы никого не убеждали, в споре со мной всегда находился более искусный в доводах противник, чем я. Однако и его искусство только помогало мне сохранять верность себе; слушая его возражения, я понимал одно: свое я не сумел выразить, но со временем я найду более действенные средства, ибо если хочет сказаться в тебе нечто и впрямь подлинное, убежденность твоя неисчерпаема и похожа на родник. Раз и навсегда отказался вникать я в людскую разногласицу. Я решил, куда плодотворнее послушание мне, и позволил семечку в себе расти, превращаться в дерево, множить корни, тянуть вверх ствол, пушить ветки, чтобы не о чем стало спорить: вот оно, дерево, что в нем выбирать? Оно широко раскинуло ветви, оно может приютить всех.

Я уверился, что невнятица, противоречивость, смутность моих слов совсем не означает, что невнятно, противоречиво или смутно то, что я хочу выразить, — просто я дурно владею языком, ибо душевная потребность, ощущение внутренней значимости не бывают невнятными, смутными, противоречивыми и не просят для себя обоснований и подтверждений, они просто есть, как есть потребность у скульптора, который принялся лепить; эта потребность не обрела еще формы, но станет тем лицом, которое он вылепит.

СХІІ

Отказом от иерархии мы поощряем тщеславие. (Вспомни распри генералов и губернаторов.) Иерархия, властно и безусловно расставив всех по местам, сводит тщеславие на нет. Сейчас все вы подобны одинаковым шарикам, для вас нет никого, кто был бы авторитетней вас и придавал своим авторитетом значимость всему окружающему, а если так, то любой, кто бы ни занял место короля, будет не освящать, а отбрасывать тень, все вы соперничаете с ним, тщеславитесь, завидуете, ненавидите.

Есть у меня и еще один враг — вещи. Пришло время тебе понять величайшее из своих заблуждений: ты слишком доверился вещам. Но я говорю тебе: значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем подобно яблоку, ободравший руки о камни, копясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз, — счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов, но что ему в них, они тусклее стекляшек! Ибо не в вещах нуждаешься ты, — в божестве.

Да, вещь ты получаешь навсегда, но не всегда она тебя радует. Назначение вещи — тянуть тебя вверх, она тебе в помощь, пока ты ее завоевываешь, а не тогда, когда заполучил. В друзья я взял себе того, кто вопреки трудностям понуждает тебя карабкаться в гору, взяться

за тяжкий труд, пробиваться к стихам, добиваться любви недоступной красавицы, ибо он понуждает тебя сбыться. Чему служат запасы готового? Спячке. Ты добыл алмаз — что тебе делать с ним?

Я возвращаю вкус празднику, что давным-давно позабыт. Праздник — это завершение долгих приуготовлений к празднику, вершина горы после изнурительного подъема, алмаз, который тебе позволено добыть из глубин земли, победа, увенчавшая долгую войну, первый завтрак после мучительной болезни, предвкушение любви, когда в ответ на признание она опустила глаза...

Если бы я захотел, я придумал бы для тебя вот какую жизнь: жизнь, что была бы исполнена труда и усердия, — люди, сплотившись, увлеченно и жадно трудились бы, а наработавшись, радостно возвращались домой, они любили бы жизнь и ждали чудес от завтрашнего дня. Сверканье звезд рождало бы в тебе стихи, хотя ты только бы и знал изо дня в день что копать землю, стремясь отобрать у нее алмаз. (Алмаз — крупница солнца, огонек папоротника в туманной ночи, преобразенный свет.) Ты увидишь: насыщенной и полнокровной станет твоя жизнь, если я заставлю тебя изо дня в день добывать алмазы, а в конце года приглашу на пышное празднество — празднество преобразования алмазов, которые будут гореть перед добывавшими их в поте лица людьми, становясь опять светом. В моем мире душа не служила бы добытым вещам, насыщалась бы их смыслом. Впрочем, я могу и не сжигать алмазы, я могу украсить ими королеву, чтобы ты почувствовал себя королем, могу украсить ими святилище храма, чтобы они засверкали еще ярче, но не для глаз — для души (для души ведь не существует стен). Но если отдать этот алмаз тебе в руки, — что изменит он в твоей жизни?

Я говорю тебе это, потому что постиг глубинный смысл жертвенности, ты отдаешь не ради того, чтобы испытать чувство обездоленности, ты отдаешь, чтобы почувствовать себя щедрым богачом. Словно к материнской груди, тянешься ты к вещи, но питает тебя, будто молоком, лишь смысл, которым она наделена. Вот я поселил тебя в царстве, где каждый вечер одевают привезенными неведомо откуда алмазами, они покажутся тебе речной галькой, они лишились того, чем ты стремился завладеть. Старатель, что изо дня в день дробит тяжким молотом скалу и раз в год, во время великолепного празднества, сжигает свой тяжкий труд, любуясь ослепительной вспышкой света, куда богаче праздного богатея, что получает готовое, не требующее от него ни траты сил, ни душевного участия.

(Как увлекательно играть в кегли: сбил и торжествуешь свою победу. Но вот тебе предложили сотню уже опрокинутых кеглей, куда пропал твой азарт?)

Празднество и жертвенность сродни друг другу: радостью тебя полнит отданное. Ты — дровосек, что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжелого подъема в гору разве не праздник? Сбор винограда на твоём заботливо обихоженном винограднике? И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник — всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места? Карабкайся! Карабкайся вверх каждый день, не обживайся в чужой музыке, стихах, завоеванной женщине, картине, открывшейся с вершины горы! Если дни твои станут ровной гладью, я потеряю тебя среди этой равнины. Дни должны надуваться, как паруса корабля, плывущего в неизведанное. Если ты одолел стихи, они — праздник. Праздник — храм, потому что укрыл тебя от сует. Что ни день, город дробит тебя своим торопливым бегом. Подгоняет тебя нужда в куске хлеба, хвори близких, тот вопрос, та проблема, ты нужен здесь, нужен там, с одним горюешь, с другим радуешься.

Но приходит безмятежный час тишины. Ты поднимаешься по ступеням, толкаешь дверь и оказываешься в небесной безбрежности, мерцающей звездами Млечного пути, в безмолвии, отрешенном от насущного. Безмолвие, безбрежность, как ты нуждаешься в них! Они тебе вместо пищи, потому что измучила тебя дробная конкретность событий, дел, вещей, которая тебе не впрок. Тебе нужно сосредоточиться, собрать самого себя воедино, протянуть между вещами связующие нити и, насытив смыслом дробную драму дня, сложить ее в целостную картину. Но на что тебе храм, если ты не жил жизнью города? Не боролся, не преодолевал, не страдал? Если не принес с собой камней, из которых можешь себя построить? Мы уже говорили о войне и любви. Если ты влюбленный, и только, чем жить в тебе? Женщина с тобой соскучится. Любят воинов. Но если ты только воин, некому умирать в тебе, ты — насекомое в хитиновом панцире. Только человек, любящий человек согласен на гибель. И если в моих словах тебе чудится противоречие, то это по вине неуклюжих слов, что дразнят друг друга. Противоречит ли плод корням дерева?

СХІІІ

Беда в том, что мы никак не можем согласиться между собой, что же такое действительность. Для меня действительно совсем не то, что можно положить на весы (весомость такого рода смешна мне, раз я не весы, действительность веса меня не интересует). Действительно для меня то, что весомо ложится на сердце, — твое огорченное лицо, песня, усердие моего царства, жалость к людям, благородный поступок, желание жить, оскорбление, сожаление, разлука, дружество, родившееся во время сбора винограда. (Оно мне дороже урожая, собранные грозди могут увезти и продать где угодно — главную драгоценность я уже получил. Я похож на представленного королем к награде: он празднует, греется в лучах пролившейся на него славы, его поздравляют друзья, он горделиво наслаждается триумфом, но король упал с лошади и умер, не успев приколоть к его груди металлической побрякушки. Неужели ты считаешь, что человек не получил награды?)

Кости — действительность для твоей собаки. Тяжесть гири — действительность для весов. Природа твоей действительности иная.

Потому мне и кажется легкомысленным финансист и мудрой танцовщица. Я совсем не гнушаюсь ремеслом финансистов, мне смешны их самодовольство, спесь, самоуверенность, они не сомневаются, что в них соль земли, они — альфа и омега Вселенной, но они только обслуга и обслуживают они танцовщиц.

Смотри, не ошибись в значимости трудов. Есть насущные труды, вроде стирки у меня во дворце. Без еды нет человека. Необходимо, чтобы человек был сыт, одет, имел крышу над головой. Необходимо, но не больше. Насущное не есть существенное. Не ищи в необходимом существенного, оно для тебя в ином. Питают человека, насыщая его жизнь смыслом, танцевание танцев, писание стихов, чеканка кувшинов, решение геометрических задач, наблюдение за звездами — занятия, которым можно предаваться благодаря стряпухам.

Но когда ко мне приходит стряпуха, ничего не выдавшая кроме своей кухни, снабжающая действительность лишь тем, что кладут на весы, да еще костями для собак, я не слушаю ее рассуждений о человеческих нуждах, потому что главное осталось вне ее разумения, она будет судить о человеке со своего шестка, как фельдфебель: для него человек — это тот, кто умеет стрелять из винтовки.

Казалось бы: танец бесполезен, а отправь танцовщиц на кухню,

на обед они состряпают лишнее блюдо. Для чего золотые кувшины? Прикажи штамповать оловянные, и у тебя будет куда больше необходимой посуды. Для чего гранить алмазы, писать стихи, смотреть на звезды? Если всех отправить пахать землю, станет куда больше хлеба...

Но когда в твоём городе обнаружится нехватка чего-то, — чего-то насущного для души, а не для глаз, не для рук, — ты станешь искусственно восполнять его, и не восполнишь. Хотя наймешь сочинителей, чтобы писали стихи, наделаешь механических кукол, чтобы танцевали, заплаатишь мошенникам, чтобы выдавали гранёные стекляшки за бриллианты, желая помочь людям жить. Но кому в помощь жалкая уродливая пародия? Суть танца, стихотворения, алмаза в преодолении. Незримое, оно насыщает твои труды смыслом. Любая подделка — солома для подстилки в хлеву. Танец — это поединок, свращение, убийство, раскаяние. Стихотворение — восхождение на вершину горы. Алмаз — год трудов, засиявший звездой. Подделка — оболочка без нутра.

Посмотри на игру в кегли: как ты рад, сбив ещё одну в ряду. Но вот ты изобрел машину, чтобы сбивать их сотнями, много ли прибавилось тебе радости?..

CXIV

Не подумай, что я считаю пустяком твои нужды. Не считай, что противопоставляю существенное насущному. Нет, я просто излагаю тебе мою истину при помощи слов, а они дразнят друг друга и покажут следствию, кухня — танцевальному залу. Я ничего не противопоставляю, противопоставляют неуклюжие слова. Гора слов мешает рассмотреть человека.

Если Господь изострит взор и слух часового, он увидит существо города и не станет противопоставлять крик новорожденного плачу по умершему, ярмарку — храму, веселый квартал — супружеской верности: все это вместе ощутит он как город, поглощающий, сливающий, объединяющий, — город, похожий на дерево, растящее себя из чуждых ему и разнородных крупниц; похожий на храм, что обнял молитвенной тишиной статуи, колонны, алтарь и своды. Вот и я тоже, размышляя о человеке, вижу его совсем не на той ступеньке, где певец противопоставлен жнецу, танцор молотильщику, астроном кузнецу, — если я стану делить тебя, человек, я ничего в тебе не пойму и тебя потеряю.

Поэтому я затворился в молчании моей любви и наблюдаю за людьми. Я хочу понять их.

Заметка для памяти: не подчинишь работу заранее продуманной идее. Рассудок слеп. А творение совсем не сумма составляющих его частей. Нужно семечко, чтобы возникло тело. Оно будет таким, какова двигающая тебя любовь. Но предвидеть заранее, каким оно будет, невозможно. Однако логики, историки, критики, пользуясь нелепым языком логики, разнимут твоё творение на составляющие и докажут, что одно в нём надо было бы увеличить, а все остальное уменьшить, и с той же логичностью докажут совершенно противоположное, ведь когда живешь в царстве абстракций, когда кухня и танцевальный зал для тебя только слова, между ними нет особой разницы, ничего не стоит что-то уменьшать, что-то увеличивать. Слова и есть слова. Что бы мы ни говорили о будущем, разговоры наши бессмыслица. Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Пробуди страсть, она изменит настоящее, а следом и будущее. Не занимай сегодняшний день завтрашними заботами. Питает тебя настоящее, а если ты отвернешься от него, ты умрешь.

Жизнь — это осваивание настоящего, оно сплетено из множества пролезающих нитей, устоявшихся связей, но язык не в силах вместить их и выразить. Равновесие настоящего составлено из тысячи равновесий. И если ты, проводя задуманный эксперимент, нарушишь одно из них, — у слона-великана рассечешь одну узенькую жилку, — слон умрет.

Нет, я не о том, чтобы ты ничего не менял. Ты можешь изменить все. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена. И тогда в каждый миг семечко или то, что растет из него, будет в равновесии с настоящим.

С множества точек зрения можно судить об одном и том же. И если с моей вершины я примусь делить людей с точки зрения их права быть сытыми, вряд ли кто-то сочтет мою точку зрения несправедливой. Но если я поднимусь на другую гору и по-иному взгляну на людей, то, полагаю, справедливым мне покажется что-то иное. А мне хотелось бы не позабыть ни об одной из справедливостей. Поэтому я наблюдаю за людьми.

(Справедливость не одна, их бесконечное множество. Я могу распределить моих генералов по возрасту и старейшим воздавать почести и назначать их на все более ответственные посты. Или, наоборот, могу вознаграждать их отдыхом, с годами предоставляя им все больше прав на него и перекладывая ответственность и обязанности на плечи более молодых. Я могу судить обо всем с точки зрения царства. Могу судить с точки зрения частного лица. Могу судить с общечеловеческой точки зрения, ратуя за частное лицо или против него.)

Основа моей армии — иерархия, но стоит мне попытаться определить, что для моей армии справедливо, а что несправедливо, как я попадаю в сеть неразрешимых противоречий. О человеке можно судить по заслугам, по способностям и исходя из соображений высшего блага. Вот я построил лестницу неоспоримых достоинств, но стоило поместить их в другое измерение, как они оказались спорными. И если мне наглядно доказывают, что решения мои чудовищны, я не впадаю в смятение. Я знаю заранее, непременно найдется точка зрения, с которой они поразят именно своей чудовищностью, но я хочу, чтобы новое прижилось к уже существующему, чтобы оно пустило корни, чтобы истина не была словесной, чтобы в ней была ощутимая для всех весомость.

СХV

Мне показалось бессмысленным выяснять, кто и какими привилегиями пользуется в моем городе. Права каждого можно оспорить. Не это моя задача. Вернее, она второстепенна. Главное для меня, чтобы привилегии облагораживали обладателя, а не превращали его в скотину. Поэтому мне важно узнать, каков он, мой город.

И вот я отправился на прогулку, и меня сопровождал лейтенант, который расспрашивал прохожих.

— Чем ты зарабатываешь на жизнь? — спрашивал он наугад у одного, у другого.

— Плотничаю, — ответил один.

— Огородничаю, — сказал другой.

— Кую, — сказал третий.

— Пасу, — ответил четвертый.

Рою колодцы. Ухаживаю за больными. Пишу за неграмотных прошения и письма. Разделяю туши. Чеканю чайные подносы. Тку полотно. Шью одежду. Или...

Я подумал: каждый из них трудится для всех. Потому что каждый ест мясо, нуждается в воде, лекарствах, досках, чае, одежде. И

никому из них ремесло не приносит больших избытков, потому что мясо едят раз в день, раз в жизни тяжело болеют, носят один костюм, пьют раз в день чай, отправляют одно-два письма, спят на одной постели, в одном и том же доме.

Но слышал я и другие ответы:

«Строю дворцы, граню алмазы, ваяю из мрамора статуи...»

Эти работают не для всех, они трудятся для избранных, ибо сделанное ими поделить невозможно.

Да и как иначе? Художник потратил на роспись вазы год, и возможно ли оделить всех его расписными вазами? Получается, что в городе один работает на многих, потому что есть в нем женщины, есть больные, калеки, есть дети, старики и те, кто сегодня отдыхает. Есть в городе и те, кто служит царству и не производит никаких вещей, — это мои солдаты, жандармы, поэты, танцовщицы, губернаторы. Но и они, как все остальные, едят, пьют, одеваются, обуваются, спят в кровати под кровом дома. Им нечего дать взамен необходимых для них вещей, мне приходится обирать тех, кто производит необходимое, чтобы снабдить им тех, кто его не производит. Любой ремесленник в своей мастерской делает больше вещей, чем нужно ему самому. И все же всегда есть такие вещи, какими ты не сможешь оделить всех, потому что мало кто их делает.

Но согласись, очень важно, чтобы находились охотники делать эти как бы ненужные вещи, ибо излишества и есть прекрасное существо возвращаемой тобой культуры. Вещь, что обошлась дорого, значима для человека, — вещь, на которую потрачено много времени. В затраченном времени — суть бриллианта, год трудов стал слезой величиной в ноготь. Тачка розовых лепестков — каплей духов. Что мне за дело, чьей будет алмазная слеза, капля аромата? Я заранее знаю: на всех не хватит, но знаю и другое — о культуре судят по вещам, которые она произвела, а не по тому, кто владел этими вещами.

Я — господин, я обираю моих работников, отнимая у них хлеб и одежду, чтобы накормить и одеть моих солдат, женщин, стариков.

Что смутит меня, что помешает отнять у них хлеба побольше и накормить моих скульпторов, гранильщиков, поэтов, которые, кроме поэзии, питаются еще и хлебом?

Без них у меня не будет бриллиантов и дворцов, о которых мечтают, к которым страстно стремятся.

Ты, говоришь, скульпторы и гранильщики не сделают мой народ богаче? Неправда, разве многообразие занятий не богатство? Ведь кроме насущных трудов есть еще и труды по возвращению культуры. Конечно, подобные занятия требуют досуга, но немногие занимаются ими в моем городе, — я убедился в этом, расспрашивая людей.

И вот что я понял: раз диадему нельзя поделить на всех, значит, вопрос, чьей она будет, бессмыслен, и я не вправе считать ее владельца грабителем, обделившим остальных. Владельцы, заказчики — основа, на которой ткуются узоры культуры, не стоит тревожить их и нарушать плетение, у них своя роль, и не мое дело, хороши они или дурны и есть ли у них моральное право на роскошь.

Не спорю, действительности не чужды проблемы этики. Но есть в ней и другое, что вне этики. И если я буду разрешать проблемы при помощи слов, которые не вмещают противоречивой действительности, мне придется отказаться от света в моем царстве и погасить его.

CXVI

Заметка для памяти: беженцы-берберы не желали работать, они лежали. Бездействовали. Я пекусь не о трудах — о связующих нитях. Дни я делю на будни и праздники. Людей на старших и младших.

Строю дома, более или менее красивые, и пробуждаю зависть. Ввожу законы, более или менее справедливые, и побуждаю пуститься в путь. Я забочусь не о справедливости, справедливо было бы оставить это болото в покое и не мешать ему гнить. Но я навязываю свой язык, ибо люди способны понять его смысл. Я плету сеть условностей и с ее помощью хочу выудить из людей, словно из слепоглухонемых, — человека, но пока еще он крепко спит. Ты обжег слепоглухонемого и назвал: огонь. Ты несправедлив к оболочке, ты причинил ей боль, ты справедлив к человеку, укрытому ею, — ты дал ему свет, открыл, что такое огонь. Больше тебе не понадобится обжигать его, при слове «огонь» он отдернет руку. И это будет знак, что он родился на свет.

Каждый, сам того не подозревая, словно сетью, опутан множеством условностей, но не в состоянии ощутить их на себе, ибо они есть. Есть разные дома. Есть разная еда. (Я установил великий праздник, чтобы они ждали его, чтобы верили: с этого дня начинается новая жизнь. Что им делать, как не следовать направлению русла? Да, направленность уже несправедливость, но и праздник в чередке будних дней та же несправедливость.) Благодаря красивым домам одни что-то получили, другие что-то потеряли. Вошли, вышли. Мой лагерь я расчерчу белыми линиями — в нем будут опасные зоны и безопасные. Вот я обозначил запретную зону, за приближение к ней я буду карать смертью. Так я строю костяк в медузе. Скоро она начнет передвигаться самостоятельно, как отрядно!

Человек получает слова пустыми. Но по мере того как они насыщаются смыслом, они становятся шпорами, уздой, удилами. Появляются жестокие слова, от них плачут. Появляются певучие слова, от них светлеет на сердце.

«Я сделал вещи доступными...» — считай, что ты проиграл, не богатство беда, беда — отсутствие трамплинов, что вынуждали тебя двигаться путем созидания, теперь ты используешь готовое. Беда не в том, что ты дал, беда в том, что ничего не требуешь. Когда больше даешь, больше и спрашивай.

Справедливость, равенство — от них веет покоем смерти. Что такое братство, знает лишь растущий кедр. Не путай с братством круговую поруку и соглашательство, — соглашательством живет толпа, над ней нет Бога, под ней — питающих подземных вод, а в ней самой нет мускулов, она не спеша гниет, и только.

Они лишились формы, живя толпой равных по законам справедливости. Они стали горстью одинаковых шариков.

Брось в эту толпу семечко, ее должна преобразить несправедливость дерева.

CXVII

Я заметил, мой восточный сосед внимателен не к событиям в своем царстве, не к устройству и не к учреждениям, не к вещам, а только к перепаду высот. И если ты захочешь узнать мое царство и отправишься сперва к кузнецам, ты увидишь, они куют гвозди, они влюблены в гвозди, речи их — славословие ковке гвоздей. Потом ты пойдешь к лесорубам, увидишь, как валят они деревья, как увлечены рубкой; первый треск мощного ствола для них — праздник, падение дерева-гиганта — радостное торжество. Ты наведишь астрономов, они погружены в наблюдение за звездами, ты постоишь, послушаешь их молчание. Кузнецы, лесорубы, астрономы любовно делают свое дело. И если я спрошу тебя: «Что творится у меня в царстве? Что у нас будет завтра?» — ты ответишь: «Будут ковать гвозди, валить деревья, наблюдать

звезды, у тебя, стало быть, будут запасы гвоздей, древесина, звездные карты». Не видящий дальше собственного носа, ты проглядел строительство корабля. Конечно, никто не сказал тебе: «Завтра мы выйдем в море». Каждый убежден, что служит своему богу. Язык каждого так ограничен, что ему не воспеть бога богов — корабль. Но корабль щедр, благодаря ему кузнец влюблен в свои гвозди.

Ты видел бы будущее яснее, если бы приподнялся над дробностью мира и ощутил ту жажду морского простора, какую я разбудил в душе моего народа. Тогда ты увидел бы фрегат — он сделан из гвоздей, досок, стволов деревьев, он послушен звездам, он медленно вырастает в тишине, словно кедр, что вытягивает соли и соки из каменистой почвы и окунает их в солнечный свет.

Если бы ты встал повыше, это устремление в будущее стало бы для тебя очевидным. Ты не ошибся бы — повсюду, где только возможно, явлено тяготение к морю. Ничего ведь не сделать и с земным тяготением, — я выпустил из руки камень, он непременно упадет на землю.

Вот я смотрю на человека. Он отправился на прогулку и пошел на восток. Я не могу предсказать, куда он идет. Пройдя сто шагов и убедив меня в неизменности направления, он возьмет и свернет в сторону. Но ближайшее будущее моей собаки мне известно, стоит ослабить поводок, как она потянет меня к востоку, оттуда пахнет дичью, и, если я спущу ее, она ринется туда со всех ног. Натяжение поводка сказало мне больше, чем пройденная человеком сотня шагов.

Я смотрю на узника, он сидит или лежит ничком, кажется — он подавлен и ничего не хочет. Нет, он хочет свободы. Устремление его явственно для меня, и мне достаточно указать ему на щель в стене, как он вздрогнет, напряжется и преисполнится внимания. И если щель ведет за городские стены, покажи мне узника, который бы не разглядел ее!

Но если ты погружен в размышления, то, занятый собственным ходом мыслей, ты можешь не заметить ни этой щели, ни другой. Или, заметив ее, начнешь рассуждать, удобно ли будет ею воспользоваться, и решишься слишком поздно, — каменщики успеют ее заделать. Но покажи мне воду, заключенную в бассейн, какой из щелей она пренебрежет?

Потому я и говорю: внутреннее предрасположение, тяготение, которое не выразишь словом, — язык наш не приспособлен для этого — могущественнее всех умствований, только оно ведет нас и нами правит. Потому я и говорю: разум в услужении у души, склонности души управляют им, а он лишь обозначает всякий раз направление, обосновывает его сентенциями, а тебе кажется, будто ты послушен своим разбредующимся мыслям. Но я тебе говорю: управляют тобой только божества — храм, дом, царство, страсть к морю, жажда свободы.

И я тоже, как мой сосед, что правит по другую стороны горы, не стану следить за тем, что делается. Мне не угадать по полету голубя, свернет ли он к голубятне или подчинится воле ветра. Мне не понять, возвращается человек домой, потому что любит свою жену или подчиняется тяжкому долгу, не понять, что сулит его возвращение — любовную встречу или разрыв. Но когда речь идет об узнике, я не сомневаюсь: он не упустит случая, поставит ногу на оброненный мною ключ, ощупает каждый прут решетки, не качается ли один из них, присмотрится к каждому тюремщику, — я уже вижу, как исчезает мой узник в просторе за городскими стенами.

Я не стремлюсь узнать, что делает мой сосед, я хочу узнать, чего он не забывает сделать. Тогда я узнаю, какому божеству он послушен, и, даже если сам он не знает своего будущего, я могу судить, какое будущее его ждет.

СХVIII

Я вспомнил пророка, недобр был его косящий взгляд. Он пришел ко мне, и я почувствовал: он переполнен гневом. Гнев его темен и тяжел.

— Сотри их с лица земли, — сказал он.

И я понял: он жаждет совершенства. Ибо совершенна только смерть.

— Они грешат, — сказал он.

Я молчал. Я зримо видел его душу, изостренную, будто меч. И думал:

«Он живет борьбою со злом. Он живет благодаря существованию зла. Что с ним станется, если зла не будет?»

— Что тебе нужно для счастья? — спросил я.

— Торжество добра.

И я понял, что он обманывается. Разве счастье для него бездействие и пятна ржавчины на его мече?

Медленно разгоралась и наконец ослепила меня необычайная истина: любящий добро снисходителен к злу. Любящий силу снисходителен к слабости. Враждуют друг с другом одни слова, в жизни добро и зло сплетаются: бездарные скульпторы — почва для возвращения даровитых, тирания выковывает гордость души, противостоящую тирании, голод вынуждает делиться хлебом: возникшее дружество слаще, чем хлеб. Заговорщики, которых схватила моя стража, сидят в темноте подземелья и готовятся умереть, принеся себя в жертву другим, они согласились на опасности, нищету и несправедливость из любви к свободе и справедливости. Эти люди всегда казались мне ослепительно прекрасными, нестерпимо было их сияние в камере пыток, и я никогда не унижал их в смерти. Что такое алмаз, если нет твердой породы, которую нужно преодолеть, чтобы до него добраться? Что такое клинок, если нет врагов? Что такое возвращение, если нет отсутствия? Что такое верность, если нет соблазна? Торжество добра — это торжество покорных волов вокруг кормушки. Я не жду ничего хорошего от оседлых и перекормленных.

— Ты борешься со злом, — сказал я пророку, — любая борьба — это танец. Ты наслаждаешься своим танцем, танцуя во имя зла. Я хотел бы, чтобы ты танцевал из любви.

Я творю, я созидаю царство, где всех вдохновляет поэзия, но наступает час, приходят логики и принимаются размышлять. Они ищут, что может угрожать поэзии, и обнаруживают, что грозит им ее противоположность — проза, словно есть на свете противоположности!.. Следом появляются жандармы, любовь к стихам им заменяет ненависть к прозе, они уже не любят, а ненавидят. Будто истребление олив равнозначно возвращению кедра. Жандармы отправят в застенки музыканта, ваятеля, астронома, подчинившись пустым словам, ветру слов, слабому дрожанию воздуха. С этой минуты царство мое обречено на гибель, ибо рубить оливы, уничтожать запах роз не значит выращивать кедры. Пробуди в душе твоего народа любовь к фрегату, она соберет усердных со всех концов твоего царства и преобразит их в паруса. Ты захотел сделать паруса из преследования, выслеживания, из уничтожения несогласных. Все, что не фрегат, сделалось врагом фрегата, ибо логика приводит туда, где назначаешь ей свидание. Ты принялся очищать свой народ, ты вынужден будешь его уничтожить, ибо окажется: каждый кроме фрегата любит и еще что-то. Больше того, ты уничтожишь сам фрегат, потому что любовь к нему в кузнеце стала любовью к гвоздям. Кузнеца ты отправишь в тюрьму. Откуда взяться гвоздям?

Если ты захочешь помочь величию скульпторов, истребив бездарных и слабых, подчинившись пустому ветру слов, который противопо-

ставил их даровитым, у тебя не будет скульпторов вообще. Ты и сам запретишь своему сыну это ремесло, сулящее так мало шансов выжить.

— Если я правильно понял тебя, — закричал косою пророк, — я должен поощрять пороки?!

— Нет, ты меня совсем не понял, — отвечал я.

СХІХ

Ведь если я не хочу воевать и меня мучает ревматизм в колене, он вполне может стать препятствием, помешавшим мне начать войну, и, наоборот, если я хочу воевать, я решу, что движение — лучшее средство против ревматизма. Мое стремление к миру воспользовалось как предлогом ревматизмом, но предлогом могла стать любовь, или домашний уют, или почтение к моему противнику, или что угодно иное. Так что если ты хочешь понять людей, начни с того, что перестань их слушать. Кузнец толкует тебе о гвоздях. Астроном о звездах. И никто не вспомнит о море.

СХХ

Имей в виду, мало посмотреть, чтобы увидеть. С самой высокой из моих башен я показал моим гостям пределы моего царства, они закивали головами: «Конечно, конечно...» Я повел их в монастырь, стал рассказывать об уставе, они тихонько зевали. Показывал новый храм, картину, статую, художника, архитектора, сказавших новое, небывалое слово. Но они отвернулись. Других могло бы взять за живое, но эти остались равнодушными.

И я подумал:

«Даже те, кто умеет видеть за вещным Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину — немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе еще не известное тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Потому я и приготавливаю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч. Но большинство живет в царстве неосуществленных желаний. Я стал баюкать их северными легендами, заплескали крылами лебеди, потянулись над равниной серые гуси, будя ее тревожными кликами, — окованный льдами темный Север, покойный на храм из черного мрамора, наполнился голосом тревоги, и вот мои слушатели готовы залюбоваться серыми северными глазами, мерцающий в них свет улыбки кажется им светом таинственного приюта, манящего посреди снегов. Я понимаю: взгляд светлых глаз заставит забиться их сердце. Но те, кого испепеляет в пустыне жажда, не заметят света серых глаз».

Если с детства я леплю тебя подобным твою окружению, ты увидишь ту же картину, что видит твой народ, ты будешь любить то, что любит он, ты будешь говорить на одном с ним языке. Я не про слова, с которыми ты обращаешься к соседу, я про цепочку Божественных узлов, связующих дробность мира воедино: нужно, чтобы для всех они были одними и теми же, эти узлы.

Я говорю «одними и теми же», но не подумай, что я стремлюсь к упорядоченности строя солдат, прямого ряда камней, — этот порядок смерть и небытие. Я хочу научить вас видеть одну и ту же картину, а значит, чувствовать одни и те же связующие нити и привязанности.

Теперь я знаю: полюбить — значит разглядеть сквозь дробность мира картину. Любовь — это обретение божества.

Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, стихи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, — я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменялось.

Нет сообщения среди знающих лишь о насущном. Отвернувшись от божества, становишься животным.

Вот почему моих гостей, зрячих, но не умеющих видеть, нужно приобщить к моей вере. Вера затеплит в них свет, сделает души вместительней. Вера избавит их от избыточного. А иначе что им в радость, кроме приятной сытости желудка, чего хотят они, куда идут?

Приобщить к своей вере — значит повернуть тебя лицом к божеству и сделать его зримым.

Но где взять мосток, чтобы перекинуть от себя к тебе? Ты оглядываешь поля, а я дорожной палкой обвожу, показывая тебе, пределы моей земли, но не в силах поделиться своей к ней любовью: не достается легко любовь. Долго и трудно будешь ты подниматься в гору, опираясь на палку, и, когда обведешь ею пределы раскрывшейся перед тобой земли, задохнешься от волнения.

Но испробовать на тебе, каково оно, мое царство, я могу. Верю я прежде всего в работу. Не увидеть, что идеи рождаются делом, может только ребенок или слепец. Ребячество разбирать и раскладывать по полочкам идеи, будто они уже и не идеи вовсе, а товар на ярмарке.

Я доверяю тебе волов и повозку или цеп на току. Или лопату, чтобы рыть колодцы. Поручу собирать оливки. Играть на свадьбах. Копать могилы. Дам тебе какое-то дело, чтобы ввести тебя в незримый замок, подчинить силовым линиям, облегчить одни пути, закрыть другие.

У тебя появятся обязательства, запреты. Одно поле можно вспахивать, другое нет. Этот колодец — спасение деревни, другой — проклятие. Девушка выходит замуж, ее деревня распевает песни. А соседняя плачет об усопшем. Стоит потянуть за одну ниточку, как открывается вся картина. Пахарь пьет из колодца воду. Колодезник выдает дочь замуж. Невеста ест хлеб пахаря, пьет колодезную воду, и все они празднуют одни и те же праздники, молятся одним и тем же богам, оплакивают одних и тех же усопших. Станешь и ты таким, каким ты нужен деревне. Ты мне скажешь, каким ты стал. И если сам себе не понравишься, — значит, моя деревня тебе не по вкусу.

Ничего не разглядит зевака. Праздный взгляд отмечает дома, деревья, — как увидеть за ними Бога? Бог открывается трудами сердца.

Истина для меня то, что тебя воодушевило. Все, что ты видишь, не хорошо и не дурно. Но вот ты увидел картину и замер. Ты понял: эта картина прекрасна. «Истинна и прекрасна», — скажешь ты мне, и точно так же ты можешь открыть для себя свою землю, царство. Обжив его сердцем, ты пойдешь за него на смерть. «Камни подлинны, подлинен и храм», — скажешь ты мне.

В тайная тайных монастыря я приготовил для тебя чудесную икону, чтобы душа твоя затеплилась молитвой, — ты плачешь и молишься перед ней — что ты тут можешь отринуть? Сможешь ли ты сказать: истинна красота лика, но не истинен Бог?

Неужели ты думаешь, что родился, умея видеть прекрасное? Нет, ты научился его видеть. Прозревший слепорожденный не обрадовался обращенной к нему улыбке. Ему нужно было узнать, что такое — улыбка. Но ты знаешь с детства: улыбка сулит тебе радость, она таит в себе приятный сюрприз. Зато нахмуренные брови обещали неприятности,

дрожание губ предваряло слезы, загоревшиеся глаза — увлекательную выдумку, кивок головой — примирение, протянутая рука — доверие.

Ты живешь, накапливаешь опыт, и мало-помалу у тебя в душе складывается картина, мерцает некий идеальный образ, все в нем тебе по сердцу, он радуется тебе, наполняет жизнью. И вдруг в толпе мелькнуло похожее на него лицо, ты скорее умрешь, чем его потеряешь.

Молния поразила тебя в самое сердце, но сердце твое готово было загореться.

Не спеша нарабатывается любовь и только тогда рождается. Ты открываешь для себя хлеб после того, как я дал тебе возможность поголодать. Я натянул в тебе струну, что откликнется на стихи. Стихи запели у тебя в душе, другой, их читая, зевает. Я стремлюсь пробудить в тебе голод, о котором ты пока не подозреваешь, страсть, которая пока для тебя безымянна. В ней пучок твоих дорог, твой стержень, твоя форма. Божество, которое ее разбудит, выявит в тебе все разом, и дороги потянутся для тебя лучами света. Но ты еще ни о чем не знаешь, не ищешь. Если бы искал, то знал бы уже по имени, а значит, нашел.

СХХІ

Заметка для памяти: задузив себе головы, они решили, что и в жизни существуют противоположности, противостояния, — о, глупцы! Суровость, решили они, противостоит болтовне. Но жизнь — переплетение, стоит тебе уничтожить противоборствующего противника, как ты гибнешь с ним вместе.

Я повторяю: противопологается жизни одна только смерть.

Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенное. Вымарывание за вымарыванием — ты уничтожил текст. Все ведь несовершенно. Если любишь совершенство, не уставай совершенствоваться.

Ты решил истребить низость, спасая благородство. Ты истребишь всех людей — ни один не сделан из чистого благородства.

Этот человек уничтожил своего противника. Он жил борьбой с ним. Теперь он и сам мертв. Противник корабля — море. Море сделало таким совершенным форштевень и корпус корабля. Противоположность огня — пепел, пепел сберегает бодрствующий огонь.

Не надо бороться с рабством и опираться на ненависть, нужно бороться за свободу и призывать на помощь любовь. В любой иерархии можно увидеть рабство, можно счесть рабами камни, сложившие фундамент храма, благодаря которым другие, более благородные, дотягиваются до неба; если ты последователен, ты должен разрушить храм.

Но кедр не отвергает, не ненавидит все то, что не кедр, он питается каменистой почвой и превращает ее в кедр.

Против чего бы ты ни боролся, у тебя на подозрении весь мир, потому что повсюду может оказаться кров, припас и пища для твоего врага. Против чего бы ты ни боролся, ты должен уничтожить и самого себя, потому что и в тебе есть твой враг, как бы слаб он ни был.

Единственная несправедливость, которую я приемлю, — несправедливость творчества и созидания. Ты не уничтожил соки, которые питают колючки, ты создал кедр, он питается соками, и для колючек их не осталось.

Если ты стал вот этим деревом, ты не можешь уже стать другим. Стало быть, ты — несправедливость по отношению к другим деревьям.

Когда усердие в тебе иссякает, ты продлеваешь жизнь царству с помощью жандармов. Но если только жандармы в силах поддержать

жизнь твоего царства, значит, оно уже мертво. Принуждаю и я, но принуждаю, как дерево, оно узел для соков земли, я не истребляю колочки и соки, которые их питают, — я сажаю кедр, и теперь они вынуждены питать его.

Где ты видел, чтобы боролись против чего бы то ни было? Благоденствующий кедр уничтожает кустарник, но ему и дела нет до кустарника. Он не знает даже о его существовании. Он борется за кедр и превращает в кедр кустарник.

Ты хочешь заставить своих воинов умирать против рабства, несправедливости! Кто захочет умирать? Захотят убивать, а не умирать. Отправятся сражаться — значит дать согласие на смерть. На смерть соглашаются ради того, на что положили жизнь. Иными словами, ради любви.

Эти ненавидят тех. Будь у них тюрьмы, они набили бы их узниками. Но тюрьмы выковывают врагов, они пламенеют ярче монастырей.

Казнит и сажает в тюрьмы не уверенный в себе. Он уничтожает свидетелей и судей. Но для того, чтобы обрести величие, недостаточно истребить свидетелей собственной низости.

Казнит и сажает в тюрьмы тот, кто перекладывает свои ошибки на других. Значит, он слаб. Чем ты сильнее, тем больше ошибок ты берешь на себя. На них ты учишься побеждать. Генералу, который потерпел поражение и пришел с повинной, отец сказал: «Не лъсти себя мыслью, что ты способен ошибиться. Если я сел на коня и конь заблудился, виноват не конь — виноват я».

«Извинение предателей,— говорил отец,— в том, что они нашли силы предать».

СХХII

Если истины очевидны, и противоречат одна другой, тебе ничего не остается, как искать другой язык.

Логика не в силах задеть тебя за живое, с ее помощью не перебраться на ступеньку выше. Исходя из камней, не узнать о сосредоточенности. Камней недостаточно, чтобы ее постичь. Тебе нужно придумать, как сложить по-новому камни, и то, что ты сложишь, ты обозначишь новым словом. Родилось новое существо, цельное, необъяснимое, потому что объяснить — значит расчленить. Но оно едино, и ты окрестил его, дав ему имя.

Чему служат рассуждения о сосредоточенности? О любви? О царстве? Любовь, царство не предметы, они — божества.

Я видел человека, он согласен был умереть, наслушавшись сказок Севера, он узнал: раз в году наступает необыкновенная ночь, люди идут по скрипучему снегу под льдистыми звездами и подходят к деревянной избушке. Светится окно, после долгой тьмы тыходишь в свет и, заглядывая в дом, приближаешь лицо к стеклу, — в комнате мерцает странное дерево. Говорят, эта ночь сродни расписной деревянной игрушке и пахнет запахом воска. Говорят, лица у людей в эту ночь — настоящее чудо. Потому что они ожидают чуда. Ты увидишь стариков, они затаили дыханье и смотрят на детей, приготовив сердце к величайшему таинству. Вот сейчас в детских глазах промелькнет что-то неуловимое, драгоценное. Целый год ты творил ожидаемое сокровище рассказами, таинственными намеками, туманными посулами и безграничной любовью к малышу. Сейчас ты снимешь с елки смешную деревянную игрушку и, согласно издревле установленному обычаю, протянешь ее ребенку. Вот он, этот миг. Все затаили дыхание, малыш сидит у тебя на коленях, дремотно моргает, его только что вытащили из теплой постельки, ты вдыхаешь сладкий

запах сонного ребенка, и, когда он тебя целует, ты чувствуешь: жаждающее сердце наконец наполнилось из родника. (Горе детям, их обокрали, если никто не нуждается в роднике, что таятся в них без их ведома, роднике, к которому приникают постаревшим сердцем, чтобы омолодиться.) Но сейчас не до поцелуев. Малыш смотрит на елку, ты смотришь на малыша. Сейчас ты сорвешь редкостный цветок, расцветающий единственный раз в году посреди снежных сугробов, — цветок восторженного изумления.

Как ты счастлив, глядя на потемневшие глаза ребенка. Он погрузился в созерцание своего сокровища, получив свое сокровище в руки, он засветился и похож на морской анемон. Если ты отпустишь его, он убежит. И догнать его нет никакой надежды. Не говори с ним, он тебя не услышит.

Его потемневшие глаза, чуть-чуть потемневшие, будто на луг набежала тень тучки, — не говори мне, что они ничего не значат. Даже если это единственное твоё воздаяние за прожитый год, за твою тяжкую работу, за потерянную на войне ногу, бессонные ночи, обиды и страдания — все возмещено тебе сполна, и ты счастлив. Ты в выигрыше, ты выгодно поменялся.

Какая логика выведет твою любовь к царству, молитвенную сосредоточенность в храме, этот несравненный миг?

И вот мой солдат готов умереть, — мой солдат, который видел только песок и солнце, который никогда не видел мерцающих деревьев и весьма приблизительно знает, где находятся северные страны, — он готов умереть, потому что гибель грозит запаху воска и потемневшим детским глазам, он узнал о них из стихов, и они были будто легкий аромат, принесенный ветром с дальнего острова. Я не знаю более важной причины для смерти.

Бывает, что питает тебя Божественный узел, связующий все воедино. Не преграда ему ни стена, ни море. Ты в пустыне, но переполнен дальним, неведомым тебе, даже чуждым — этих людей ты себе не представляешь, не представляешь и страны, — но переполнен ожиданием, ты ждешь и хочешь увидеть потемневшие глаза ребенка, он не сводит их со смешной деревянной игрушки, и она тонет в них, будто камень в неподвижной воде.

Бывает, что полученное тобой от этой картины так для тебя драгоценно, что ты готов умереть за нее. И если для меня это будет так, я подниму моих воинов, чтобы спасти рассеянный где-то в мире запах воска.

Но я не стану братья за оружие, защищая накопленные запасы. Когда их накопили, ждать можно только одного — превращения в тупую скотину.

Вот почему, когда умерли твои боги, ты ни за что не хочешь умирать. Но ты и не живешь. Потому что нет в твоей жизни смерти. Слова «жизнь» и «смерть» дразнят друг друга, но жить ты можешь только тем, за что согласен и умереть. Тот, кто отказывается от смерти, отказывается и от жизни.

Если нет ничего, что было бы больше тебя, тебе неоткуда получать. Разве что от себя самого. Но что получишь от зеркала?

СХХIII

Я говорю для тебя, потому что ты одинока. Я хочу перелить в тебя свет.

Я знаю, ты молчишь, ты одинока, но все же и твое сердце может

получать пищу. Божествам смешны моря и преграды. Ты тоже станешь богаче оттого, что где-то пахнет воском. Даже если никогда не вдохнешь его.

Но какова она, моя пища, я могу узнать, только посмотрев на тебя. Какой ты стала, напивавшись ею? Мне хотелось бы, чтобы ты молчаливо скрестила руки и глаза у тебя потемнели, как у малыша, которого я одарил сокровищем, он не в силах оторвать от него глаз. Мой подарок малышу не вещь, не предмет. Если камешки для него военный флот, устоявший в бурю, то мои деревянные солдатики будут и войском, и капитанами, и верностью царству, и смертью от жажды в пустыне. Ведь и музыкальный инструмент не инструмент вовсе, он — силки, чтобы тебя пленить. И твой плен так далеко увел тебя от силков. По-иному ты смотришь из окна на уснувший город, если помнишь мои слова о дремлющем под пеплом огне. Мой дозорный ходит уже не по кругу, если круглая площадка башни — вершина царства.

Отдавая, получаешь больше, чем отдал. Потому что тебя не было и вот ты возник. И что мне тогда за дело, если слова снова дразнят друг друга.

Я говорю для тебя, ты одна, мне хочется тебя приютить. Может, слепота или сухая рука помешали тебе ввести в свой дом мужа. Но есть присутствие более осязаемое, я видел, как поутру, когда мы победили, даже больной на смертном ложе был другим, и, хотя из-за толстых стен не было слышно победных труб, казалось, все в его комнате трубит о победе.

Что же проникло извне вовнутрь, как не связавшая всех воедино победа, которой нет дела до стен и которой морской простор не преграда? Разве не существует Божественного узла еще горячее? Он воспламенит в тебе сердце, и ты станешь преданной и совершенной.

Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Когда черпаешь из живого родника, то с каждым днем он щедрее. Животворящ и запах воска. Если сосед подышит им, он станет для тебя еще драгоценнее.

Муж опустошит твой дом, если, устав любить тебя, улыбнется другой.

Но вот к тебе прихожу я. Нам не нужно знакомства. Я — узел царства, я придумал для тебя молитву. Я — ключ свода, наделяющий вещи смыслом. Я протягиваю нить и тебе. Ты больше не одинока.

Как тебе не последовать за мной? Разве я не ты? Ведь и музыка оживляет в тебе связующие нити, обжигает тебя. Музыка не истинна, не лжива. Просто ты начинаешь существовать.

Я не хочу, чтобы совершенство опустошило тебя. Опустошило и заполонило горечью. Я бужу в тебе рвение, которое всегда обогащает и никогда не обделяет, рвение, которое никогда не требует возмещения потраченных усилий или запаса впрок.

Стихи прекрасны не логикой — дарованным свыше. Чем просторнее ты становишься от них, тем они тебе дороже, тем ты взволнованней. Ты тоже — музыкальный инструмент, ты тоже можешь запеть, в тебе разные голоса. Есть в мире и дурная музыка, она прокладывает путь ничтожеству, и в тебя входит ничтожество. Бог, что посетил тебя, жалок. Но бывает, на тебя изливается столько любви, что, утомленная, ты засыпаешь.

И я для тебя, одинокой, придумал молитву.

СХХIV

Молитва одиночества.

«Пожалей меня, Господи, тяжело мне мое одиночество. Мне некого ждать. Комната будто тюрьма, вещи в ней молчаливы. Я прошу

не о гостях, на глазах людей я еще оставленной. У меня соседка, она тоже одна, и комната у нее похожа на мою, но она счастлива теми, кого любит. Нежность ее сейчас праздна, она не слышит, не видит своих близких, не чувствует ответной любви. И все-таки счастлива, в доме у нее не пусто.

Господи, не о человеке прошу Тебя, не о зримом присутствии. Я знаю, неосязаемы твои чудеса. Вылечи меня, освети мне душу, я хочу понять, где приют мой и где мне жить...

Странник в пустыне, Господи, оставив кров и близких, даже на краю света утешен своим домом. Что ему расстояние? Душа его занята, и, если он умрет, то умрет, любя... Я не прошу Тебя, Господи, чтобы и у меня появился такой дом...

Человек заметил в толпе лицо, и оно стало для него божеством, пусть девушка так и осталась незнакомкой. Так солдат влюбляется в королеву. Он живет как солдат королевы. Я не прошу Тебя, Господи, чтобы подобный кров был мне обещан...

По морским просторам странствуют влюбленные в несуществующие острова. Они слагают песни об островах — и счастливы. Не острова делают их счастливыми — песни. Я не прошу, Господи, чтобы дом для меня где-то был...

Одиночество, Господи, плод души-калеки. Смысл вещей — вот родная земля души. Храм — смысл существования камней. Душа направляет крылья только на просторах смысла, не вещи нужны ей — картина, что возникла, когда они слились воедино. Научи меня видеть сквозь дробность целое.

Тогда, о Господи, я перестану быть одинокой».

СХХV

Подобно тому, как я могу назвать храм — внятный душе порядок, претворивший безликие камни в силовые линии, — могу назвать его укладом для камней... И уклад этот чаще всего прекрасен...

Подобно тому, как могу я назвать литургию моего года — внятный душе порядок, претворивший безликие дни в силовые линии (есть у нас дни поста, праздники и дни отдыха — силовые линии, направляющие тебя), — могу назвать укладом дней. Год благодаря ему оживает.

Подобно тому, как есть свой уклад и у черт лица. Лицо тогда чаще всего приятно. Есть уклад и у моей армии — протянутые мной силовые линии позволяют тебе одно, запрещают другое. Повинуясь, ты становишься моим солдатом. Армия чаще всего становится сильной.

Есть уклад и у моей деревни, со своими праздниками, днем поминовения усопших, сбором винограда, помочью при постройке, раздачей хлеба и воды во времена голода или засухи: полный бурдюк — он не для тебя одного. Благодаря укладу у тебя есть родина. И от нее чаще всего тепло на сердце.

На что я ни посмотрю, вижу уклад. Храма нет без архитектуры, года без праздников, лица без пропорций, армии без устава, отчины без обычаев. Не будь уклада, ты не сладил бы с беспорядком.

Почему же ты говоришь мне, что окружающая тебя дробность — она подлинная, а уклад — это мнимость? Разве любая вещь не уклад составляющих ее частей? По-твоему, армия менее реальна, чем ка-

мень? Но и камень я могу назвать укладом пылинок. Год — укладом дней. Почему тогда год менее реален, чем камень?

Этих заботит отдельный человек. Кто спорит, прекрасно, если каждый будет процветать, будет сыт, обут и страдать будет не чрезмерно. Но в каждом умрет главное, жители твоего царства станут рассыпанными камнями, если не будет в твоём царстве человеческого уклада.

Без уклада нет человека. Оплакивать покойного брата ты будешь не дольше, чем оплакивает собака утонувшую товарку. И возвращение брата тебя не порадует. Радованье брату должно строиться, будто храм, он рухнет со смертью брата.

Я не видел, чтобы беженцы-берберы оплакивали своих мертвых.

Как мне показать тебе то, что я ищу? Я ищу не вещь, которую можно потрогать, я ищу ощутимое для души. Не требуй, чтобы я обосновал свой уклад. Логика хороша для дробного мира, Божественный узел связывает дробность по-своему. Мне пока неведом этот язык.

Ты, наверно, видел, как слепые гусеницы ползут вверх по дереву, поближе к свету. Посмотрев на них, ты скажешь, к чему они стремятся, скажешь: «К свету» или «К вершине», — потому что ты человек. Но они-то не знают, к чему. Вот и ты получаешь от моего храма, года, картины, родины неизвестное, оно становится твоей истиной, и я не вслушиваюсь в ветер слов, он гудит о вещном. Ты — гусеница. Ты не знаешь, чего ищешь.

Но если из моего храма, года, царства ты выходишь совершеннее и просветленнее, если незримая пища напитала тебя — я подумаю про себя: «Это хороший для человека храм. Хороший год. Хорошее царство». Даже если я не могу определить, чем они хороши.

Просто-напросто я, как гусеница, нашел что-то для себя необходимое. Так слепец зимой ищет на ощупь очаг. И находит. Он ставит свою палку и садится возле него, скрестив ноги. Он не знает об огне того, что знаешь о нем ты, зрячий. Он нашел необходимую ему истину телесно, и увидишь, он не стронется с места.

Но ты упрекаешь меня, говоря, что найденная мной истина неподлинна, и поэтому я расскажу тебе, как умирал мой друг, единственный подлинный геометр, он приготовился к смерти и попросил меня побыть с ним.

CXXVI

Тихими шагами подошел я к нему, я любил его.

— Геометр, мой друг, я помолюсь за тебя Господу.

Но он устал мучиться.

— Не жалею моего тела. У меня отнялась рука, отнялась нога, я похож на сухое дерево. Не мешай дровосеку.

— Ты ни о чем не жалеешь, геометр?

— О чем мне жалеть? Я помню здоровую руку, здоровую ногу. Жизнь — это непрекращающееся рождение, и себя принимаешь таким, каким становишься. Ты когда-нибудь сожалел о младенчестве, отрочестве, зрелых годах? О них сожалеют плохие поэты. Не сожаление — сладкая печаль без тени страдания, тонкий аромат вина, веющий над опустевшим бокалом. В день, когда ты теряешь глаз, ты рыдаешь и жалуешься, потому что любое преобразование болезненно. Но жизнь с одним глазом вовсе не повод для вечного страдания. Я видел, как весело смеются слепые.

— А память о минувшем счастье?

— Откуда ты взял, что она приносит боль? Конечно, видел и я, как страдал от разлуки влюбленный, любимая была смыслом его дней, часов, всего на свете. Храм его обрушился. Но я никогда не видел, что страдает тот, кто пережил высшее напряжение любви и любил, для кого погас согревающий его очаг. Стихи взволновали тебя, а потом ты ими пресытился. Кто страдает по отмершему? Душа погрузилась в спячку, человек погрузился в небытие. Скука далека от сожаления. Сожалеть о любви — значит по-прежнему любить... Если не любишь — не сожалешь. Тоскуешь, скучаешь, опустившись на ступеньку, где тебя окружили только дробные вещи, потому что им нечем напитать тебя. Когда обрушивался ключ свода и жизнь моя теплась, я мучился муками преобразования, но как я могу чувствовать их теперь? Разве не теперь увижу я истинный ключ свода, истинный смысл всего? Так что мне до былого, в котором не было света истины? О чем тосковать мне, если я вижу, что часовня наконец построена, завершена, если я вижу, что в ней наконец затеплится свет?

— Геометр, мне кажется, ты не прав. Мать плачет, вспоминая умершего ребенка.

— Она плачет, когда он умирает. Потому что все вокруг лишается смысла. Приходит молоко, а ребенка нет. Тебе столько нужно сказать любимой, и нет любимой. Если дом твой разорен, продан, что тебе делать с любовью к дому? Но это значит, что наступил час преобразования, а он всегда причиняет боль. Ты ошибся, потому что слова только запутывают человека. Наступает час, когда прожитое обретает свой истинный смысл и ты понимаешь — оно помогло тебе сбыться. Приходит час, когда ты чувствуешь себя богаче, потому что когда-то любил. Час нежной, сладкой печали. Приходит час, когда постаревшая мать, глаза ее смягчились, и умудрилось сердце, — никому не признаваясь в этом, потому что слова страшат ее, — с нежностью вспоминает своего умершего малыша. Видел ли ты мать, которая сказала бы тебе, что лучше бы не иметь ребенка, не кормить его молоком, не ласкать?

Долго молчал геометр, а потом сказал:

— Вот и моя жизнь, бережно сложенная, стала прошлым, стала воспоминанием...

— Поделись со мной, геометр, новой истиной, что исполнила тебя такой безмятежностью.

— Может быть, постичь истину — значит чувствовать ее безмолвно?.. Может быть, постичь истину — значит обрести право умолкнуть навсегда. Я говорил не однажды, что истинно дерево, ибо оно — обретенное согласие корней, ствола и веток. Истинен лес как согласие деревьев. Истинен край как согласие леса, луга, реки и деревни. Истинно царство как согласие деревень и городов. Истинен Бог как идеальное согласие царств и всего, что существует в мире. Бог так же истинен, как дерево, но увидеть его куда труднее. Мне больше не о чем спрашивать, и я молчу.

Он задумался.

— Другой истины я не знаю. Знаю какие-то соотношения, соответствия, с их помощью более или менее удобно объяснять мир. Но...

Он долго молчал на этот раз, и я не решался его тревожить.

— Но иногда мне казалось, что они и впрямь чему-то соответствуют...

— Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь сказать?

— Когда ищешь, находишь, потому что душе хочется найти только то, что в ней уже есть. Найти — значит увидеть. Как искать то, что для меня еще лишено смысла? Как хотеть того, о чем и не подозреваешь? И все же было во мне что-то вроде тоски о том, что не имело для меня пока смысла. Иначе почему я приходил к тем истинам, кото-

рых не мог предвидеть? Я шел вперед, и было похоже, будто я знаю дорогу, но шел я к неведомому колодцу. Я ощущал связующие нити, ощущал соотвествия, как твои слепые гусеницы ощущают солнце.

Вот ты построил храм, он прекрасен, но разве для тебя ясно, с чем он в глубинном согласии?

Ты сделал законом определенный уклад, заботясь, чтобы души людей не остывали, — слепой так ищет тепло у очага. Не все храмы красивы, не все уклады охраняют огонь.

Гусеницы не знают солнца, слепой не знает огня, а ты не знаешь, с чем в согласии храм, который ты строишь, и почему благодаря ему расширяется в человеке душа...

Что-то светило мне и просветляло меня, притягивало меня к себе, и я шел за ним. Но и сейчас я не знаю...

И в этот миг Господь открыл Свое лицо геометру...

СХХVII

Низкому делу в помощь низкая душа.

Благородному — благородная.

Низкие поступки рождаются из низких побуждений. Благородные — из благородных.

Если мне понадобится предательство, я найду предателя, чтобы совершить его.

Если мне нужно строительство, я позову каменщика.

Если я добиваюсь мира, переговоры я поручу трусу.

Если готовлю гибель, войну объявит герой.

Многообразие побуждений очевидно, и, если одно побуждение во-зобладало над другими, значит, кричало громче, и тот, кто за него ратовал, возьмется его осуществить. Если путь твой сейчас неизбежно низок, в помощь тебе тот, кто так жаждал низости и без неизбежности, из одной только низости души.

Заставлять подписать капитуляцию героя трудно, трудно посылать жертвовать собой трусов.

И если необходимо сделать что-то, с некоторой точки зрения уни-зительное, — с некоторой, потому что нет на свете ничего одномерно-го, — я подтолкну вперед того, кто больше смердит и меньше воротит нос. Брать в мусорщики брезгливого я не стану.

Если мой враг одержал надо мной победу, переговоры с ним я поручу тайным друзьям своего врага. Но не считай, что я заужавал этих тайных друзей и добровольно подчинился победителю.

Да, если ты разговоришь моих мусорщиков, они признаются, что копаются в мусоре, потому что любят запах гнили.

Признается мой палач, что ему по нраву запах крови.

Но ты будешь не прав, если осудишь меня за потворство измен-ному. Ненависть к грязи и восхищение сияющим чистой домом за-ставили меня призвать на помощь мусорщиков. Ужас перед невинно льющейся кровью заставил меня уделить место палачу.

Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Ибо если я решил вступить в бой, спасая закрома моего царства, вперед выйдут самые воинственные, те, для кого смерть — символ веры, и го-ворить они будут о славе и почетной смерти в бою. Потому что никто не умирает ради закровов.

Но если я решил пойти на мировую, чтобы избежать разграбления

тех же закромов, пока их не спалил огонь войны, или заведу речь не о войне и не о мире, но о мирном сне мертвых, то подписывать договоры я позову самых миролюбивых и снисходительных к нашему врагу, и говорить они будут о благородстве устанавливаемых ими законов, о справедливости принятых решений. Они будут верить в свои слова. Хотя дело снова совсем в другом.

Если мне нужно отвергнуть что-то, отвергать будет тот, кто отвергает все и вся. Если нужно что-то принять, принимать будет тот, кто все приемлет.

Ибо мощное царство всегда тяжело и грузно, ветру слов не сдвинуть его. Этой ночью с высоты моей башни я смотрел на темную землю, где тысячи тысяч спят и бодрствуют, счастливы и несчастны, довольны и недовольны, полны веры или отчаяния. И понял: царство немо, оно — великан без голоса и языка. Так как же мне заставить тебя услышать царство — его желания, старания, усталость, мольбы, если я не умею найти слова, чтобы объяснить тебе, что такое гора, — тебе, который видел только море.

Каждый говорит от имени царства, и все говорят противоположное. Они вправе говорить от имени царства. Пусть у немого великана будет возможность кричать.

Я одобряю это. Я ведь говорил о совершенстве. Прекрасная песня рождается из множества неудачных. Если люди боятся петь, не жди прекрасных песен.

Они противоречат друг другу, потому что нет еще языка, который был бы в согласии с царством. Не мешай им. Выслушивай всех. Все правы. Но никто из них еще не поднялся в гору так высоко, чтобы видеть правоту другого.

И если они начинают враждовать, сажать друг друга в тюрьмы и убивать друг друга — значит, они ищут язык, который никак не может сложиться.

А я? Я прощаю им косноязычие.

СХХVIII

Ты спросил меня: «Почему народ принял рабство, почему не сопротивлялся до конца?»

Нужно отличать самопожертвование во имя любви — благородное самопожертвование — от самоуничтожения из-за отчаяния — низменное и недостойное. Жертвуют собой Божеству, им может быть царство, содружество, храм, что примет отданную тобой жизнь — жизнь, на которую ты себя тратишь.

Есть люди, которые готовы пойти на смерть во имя других, даже если эта смерть бесполезна. Она облагораживает живых, у живущих прозревают глаза и сердце.

Какой отец не вырвется из удерживающих его рук и не бросится в бездну, где гибнет сын? Ты захочешь и не сможешь его удержать. Но можно ли хотеть, чтобы оба они погибли? Кому стало лучше от двух смертей?

Почетно сияющее самопожертвование — не самоуничтожение.

СХХIX

Если ты судишь мое творение, суди о нем, позабыв обо мне. Я пишу картину, трачу себя на нее, служу ей. Я ей, а не она мне. Я готов даже умереть, лишь бы ее закончить.

Так не щади мое самолюбие, я люблю не себя, — картину. Но ес-

ли моя картина переменяла тебя, одарив чем-то еще небывалым, не щади мою скромность. Нет во мне скромности. Мы с тобой на стрельбище. Исхода стрельбы мы не знаем. Я — стрела, ты — мишень.

СХХХ

В мой смертный час.

— Господи! Я иду к тебе, я пахал свою пашню во имя Твое, Тебе собирать жатву.

Я отлил свечу, Тебе зажигать ее.

Я построил храм, Тебе жить в его тишине.

Добыча не для меня, я только расставлял ловушки. Я расставлял их, чтобы очнулась душа. Я растил человека, следуя Твоим Божественным силовым линиям с тем, чтобы он шел и шел вперед. Тебе пользоваться этой повозкой, если она покажется Тебе достойной.

Глядя со стен моей крепости, я глубоко вздохнул. «Прощай, мой народ, — думал я. — Я излил всю свою любовь и ухожу в сон. Но я неодолим, как неодолимо зерно. Я не высказал в полноте того, что есть в моей картине. Но созидать не означает выразить словесно. Я все высказал, воскликнув так, а не иначе. Привыкнув к этому, а не к другому. Кладя в тесто дрожжи, а не соду. Все вы теперь мои дети, потому что, делая следующий шаг, невольно вступаете на мой незримый склон и растите мое дерево, а значит, я помогаю вам сбыться.

Конечно, вам станет куда вольнее после моей смерти. Вольна река стремиться к морю, а брошенный камень к земле.

Мой возлюбленный народ, я обогатил твое наследство, храни его, передавая от поколения к поколению».

Я молился, дозорные обходили мою крепость. Я погрузился в раздумье.

Царство посылает мне бдительных часовых. В каждом я зажег тот огонь, который в моем дозорном стал неусыпным бдением.

Годится мне только зрячий солдат.

СХХХI

Я преображаю для вас мир, как ребенок преображает свои три камешка, он отводит каждому роль в игре и, значит, наполняет каждый особым смыслом.

Не камешки, не правила игры значимы для ребенка — они всего лишь удобная ловушка, значима увлеченность игрой, своим желанием играть он преображает камни.

Но что тебе до утвари, скарба, дома, до твоих домашних, до музыки, которую слышишь, зриши, какие видишь, если они не кирпичики незримого дворца, который преобразил их в единство?

Те, у кого нет царства, что наделяет материальный мир смыслом, сердятся на вещи. «Может ли быть, чтобы, разбогатев, я не стал богаче?!» — негодуют они и подсчитывают, сколько еще нужно накопить, потому что богатства явно недостает. И они собирают еще и еще, жизнь их загромождается все больше и больше, а они становятся все жестче и жестче от своей неизбывной неудовлетворенности. Они не знают, что нужно им иное, не знают, потому что ни разу не встречались с этим иным. Они видели счастье влюбленного, он читал письмо от любимой. Они заглянули ему через плечо и догадались — радость его от черных букв на белой бумаге, — и повелели слугам на сотни ладов писать черные буквы. А потом высекли слуг за то, что те не сумели изготовить талисман, наделяющий счастьем.

Нет у них того, что связало дробность воедино, сделало бы одну вещь значимой благодаря другой. Они живут в пустыне, и вокруг них — рассыпанные камни.

Но прихожу я и строю из камней храм. Теперь камни одаряют их благостью.

СXXXII

Я постарался, чтобы они стали чувствительны к смерти. И не жалею. Они острее чувствуют жизнь. Вот я наделил правами твоего старшего брата и, конечно, дал тебе основания его ненавидеть, но ведь и любить тоже, и оплакивать после смерти. Несмотря на то, что я, дав ему права, утеснил тебя. Умер старший брат, он был главным, отвечал за семью, руководил ею, укреплял. Если умрешь ты, он будет оплакивать свою овцу, которой помогал, любил любить, наставлял при свете вечерней лампы.

Но если я вас сделаю равными, смерть одного из вас ничего не изменит для другого. О чем вам горевать? Я видел это бесчувствие, наблюдая своих воинов в бою. Твой соратник упал, но ничего не изменилось, на его место тут же встал другой. Свою сдержанность по отношению к убитым ты называешь солдатским мужеством, видишь в ней согласие с необходимыми жертвами, сухие глаза для тебя — знак благородства и достоинства. Я, наверно, обижу тебя, но все же скажу: «Ты не плачешь, потому что тебе не из-за чего плакать. Ты еще не знаешь, что твой товарищ умер. Он умрет позже, когда наступит мир. А пока всегда есть другой с тобой, рядом, другой справа и другой слева, и вы вместе стреляете. У тебя нет времени, человек тебе не нужен, не нужно и то, чем этот человек, один-единственный, способен одарить. Только старший брат оберегает и покровительствует. Но в строю то, что может один, может и другой. Шарика в мешке не горюют о потере шарика — мешок полон, и все они одинаковы. Об умершем ты говоришь: «У меня нет времени, он умрет позже». Но он уже не умрет, потому что война кончится и разъедутся все живые. Ваш отряд распадается. Живые смешаются с мертвыми. Отсутствующие станут все равно что мертвые, а мертвые все равно, что отсутствующие.

Но если вы — дерево, то каждый зависит от всех и все зависят от каждого. Вы заплачете, когда одного из вас не будет.

Если вы составляете собой какую-то фигуру, то между вами существует иерархия и связь. И видна необходимость одного в другом. Если нет иерархии, нет и братьев. Я слышал, говорят «мой брат», когда ощущают свою зависимость.

Я не хочу в вас безразличия к смерти. Если вы перестанете бояться крови или ударов, ваше безразличие благородно, но смерть переживается тем легче, чем меньше значимого уходит вместе с ней. Чем меньше радовал ваше сердце брат, тем меньше вы будете плакать о нем на похоронах.

Я хочу вас сделать богаче, я хочу, чтобы брат вам стал дороже. Хочу, чтобы ваша любовь, если вы полюбили, открыла вам царство, а не была пеной забродившего в бурдюке вина. Бурдюки не плачут. И если умрет любимая, вы очнетесь на чужбине, в изгнании. Но если вы когда-нибудь услышите, будто кто-то отнесся к смерти любимой по-человечески, знайте, он отнесся к ней по-скотски... И умри он, его возлюбленная отнесется к его смерти точно так же, сказав: «Смерть на войне — достойная для мужчины смерть». Но я хочу, чтобы вы воевали. Кого и любить, как не война? Я не хочу, чтобы, потворствуя малодушию, вы делали из сокровища побрякушку, чтобы

меньше жалеть о нем. Кто умрет тогда? Бесчувственный автомат? Где жертва тогда? Где царство?

Я требую, чтобы мне отдавали лучшее. Иначе вам не обрести благородства.

Я поощряю вас не в пренебрежении жизнью, нет — в любви к ней.

Поощряю в любви к смерти, если она — дарение себя царству.

Здесь нет противоречия. Любя Господа, ты крепче любишь царство. Любя царство, крепче любишь родную землю. Любя родную землю, крепче любишь жену и детей. Любя жену, любишь ничтожный серебряный поднос, потому что вы привыкли пить чай вдвоем после того, как любили друг друга.

Да, я хочу сделать смерть для вас невыносимой. И я же хочу утешить вас. Я сложил эту молитву для плачущих. Молитву против боли смерти.

(Продолжение следует)



Валерий Алексеев

В ОДНОМ НЕМЕЦКОМ ГОРОДКЕ

Я приехал в Германию на три года — по контракту с Рурским университетом (Бохум, Вестфалия). Квартиру мне подыскали недорогую, девятьсот марок в месяц, дешевле здесь не найти, но была она совершенно пустая: кроме кадки с комнатным деревом, которое мне представили как липу, там ничего не имелось. Липа наслаждалась одиночеством и комфортом, квартплату с меня высчитывали аккуратно, а сам я жил на птичьих правах в общежитии, где платил как за номер в гостинице «четыре звезды». Всех, кроме меня, такое положение устраивало, надо было срочно переезжать. Разумеется, Германия не та страна, чтобы приезжий здесь ночевал на голом полу. В местных газетах регулярно печатают адреса граждан, которые готовы бесплатно уступить вам ненужную мебель, холодильник, стиральную машину, имейте только транспорт, чтобы все это добро увезти. С транспортом мне наконец помогли, нужно было лишь управиться в течение дня. День выдался не слишком удачный, шел обильный, хлопьями, снег. Снег в Вестфалии — событие, чуть ли не бедствие. В такие дни немцы ездят неуверенно, но все обошлось. Обстановка, мне предложенная, оказалась более чем приличной, среди прочего я обрел целый мебельный гарнитур, бережно разобранный, с петлями и шурупами, уложенными в пластиковые мешочки, хозяин, пожилой домовладелец, помогал мне в погрузке, на ходу объясняя, что к чему привинтить, и любовно стирая поролоновой губкой снежные хлопья, падавшие на полировку. Гарнитур, складированный в гараже, хозяину, безусловно, мешал, и он рад был, что так легко от него избавляется, приятно тешило его и сознание, что человеку из Русланда эта мебель очень нужна. «Значит, вы здесь пробудете три года? — спрашивал он. — Ну, три года она вам прослужит, надо только следить, чтобы дверцы не соскакивали с петель. А потом вы оставите все прежнему, верно?». Чтобы сделать человеку приятное, я отвечал в том смысле, что такой гарнитур не грех и увезти в Москву. Compliment мой хозяину не понравился. «Ну, зачем же в Москву? Мебель старая, немодная, я купил ее пятнадцать лет назад, когда достраивал дом. Дадите, как я, объявление, кто-нибудь приедет и заберет». Надо было видеть этот дом на тихой уютной улочке — небольшой, но двухэтажный, под черепичной крышей, с зеркальными окнами, темно-серый, оштукатуренный парадиз посреди зеленогоgrundштука — участка с газоном и живой изгородью, с клумбами возле крыльца, на которых что-то ярко цвело. На крыльце, не вмешиваясь в наши мужские дела, стояла хозяйка, толстенная, в домашнем халате, с простоватым деревенским лицом и с готическими седыми кудельками, она издала улыбалась мне, чужаку, открывая в улыбке ослепительные, явно вставные зубы. Легко было представить, как в погожие дни эта пожилая пара хлопочет на своемgrundштуке, муж вычесывает веерными граблями из газона палую листву, а жена, присев на корточки,

озабоченно высаживает цветочную рассаду. Маленький кусочек обитаемого мира, за порядок и красоту на котором эти два обывателя отвечают лишь перед Богом и перед самими собой. Отслужившая мебель уходила от них навсегда, и им очень не хотелось, чтобы ломоть их жизни оказался на свалке. Но более всего хозяина умиляло то, что я уеду-таки через три года в Русланд, не останусь в Германии, подобно тысячам других ауслендеров, навсегда, и он несколько раз переспросил меня: «Так вы вернетесь на родину? Это очень, очень хорошо». Дома, расставляя по местам благоприобретенное имущество, я обнаружил, что в каждый мешочек с «фурнитурой» вложена бумажка, на которой стариковской рукой нарисованы были шкафы и стеллажи с обозначением места стяжек и креплений. О своей находке я наутро рассказал университетскому коллеге, он бывший советский немец, переселившийся на свою историческую родину из Таджикистана семнадцать лет назад. Коллега терпеливо выслушал мой рассказ, помолчал, а потом с непонятной мне интонацией отстраненной гордости сказал: «Да, немцы — они такие». Эти слова я и оставляю так, как они были сказаны, без каких бы то ни было комментариев.

В университете на двери моего кабинета до недавнего времени висел привезенный из Москвы плакат: молодая работница с укоризненными глазами держит деревянные носилки, доверху нагруженные кирпичом, наискосок подпись: «А ну-ка, взяли!» Свободные ручки носилок уткнулись в землю, и старательная немецкая рука пририсовала к ним колесики. Не усы и не рожки появились на плакате, не зубовой оскал, а именно колесики-подшипники с шариками внутри. Плакат, однако, пришлось заменить: однажды кто-то от души, с размаху выплеснул на него чашку кофе. Возможно, по коридорам университета гулял разгневанный осси, житель восточных земель. Примерно в те же дни на стенке университетского лифта появилась размашистая надпись фломастером — отчего-то по-английски: «Fuck gussians!» Вообще наше представление о немецком, как о языке, весьма пригодном для ругани, далеко от действительности. Самое жуткое проклятье, какое я здесь слышал, было «хайлиге шайсе», имеющее довольно ребяческий смысл: «святое дерьмо». Слово «шайсе» здесь в широком ходу — почти как наше «бля». Однажды, едуци в автобусе, я всю дорогу наслаждался беседой школьников у меня за спиной, в этой беседе (о жестокостях учителя математики), кроме слова «шайсе», фигурировали лишь местоимения и глагольные связи, само же это слово играло и атрибутивную, и предикативную роль.

Рурский университет — комплекс могучих, как океанские лайнеры, многотрубных корпусов, в центре — гигантская косая шестеренка «Ауди-макс», главного лекционного зала. Университет расположен на холмах, соединенных переходами, лестницами и многоярусными навесными площадками, их парапеты очень удобны для написания лозунгов и призывов: «Никакой поддержки аннексии ГДР!» «Ни капли крови за дешевую нефть!» «Кайне шанс фюр нацис!» («Ни единого шанса нацистам!»). В этом лозунге первую букву стерли, так что «кайне шанс» превратилось в «айне шанс»: «Нацистам тоже нужен шанс». Первый этаж университета вовсе не нижний, в глубину холмов врыты еще четыре, да к тому же несколько ярусов подземных автостоянок. Не так давно в одном из этих сумрачных подземных гаражей какой-то маньяк убил девушку, и теперь женский контингент паркует свои «панды» и «утки» на открытых стоянках только для фрау. Существует легенда, что архитектор, планировавший эту каменную вращающуюся вокруг «Ауди-макса» карусель, то ли заблудился в ее лабиринтах и бесследно пропал, то ли просто сошел с ума. Однако мрачного впечатления университет не производит. Особенно

красив он в первые весенние дни (а весна здесь начинается рано, в конце февраля), когда на зеленых лужайках среди железобетонных корпусов появляются вместо наших одуванчиков пучки желтых нарциссов и мелкие маргаритки. Чуть пригреет солнце — и во время перерывов между лекциями вся студенческая братия высыпает на лужайки и живописными группами располагается на траве. Нравы здесь вольные. В жару студенты ходят на занятия в просторных шортах с разноцветными штанинами, предпочтение отдается немислимым комбинациям лилового, желтого и зеленого. Красный цвет здесь, в Вестфалии, не в почете, разве что в его темно-бордовом варианте.

Из окна моего кабинета, с высоты седьмого этажа, видна чуть ли не половина Рурской области: долины, рощицы, холмы, усеянные невысокими домиками, которые можно было бы назвать аккуратными, если бы не опасение, что слово это придется слишком часто повторять. Вся панорама подернута туманом — тем самым, пушкинским: «Он из Германии туманной...» Теплый дождик, теплый туман, теплое дыхание недалекой Атлантики. Внизу, у самого подножья университета, — компактный хуторок на холме: четко очерченные границы угодий (хоть учи по ним школьников топографии), среди деревьев — горстка белых домов, расчерченных на неровные четырехугольники короткими черными просмоленными брусками: старинный хуторский стиль «форверк». Вдоль границ усадьбы — неширокие асфальтовые дороги. Все наглядно, как на витрине, так и хочется сказать: «Покупаю, заверните». Мое представление о Германии, как о грохочущем индустриальном чудовище, чей могучий торс тесно зажат между соседними державами, оказалось ложным. Я бы сказал теперь, что Германия — деревенская страна. Такая мысль приходит в голову, когда смотришь на лоскутное желто-сизо-зеленое одеяло полей, накинутое на вестфальские холмы. А ведь это центр Рурской области, сами эти слова вызывают в воображении картину дымящегося пространства, густо заставленного заводами и небоскребами. Ничего этого не видно: крейсера индустрии, многопалубные заводы Круппа и Опеля здесь упрятаны в лощины между холмами, и трубы их не дымят. А на холмах — хутора, угодья, тихое царство бауэра, который не худо-бедно, а сытно и обильно кормит Германию, не позволяя ей залезть в постыдные продовольственные долги. Вот — основа немецких экономических чудес. Не одно столетие на этом хуторе живет и трудится человек, хозяин своей земли, своей независимости и судьбы. Живет он не бедно (крестьянину быть бедняком не пристало), учит в университете дочку, завидную невесту. У дочки, надо полагать, квартира в городе, которую купил ей к совершеннолетию отец и на которой она живет со своим другом, есть у нее крохотный смешной автомобильчик «уно», есть и любимая лошадь, на этой лошади по утрам в субботу и воскресенье она совершает верховые прогулки — вот по этой блестящей от влаги асфальтовой дорожке среди рощ и холмов. О своей любви к верховой езде девушка, попав на мой курс русской коммуникации, напишет в сочинении, изъясняясь не то что романтично, но «слегка взволнованно», как определил наш невыезной поэт. Подумать только: моя землячка Маня из села Никольское Красно-Ивановского сельсовета Сошихинского района могла бы жить не хуже. Разве холмы моей Псковщины беднее этих вестфальских холмов, на которых тоже не ананасы растут, все картошка, рапс да овес. И училась бы Маня, крестьянская дочь, в университете города Острова, и была бы богатой невестой, и ездила бы на двдверной «панде», и спорила бы со своим другом о Шпенглере... если бы не то самое «хайлиге шайсе», в котором мы барахтаемся до сих пор.

А рядом, на соседних холмах, такие же хутора и густо рассыпанные поселки и городки. На наш восточноевропейский взгляд — тесно-

вато, скученно, негде отдохнуть глазу. Немецкая теснота, «гемютлихькайт». Нелегко переводимое слово, такие есть в любом языке: у португальцев — «саудаде», какая-то особая лузитанская печаль, у нас — конечно же, безразмерная наша «совесть». Хороший мой знакомый, немец, проживший долгие годы в Канаде, на старости лет все оставил там, вернулся домой, в Вестфалию: «Слишком просторно, немцу нужен гемютлихькайт». Уют? Нет, не то, Владимир Набоков, знавший толк в словах, аналога «геютлихькайту» не ищет, так и пишет в «Других берегах»: «Гемютные немецкие города».

Городок Бохум, где я теперь живу и работаю, — часть мегалополиса «Дортмунд-Boхум-Эссен», раскинувшегося на вестфальских холмах. Четких границ Бохум не имеет и очень плавно, гемютно перетекает в соседние города. Двух-трехэтажные бохумские дома — немецкой раскраски, оливковые, бордовые, лиловые и черно-серые, особый набор цветов, так вяжущихся со словом «Германия». Крыши покрыты темно-бронзовой черепицей фигурного профиля, которая превращает эту тяжелую архитектурную деталь в произведение штучной работы. Дома окружены вечнозеленой растительностью с мелкими лаковыми брусничными листьями. В траве, однако, не копошатся ни жучки, ни мурашки, мух и комаров тоже нет, все это немцы давно изжили. Знакомый мой с гордостью, как чрезвычайную редкость, показывал мне выросшую на его грундштуке поганку.

Стою на перекрестке, пережидая красный свет. Кругом все перенасыщено электричеством: стрекочет для слепых светофор, тикают счетчики на столбиках автомобильных парковок, призывно мигает зеленым глазком вделанный в стену противоположного дома гелдавтомат — денежная машина, где с помощью магнитной карты снять тысячу марок со счета так же легко, как получить стакан газированной воды. Высокорослый немец, стоя лицом к стене и набирая на клавиатуре гелдавтомата номер своего счета, не то что озирается, но затылком и плечами показывает: «Не подходи». И очередь (здесь тоже возникают очереди, но скользкие, дружелюбно молчаливые) стоит от манипулятора поодаль, в пяти шагах, чтобы, не дай Бог, не подсмотреть. Машины на стоп-линии, подрагивая, ждут своей минуты, водители и пассажиры глядят на меня испытующе: а вдруг этот дикий ауслендер шагнет на тротуар. В сияющем, до неприличия, новом «мерседесе» — две немолодые женщины с рязанскими лицами, похожие, как две картофелины: быть может, крестьянки, едущие на базар. Рядом — тусклый чуть старомодный «блю-бёрд», в нем рыжеватый блондин с впалыми щеками и волевым подбородком, как бы сошедший с плаката «Они гибнут под Сталинградом, чтобы Германия жила»; он пытливо смотрит в зеркало заднего вида, в руке у него электробритва, которой он сосредоточенно обрабатывает лицо. Рыжеватый в рубашке, при галстукe, синий пиджак на плечиках висит у него за спиной. Менеджер или страховой агент, весь в трудах и в разъездах. В соседней машине девушка прихорашивается за рулем, пудрит нос. У нее белокожее лицо с раскосыми темно-вишневого цвета глазами, которые, кажется, вот-вот спрыгнут с этого лица. Румяные губы, мелкокудрявые светлые волосы рассыпаны по плечам, как руно. Да я же ее знаю, и вы ее знаете — с Высокого Возрождения... Машина у ренессантки студенческая, дешевый «кадет», переднее крыло крепко помято, но это хозяйку, по-видимому, не печалит.

На перекрестке — происшествие, две «омеги» совершенно одинакового золотистого цвета нашли друг друга в городе и тюкнулись аккуратно, как это умеют делать только немцы. Хрустит оранжевый плексиглас, соучастники включают аварийные мигалки, вылезают из своих поруганных машин и, бросив беглый взгляд на место контакта, молча, как дуэлянты, идут на сближение. Ни жестикуляции, ни выкри-

ков: «Куда смотрел козел?» — «А ты куда пёр?» Здороваются, холодно констатируя: «Морген». — «Морген». Обмениваются страховочной информацией, советуются, кто пойдет вызывать полицию. Затем в ожидании властей стоят и мирно беседуют о погоде, о ценах на бензин. Никаких взаимных снисхождений: «Да ладно, все бывает, давай любовно, тут и работы на пару сотен, о чем разговор?» Подъезжает патрульная машина, из нее выходит полицейский в примятой фуражке, в белых штанах, в мешковатой и оттого особенно внушительной зеленой куртке. Подходит к соучастникам, они, не горячась и не перебивая друг друга, излагают каждый свою версию события. У одного в машине дама, она сидит, не двигаясь с места, и скучаяще смотрит в окно.

Вечер, дождик, туман, в компании старичков и подростков стою на автобусной остановке. Вдруг из тумана на бешеной скорости вылетает бело-зеленый полицейский «опель», визжит тормозами и, круто вывернув, становится поперек улицы. Над задним бампером у него светится сатанински-красная надпись: «Следуйте за мною, пожалуйста». Из кабины с пистолетами в руках выскакивают двое полицейских, один остался у распахнутой дверцы, другой подбежал к стоящей на стоп-линии «асконе», за шиворот выволок из кабины молодого водителя и, швырнув его животом на багажник, ловко застегнул на его запястьях наручники. Все продолжалось не более минуты — молча, без возгласов «Кайне фальше бевегунг:» («Не делать ложных движений!»), которыми, если верить детективным фильмам, полиция сопровождает каждый свой жест: задержанный, послушный, как тряпичная кукла, был препровожден в «опель», один из полицейских сел за руль его «асконы», обе машины рванули с места и понеслись. Ожидавшие автобуса граждане отнеслись к происшедшему более чем хладнокровно, один только я, по-видимому, проявил недоумение, потому что словоохотливая старушка принялась объяснять мне, что она сама видела, как молодой человек вон там, на соседнем перекрестке, проехал на красный свет. В таком тумане и в темноте, при всей дальновзоркости, вряд ли можно было что-нибудь разглядеть: старушка исходила из привычного убеждения, что полиция знает свое дело. При этом она еще прибавила: «Конечно, иностранец, все они ездят, как сумасшедшие». После таких слов мне с моим жалким немецким, который пугает даже крепких духом людей, оставалось лишь промычать что-нибудь невнятное. Я так и сделал, но, видимо, в моем мычании старушка уловила чужеземный акцент, поскольку она тут же, оскорбленно поджав губы, от меня отошла и после долго смотрела на меня с подозрением, пока не подошел наш автобус. . .

Автобус выполз из тумана, дыша теплом и комфортом, он с шипением присел на все четыре колеса, чтобы ступеньки оказались вровень с тротуаром. Вместе с другими я вошел, протянул водителю пятидесятимарочную купюру. «И это все мне?» — привычно пошутил водитель и принялся неторопливо отсчитывать сдачу, а люди за моей спиной терпеливо ждали. Моя иностранная сущность здесь обнажилась в полной мере: любому ребенку известно, что у этих иностранцев вечно не оказывается мелочи. Как ни парадоксально, немецких медяков у меня скопились целые килограммы — но только дома, в обувной коробке. Обратить их в купюры не так-то просто: надо сортировать по достоинству, сложить столбиками по десять монет и завернуть каждый столбик в специальную бумажечку, а потом отнести в банк. Немец до такого никогда не дойдет: он знает счет каждому пфеннигу и умеет вовремя пустить его в оборот. Скажем, в магазине: цена товара — девять марок девяносто девять пфеннигов (это буржуазные игры с покупателем, за десять марок он, чего доброго, не возьмет), и возле кассы немецкая хозяйка открывает свой кошелечек

и начинает считать медяки. Я превосходно знаю, что по-теперешнему, по-русски пфенниг стоит около четырех рублей, но мне известно также, что здесь, в Германии, на один пфенниг не купишь даже горелой спички, и я бездумно коплю медяки, а когда карману становится тяжело — сыпаю их в обувную коробку.

Общественный транспорт здесь фантастически дорог: если ездить городским автобусом каждый день, да не одному, а с женой и ребенком, — за месяц можно проехать тысячу марок, половину средней зарплаты «нетто», как говорят немцы (то есть чистой зарплаты, за вычетом налогов и прочих платежей). Сказать, чтоб автобусы при таких расценках делались из чистого золота, было бы преувеличением: тепло, удобно, как в самолете, в никелированные стойки вделаны кнопки, с помощью которых вы, не вставая с места, можете предупредить водителя о своем намерении выходить, — но, в общем, никакого неземного комфорта, за который бы стоило так дорого платить. Ездят на автобусе здесь главным образом пенсионеры и школьники, у них имеются льготные проездные билеты. В середине дня, когда деловой люд на службе, в Бохуме наступает час старушек: чистенькие розоволицые пенсионерки с фарфоровыми зубами и голубыми кудряшками как мотыльки слетаются на какие-то свои старушечьи бедня и заполняют автобусы, благоухая свежестью и переговариваясь стрекочущими голосами. Нестарому здоровому мужику среди них становится как-то не по себе, и однажды, когда я, сидя в автобусе у окна, тихо лелеял мысль о своей транспортной несостоятельности, ко мне подошла одна из старушек и строго потребовала предъявить аусвайс. В первый момент мне показалось, что и в самом деле началась какая-то социальная чистка, но потом я сообразил, что сижу на пенсионерском месте и обязан показать документ, подтверждающий мое право на эту привилегию. Что любопытно, в салоне автобуса было множество свободных мест, однако обратить внимание старушки на это обстоятельство я не решился — и, поскольку аусвайса у меня не было, предпочел постыдно бежать.

Полдень, самая весна, вишни в бохумских садах цветут неправдоподобно розовым цветом. Иду по Глюксбургерштрассе («Улице счастливых граждан», не на такой ли топонимике настаивала наша поэзия социалистической поры?), здесь располагаются пансионаты для престарелых, нарядные, просторные, утопающие в зелени и в цветах корпуса. За широкими окнами столовой проходит торжественное мероприятие: в светлом зале накрыт праздничный стол с цветами и сладостями, на почетном месте — седой юбиляр, рядом с длинным свитком в руках стоит оратор, читает, должно быть, шуточное поздравление, потому что старички и старушки беззвучно смеются и хлопают в ладоши. И кажутся они мне похожими на престарелых большевиков: так, во всяком случае, я представляю себе наши закрытые пансионаты для ветеранов однопартийного труда. Разница лишь в том, что здесь держат своих старичков не воротилы местного бизнеса и не бонзы христианско-демократической партии. Разумеется, для того чтобы обрести здесь пристанище, пенсионеру, не желающему быть обузой для близких (или не имеющему таковых), нужно сделать солидный денежный взнос. Но этот взнос, если человек трудился всю жизнь, уже наработан заранее, равно как заранее оплачена стоимость фарфоровых зубов и скромных стариковских радостей, вроде экскурсионных поездок на автобусе — в Париж либо, к примеру, в Мадрид.

Теплый вечер в середине зимы. В Москве, по сводкам, трескучий мороз, а здесь, в Бохуме, даже не осень. С неба сеется мелкий дождичек, но он настолько мелкий, что его можно не принимать в расчет. По залитой электричеством пешеходной Кортумштрассе не спеша про-

гуливаются горожане: парочками, семьями, с большими и малыми детьми. Останавливаются у витрин, подолгу стоят, сосредоточенно смотрят, пристреливаясь к товарам и ценам, потом задумчиво идут дальше. Юная парочка, оба в черных долгополых пальто, целуется посреди улицы, голос им был, чтобы прямо вот тут целоваться, остальные их бережно обходят. Кто-то ест на ходу, со вкусом, не торопясь, из картонной или пластиковой тарелочки, кто-то ведет отвлеченную беседу, успевая обмениваться приветствиями со встречаемыми парами. В такие вечера весь Бохум здесь, и все друг друга знают. Гуляющие идут, как по театральному фойе, соблюдая двусторонность и рядность. Да и сама Кортумштрассе не шире фойе, тротуары ее ровнее паркета, и если бы не широкие семейные зонты над головами, это чинное гуляние было бы совсем похоже на антракт в вечер премьеры. Тихие меланхолические звуки шарманки доносятся издалека, там по Кортумштрассе в самодвижущейся коляске медленно едет старичок-инвалид, шарманка у него пристроена к креслу. На углу девочка лет восьми тихонько играет на деревянной флейте, глаза у нее опущены, но вовсе не от стыда (чего здесь стыдиться, работает человек): из-под ресниц она следит за тем, какие монетки падают в коробку у ее ног. Вот тяжело ударились большая монета в пять марок, глаза у девочки блеснули, и голос флейты дрогнул. Всё как-то очень по-домашнему — и в то же время слегка театрально. Даже в приветственных возгласах встречаемых семейств слышится бодрая нарочитость. «Как, фрау Цубербиллер, вы тоже здесь? Прелестный вечер, не правда ли?» Фрау Цубербиллер радостно улыбается и, невольно подражая персонажам телевизионных рекламных клипов, жизнерадостно подхватывает: «А мы с мужем только что о вас вспоминали. Ну, разве это не удивительно?» Ей очень нужно, чтобы, расставшись с нею, знакомые говорили друг другу: «Какая она милая, всегда энергичная и веселая, эта фрау Цубербиллер, и муж ее держится молодцом!» Здесь, в этом холодноватом люминесцентном эдеме, не принято говорить о своих хворостях и печалях. И если бы милая фрау вдруг сказала, что в такую погоду у нее муторно на душе, знакомые были бы смущены, как будто она перед ними заголилась. Переговорив, обе пары в унисон выпевают прощальное «Чу-уз!» — и расходятся, чтобы продолжить свое кружение в лабиринте витрин.

Между тем приближается время покоя. Бохум затихает на ночь рано, в половине седьмого магазины один за другим закрываются, в окнах частных домов опускаются белые металлические жалюзи. Мне всегда казалось, что в само слово «Вестфалия» вставлены какие-то непрозрачные слюдяные окошечки. Продаются такие елочные игрушки: ледяной домик на веревочке, вроде бы с окнами — и без окон, не заглянешь вовнутрь. Впрочем, жизнь замедляется не сразу. Вот к видеотеке подлетает с откидным верхом «кабриолет», паркуется в неположенном месте, напротив выезда со двора, и, оставив дверцу непристойно распахнутой, из кабины выскакивает юнец с вдохновенно развевающимися волосами, длинный темный плащ распахнут, под мышкой у него, как томик стихов, видеокассета с ужасником: просмотрел — и спешит обменять на другой, просрочка стоит недешево, а дома ждет подруга, и весь вечер еще впереди. Вот по ступенькам супермаркета «Хилл» неторопливо спускается высокий худой господин в клетчатом пиджаке и в голубых мятых штанах, ботинки со стоптанными задниками — на босу ногу, у него бледное отечное лицо бёллевского героя, он прижимает к груди прямоугольную бутылку дешевого шнапса. Садится в серебристую (свежевыкрашенную и какую-то заспанную) «тоёту», преувеличенно плавно отъезжает. Что-то будет сегодня вечером в одном из ледяных вестфальских домиков с зашторенными белыми окнами, что-то будет. Но россиянина этим не удивишь.

Сынишка мой, возвращаясь из школы, делится впечатлениями. Мы отдали его в «реальшуле», в гимназию он идти не захотел, там требования жестче, а главное — по субботам тоже уроки. В школу он ходит с удовольствием, наращивает там свой немецкий — и стесняется, когда я в его присутствии заговариваю на «дойче шпрахе»: «Папа, ну папа, ты лучше молчи». Школа его — в точности как у братьев Стругацких в их завлекательных коммунистических утопиях: распахнутые двери, воздух, свет, полная свобода — и добрая воля учителя. Учительница биологии, молодая, раскованная, в мини-юбке, рассказывает детям о технологии производства детей. При этом она, закинув ногу на ногу, сидит на столе. Девчонки, естественно, хихикают, слушая ее смелый рассказ, мальчишки краснеют и потеют. На следующий день класс дарит учительнице маленького пластмассового трубочиста, нажимаешь ему на шляпу — поднимается увесистый член. Приняла подарок смеясь: удачная шутка. У нас бы о такой шуточке сто лет вспоминали на всех учительских конференциях, но то — у нас. Учитель труда собирает с ребят по пять марок на фанеру и пилки для лобзика: каждый должен выпилить движущуюся фигурку Пиноккио. А когда фигурки будут готовы, школа их выкупит у учеников — по цене десять марок за штуку. До таких воспитательных высот наша педагогика, похоже, еще не доросла. Дети здесь не забалованы ни одежкой, ни сладостями, ни карманными деньгами. Копят денежки по пфеннигу — кто на кино (радость здесь не дешевая), кто на мороженое в итальянском кафе. Мороженое будет, конечно же, фантастическое: не эскимо на палочке, а бокал полуметровой высоты, в котором целый букет из тропических фруктов и взбитых сливок. Во время перемен, выходя во двор побегать, поиграть в футбол, просто побеситься, ребяташки сдают свою мелочь дежурному — чтобы не растерять. Немцы — они такие.

Среди приятелей нашего сына есть и дети аусзидлеров, этнических немцев, переехавших в Германию навсегда. Живут они в «нотвонунгах» — лагерях для иммигрантов, вместе с турками, поляками, югославами, африканцами. Наши в большинстве из Казахстана и Средней Азии. Получают государственное пособие, старательно ходят на курсы немецкого языка (с которым большинство не в ладах), живут скученно, скудно, ссорятся, бывает что и дерутся, завидуют тем, у кого в Германии родители (а значит, поддержка и опора), с нетерпением ждут получения настоящей квартиры, ждать приходится несколько лет. Ребятишки, кто постарше, подрабатывают где придется — на бензозаправочных, в кафе, в спортивных залах, у богатых бауэров. Ходят стайками, по-русски между собою разговаривают вполголоса — и только если поблизости никого нет. Не узнать их, однако же, невозможно: выдают лица, застывшие, как у глухонемых, от постоянного напряжения, выдают пестрые спортивные костюмы, сидящие на них мешковато, как с чужого плеча. Жизнь им предстоит нелегкая: оправившись от ошеломления, вызванного переездом из города Джамбула в сияющий витринами Бохум, они оказываются перед языковым барьером, на преодоление которого уйдет не меньше пяти лет, а дальше — социальный барьер (своих вестфальских сверстников им уже не догнать), не говоря уже о стене отчуждения. Давно прошли те времена, когда Германия с распростертыми объятьями принимала всех пришельцев от туда. Теперь все чаще слышатся раздраженные голоса: «Да какие они немцы? Была у них в родне одна немка, да и та немецкая овчарка». Замутняют картину и иммигранты, едущие в Германию просто на шармака, с липовыми документами, а то и вовсе без таковых. «Вы представляете? Я летела в Германию по приглашению — и случайно, совершенно случайно захватила с собой метрики отца, а там написано, что он немец». Искателей убежища (в большин-

стве без каких бы то ни было оснований) приезжает сюда до двух тысяч в день.

В университетском кабинете у меня за спиной висит большая карта бывшего Союза. Ландшафтная карта, а какая еще? Административную не повесишь. Приходят немцы, любуются радужными переливами наших гипербореино-субтропических красок: «Что это такое? Новый способ решения национального вопроса?» Безобидная шутка. Да будь она проклята, эта национальная озабоченность, будь проклят национальный вопрос. Смотрят немцы на наши холодные просторы, вздыхают: «Я, Русланд ист зер гросс унд райхь, абер эс фельт ди орднунг» («Да, Россия велика и обильна, но порядку в ней нет»). Отношение к Русланду у немцев непростое, один мой немецкий коллега назвал это отношение даже патологическим. Я понимаю, что он имел в виду, и наше российское отношение к Германии я тоже назвал бы, чуть смягчив термин, болезненным: жив двуединный комплекс победы-поражения в кровавой войне двух кровавых систем. Какое-то то смещение в сознании происходит, когда над этим задумываешься: кто более виноват? кто кого победил? Заезжие лекторы из Русланда, нередко именитые, в угоду принимающей стороне договариваются до того, что, мол, напрасно вы, немцы, ту войну проиграли. У немцев этот тезис вызывает тяжелое недоумение: ну, можно ли так себя продавать? Однако элемент смещения дает о себе знать и в немецком сознании, особенно у молодежи. Студент мой в своем эссе пишет: «Ваша армия, обескровленная репрессиями, не смогла противостоять фашизму и была разгромлена». Вот так. И присутствие на территории Германии нашей «западной группы войск» не докажет ему обратного: для него это остаток разгромленной армии, попавший в Потсдамский котел.

Мы с немцами повязаны не только великой кровью. Связь многовековая, идущая из той туманной древности, когда немецкое слово «глас» вытеснило русское слово «глаза», через Ледовое побоище, в котором, если верить некоторым публикациям в нашей прессе, Александр Невскому тоже не следовало побеждать, через Петровские «кунсткамеры» и «зиккураты», через позднейшие «шлагбаумы» и «аншлаг», — но память о второй мировой войне сильнее, оттого что ближе. Никто из немцев не может быть к этой памяти равнодушным, даже тот мой ровесник Вольфганг, который с деланным безразличием пожимает плечами: «А что за комплекс вины перед Россией? Нет у меня никакого комплекса, я там не воевал». Один вспоминает, как его под руинами Кенигсберга отыскали широколицые редкозубые монголы, другая признается, что не может без слез слушать русские песни («Я плачу не оттого, что песня меня так трогает, я плачу оттого, что знаю: вот — это русские поют»), третий просит меня связаться с властями Смоленска: там в безымянной могиле обрел вечный покой его служивший в зондеркоманде брат...

Моя соседка, школьная учительница фрау Мартина, через свою церковную общину связалась с одной нуждающейся семьей в небольшом городе в русской глубинке (не стану этот город называть, он слишком мал, и все там на виду). Отправила посылку с одеждой и продуктами, собрала что могла. Живет фрау Мартина достаточно скромно, из ценных вещей у нее самой — попугай и фортепьяно. Имеется у нее и старенький «таурус», который фрау Мартина водит как-то очень специфично: то и дело эту злосчастную машину стучают в зад, а посылку денег на ремонт у фрау Мартини не имеется, она свой «таурус» выправляет сама, поврежденное же место зарисовывает яркими цветочками, ирисами и мальвами, весь багажник у нее расписан, как хохломской сувенир. В ответ на ее посылку из русской глубинки пришел запрос на джинсы для всех членов нуждающегося семейства,

я оказался в курсе переписки, поскольку письма из России переводил фрау Мартине с русского на английский (так мне сподручнее, тем более что английский фрау Мартина преподает), а ответы под ее диктовку печатал на машинке — на русском, естественно, языке. Джинсы были высланы — с извинениями, что не «рэнглер» и не «ливайс». Тогда поступила новая просьба — оформить приглашение на всю семью. Фрау Мартина растерялась: принять гостей она, конечно, могла, но о расходах на обратную дорогу в письме не было ни слова, а взять на себя такие нешуточные расходы она была не в состоянии. Вместо приглашения она отправила еще одну посылочку — и ни ответа, ни привета. В том, что посылочка дошла до адресата, фрау Мартина уверена: ее из рук в руки передавал пастор, достойный человек. «Наверно, обиделись, — говорит мне фрау Мартина при встрече. — Не могу я вас, русских понять. Все-таки вы — другие». Эти слова я тоже оставляю так, как они были сказаны, без каких бы то ни было комментариев.

Бохум, декабрь 1992 года.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. П. Кузичева

«ВАШ А. ЧЕХОВ»

(*Мелиховская хроника. 1895—1898*)

Слово «народ» так и мелькало в разгоравшейся полемике! Спорящие говорили от имени народа. Каждый не сомневался в своем знании крестьянской жизни и народной души. У всех были наготове рецепты спасения народа, а всякий, думающий иначе, зачислялся во враги. Не лично критика, но опять-таки народа.

Чехов отозвался лишь на статью М. О. Меньшикова в «Книжках Недели». Прочитав ее, он не сразу написал, но потом, в июньском письме, признался «Ваша статья о «Мужиках» вызвала во мне много мыслей, подняла в моей душе много шума, но я все же не собрался написать Вам, решив, что в письме всего не напишешь, что нужно говорить, а не писать».

Этот скрытый душевный шум, наверно, был вызван не столько высокой оценкой Меньшикова («...на крошечном пространстве талант сосредотачивает огромное содержание...»; «...поражает глубоким знанием предмета...», «Чехова я причисляю к великим авторам — что бы там ни говорили в литературных канцеляриях о невыслуге лет, о молодости автора для производства в генеральский чин... Если «Мужики» не явятся событием, делающим эру в беллетристике<...>, то причина этого будет заключаться не в произведении, а в обществе<...>. Рассказ г. Чехова — драгоценный вклад в науку о народе, из всех наук может быть самую важную...»). Он был вызван созвучием, согласием ощущений автора и читателя. За картиной одной деревни Меньшиков увидел «жизнь целого океана земли русской в подводных глубинах его».

В набросках Чехова, в записях на отдельных листах сохранилось то, что не вошло в произведения. Но было предназначено для повести, рассказа, пьесы. Одну из записей связывают с «Рассказом неизвестного человека». Однако она бросает отсвет на поздние записи. И на беглый рассказ об обеде в «Континентале» 19 февраля 1897 года («Обеда, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п. . .»). И на запись от 13 июля, об открытии школы в Новоселках: «Крестьяне поднесли мне образ с надписью. Земство отсутствовало». И на запись от 28 июля: «В редакции «Русской мысли», в диване клопы». Какие-то повороты, грани этого размышления постоянно обнаруживаются в записных книжках. Оно было, судя по всему, записано давно, но не оставляло Чехова.

Вот эта запись, страница, не пошедшая в рассказ и имеющая косвенное отношение и к спорам вокруг «Мужиков», и к меньшиковскому

Продолжение. Начало см. «Согласие», № 6-7, 8-9, 10-11, 12, 1992; № 1, 2, 4, 1993.

ощущению, что в повести угадано глубинное течение русской жизни: «Я думал, и мне казалось, что мы некультурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях, заплеснели совершенно и что пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы вместе взятые. И я думал, что если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах в шпионстве и пристрастии к рублю и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего! А запугивать общество, как мы это делаем теперь и будем делать, значит отнимать у него бодрость, то есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла. И я думал также, что прежде чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в зловещих старух и стариков и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустиим в нее клеветой».

Отзвуки этих размышлений слышны в ноябрьском письме к Немировичу-Данченко, после провала «Чайки». Они очевидны в некоторых скурых дневниковых записях. Душевный «шум», о котором Чехов упомянул в письме к Меньшикову, был внятн, конечно, только самому Чехову. Он обнаруживает себя, пожалуй, более всего в записных книжках, поэтому они заслуживают с этой точки зрения особого внимания.

В это время у Чехова есть новая записная книжка для текущих записей. В ней, по сравнению с предыдущей, которая служила Чехову пять лет, в основном следуют друг за другом деловые записи: рецепты, адреса, заметки для памяти. Редко-редко встретится запись, взывающая к тому или иному замыслу. Между двумя адресами вдруг строка: «Умер оттого, что боялся холеры». Может быть, кто-то упомянул о страхе перед этой болезнью. В чеховском изложении схвачена человеческая судьба. Чуть ниже, между двумя заметками на память, еще одна запись творческого характера: «Крыж(овник): Семейная жизнь имеет свои неудобства. Балкон, чайку попить». Потом в «Крыжовнике» эта фраза всплывет в словах Николая Ивановича: «Деревенская жизнь имеет свои удобства(…) Сидишь на балконе, пьешь чай(…)»

А далее в книжке идут снова имена знакомых, адреса, напоминания о встречах или обещаниях.

Однако у Чехова была еще одна записная книжка, куда он переносил записи творческого характера и которая, пусть отчасти, пусть по-своему, но передает течение потаенной душевной жизни Чехова. Правда, здесь есть одна трудность. Как установить, когда заносилась та или иная запись, если дат возле них нет? Лишь изредка Чехов обозначал число в этой книжке. Но есть одна малозаметная зацепка.

Летом 1897 года Чехов записал в обиходной книжке рецепт. Почему-то он перенес его и в главную книжку. И, судя по соседним записям, в это же время. Таким образом, отталкиваясь от едва ли не единственной записи личного свойства, можно определить, что перенес Чехов в эту книжку и что записал в ней до отъезда за границу.

Последняя творческая запись в обиходной книжке 1891—1896 годов: «Эти краснощекие дамы и старушки так здоровы, что от них даже пар идет». Она перенесена Чеховым в 1897 году в творческую книжку. Затем, судя по всему, Чехов просматривает предыдущие заметки в законченной книжке, выбирает некоторые и тоже переносит, но внося из-

менения. Теперь они выглядят так: «Имение скоро пойдет с молотка, кругом бедность, а лакеи все еще одеты шутами»; «Увеличилось не число нервных болезней и нервных больных, а число врачей, способных наблюдать эти болезни». И еще: «Чем культурнее, тем несчастнее»; «Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие то, что не нужно».

Все последующие после рецепта записи, видимо, сделаны летом 1897 года, вплоть до помеченных: петербургской, 27 июля, и сентябрьской, уже парижской.

В сознании Чехова, видимо, завязываются новые сюжеты, а процесс наблюдения, отбора не прекращается. Одни записи войдут в повесть «В овраге», другие в рассказы «Крыжовник», «Случай из практики», «В родном углу», «На подводе», «Новая дача», «Ионыч». Есть среди них свидетельства, что Чехов работает над продолжением повести «Мужики».

Таким образом, ни запреты врачей, ни спор вокруг «Мужиков» не замедлили творческого процесса. И пусть Чехов шутит в майском письме к В. Ф. Комиссаржевской, что по воле врачей изображает «нечто, похожее на театрального чиновника: ничего не делаю, никому не нужен, но стараюсь сохранить деловой вид», на самом деле сюжеты отнюдь не «киснули» в его голове, как он говорит Суворину. Не нарушает он в это время и свою заповедь: не писать для денег. Хотя вопрос о деньгах становится решающим.

Он отдает себе отчет, что едва начнутся дожди, из Мелихова надо уезжать. На русский юг или за границу. Жизнь на два дома стала неизбежностью. Просить у Суворина он не хочет, и когда тот стал звать Чехова с собою в заграничное путешествие, Чехов ответил: «Не искушайте». И добавил: «Я совсем не ленив и страстно жажду странствия, но что делать, если мой министр финансов такой импотент. Ехать же на чужой счет — в мои годы это неловко».

Облик и самочувствие Чехова в это время запомнил И. Л. Леонтьев (Щеглов). Он приехал в Мелихово 30 апреля, на один день. Дни стояли ясные, распустились бук и липа, зацвела вишня. Но дул ветер. Приятели сидели на скамейке возле дома, около цветника: «Я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове со времени нашего недавнего свидания в остроумовской клинике. Лицо было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый».

Запомнил Леонтьев (Щеглов) и слова Чехова: «Знаете, Жан, что мне сейчас надо? <...> Год отдохнуть! Ни больше, ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле. Пожить в полное удовольствие; когда вздумается — погулять, когда вздумается — почитать, путешествовать, бить баклуши, ухаживать... Понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать, как каторжный!»

Как литератор, Леонтьев (Щеглов) подметил, что Чехов вопреки недугу находится в таком творческом возбуждении, «когда особенно хочется работать», и потому почти с яростью описывает в воспоминаниях то, что увидел в Мелихове 1 мая 1897 года: «С раннего утра к нему забрался какой-то помещик, который сидел очень долго, потом явился земский врач, затем сельский батюшка, затем еще кто-то в военной форме — кажется, мелиховский исправник... Из окна отведенного мне флигелька было отлично видно, как к крыльцу скромного одноэтажного чеховского домика то подкатывала бричка, то деревенский тарантас, и как прислуга поминутно бегала через двор, из кухни в комнаты, с разной снедью и посудой, то накрывая на стол, то убирая со стола. А в маленькой проходной горенке, около чеховского кабинета, почти не переводились мужики и бабы — кто за делом, кто за пустяками, кто за врачебной помощью... И, в довершение несчастья, к зав-

траку свалился, как снег на голову, гость из Москвы — неведомый толстый немец, молодой и франтоватый . . . »

Он простодушно решил провести в Мелихове недельку-другую, но Леонтьев (Щеглов) увез его в Москву. Правда, из-за этого был вынужден уехать и сам, не зная, что больше он никогда не увидит Чехова. Запомнились ему смешная собака Бром, яркий цветник, вишневый сад в цвету и вопрос Чехова: «Что-то будет через семь лет? Теряем мы жизнь!» Чехов проводил гостей немного, а потом повернул к Мелихову, и оглянувшийся Леонтьев (Щеглов) увидел, как шел он, чуть сторбившись, опираясь на палочку . . .

Судя по дневнику П. Е. Чехова мемуарист соединил свои впечатления от двух мелиховских дней, но и на два дня такого числа гостей, дел и забот более чем достаточно здоровому человеку, занимающемуся только хозяйством.

Нет, Мелихово никогда не позволяло Чехову жить «как вздумает-ся». Поэтому прощание с ним началось, видимо, не только из-за обострившейся болезни. Во всей мелиховской жизни к весне 1897 года был явно нарушен баланс. Лечебная и общественная деятельность, от которых он не мог отказаться ни при каких условиях, стали занимать все больше времени и отнимать все больше сил. Пока они сокращали только время творческих занятий, Чехов надеялся совместить то и другое. За счет здоровья, ценою усталости, как когда-то во время сахалинской поездки. Но тогда он был моложе и поездка имела зримый конец. Мелиховские труды конца не имели и с каждым годом только росли. Так, в дни, когда Чехов готовился выйти из клиники, он был утвержден помощником серпуховского уездного предводителя дворянства по наблюдению за начальными народными училищами. Весной Чехов начинает помогать «Обществу взаимопомощи учащим и учащимся».

Мартовское кровотечение было «лопнувшей струной» в жизни Чехова, той катастрофой, которой он, наверно, боялся, но избежать не мог. Как в творчестве, так и в обыденной жизни он, если воспользоваться его собственными словами, гнул свою линию несмотря ни на что, не рассуждая о долге, о вине перед народом, ни разу не посягнув на знание народа. В отличие от тех, кто при жизни и после смерти Чехова до сих пор пеняют Чехову, сводят его с пьедестала, на который он сам не взбирался и над которым всегда иронизировал. Можно догадываться только, как отнесся он к телеграмме, отправленной Н. Д. Телешовым, И. А. Белоусовым и Н. А. Соловьевым-Несмеловым со станции Лопасня на пути в Крым: «Живите на радость родины своей, таких людей у нас не много».

Восстановить нарушенный баланс Чехов не пытался, даже вернувшись из клиники. Это было невозможно. И то, что наблюдал Леонтьев (Щеглов) два дня, было буднями.

В мае он занят строительством Новоселковской школы. Успокаивал Забавина, посылал за конопатчиками, печниками, каменщиками, закупал строительные материалы, ездил в Новоселки. В начале месяца был на экзаменах в Талежской, Чирковской и Михайловской школах. И опять стройка, стройка, стройка . . .

В начале июня сестра и младшие братья уехали отдыхать на юг. Между тем начинался сенокос и приходилось вникать в хозяйственные дела. Еще не закончилась новоселковская стройка, а Чехов, как о деле само собой разумеющемся, говорит, что намерен в будущем построить еще одну. Бывая изредка в Москве, он занят тем, что заказывает для школы стекла, краску и ищет деньги, чтобы рассчитываться с землекопами, каменщиками, плотниками. Денег нет, и даже гонорар за «Чайку», 740 рублей, пришел только после неоднократных визитов

Ал. П. Чехова в контору и чеховской телеграммы: «Покорнейше прошу выслать гонорар. Антон Чехов».

Как отнестись к чеховским письмам этого времени? Ведь он явно уходит от разговора о своем здоровье и постоянно подчеркивает, что чувствует себя неплохо: «Самочувствие у меня ничего себе»; «здоровье мое ничего себе»; «теперь чувствую себя недурно»; «чувствую себя прекрасно, я, кажется, совсем уже поправился». Здоровье, если судить по этим признаниям, чудом вернулось и Чехов здоров-здоровешенек. Свое «чудодейственное» излечение он доводит до заявления: «Здоровье мое великолепно». Чем объяснить эту уловку, очевидную даже для его корреспондентов?

Допустим, Чехов тем самым давал понять, что не хочет говорить о своем здоровье. Это было и неприятно, и ни к чему, и вообще не в его правилах.

Но та же картина и с рассказом о своей жизни: «ничего не делаю»; «ничего не делаю, обленился дурачки...»; «ничего не делаю и лишь изредка наведываюсь на постройку новой школы». Уехавшим родным он пишет нарочито легкомысленно и сообщает такие домашние новости: «У Брома и Хины роман кончился. Брому совестно»; «Розы цветут роскошно, изумительно»; «Нюка продолжает цвести все так же пышно и бесконечно». В каждом послании фраза: «Все обстоит благополучно». И опять шутки: «По саду бегают кошки». Когда он сам уезжал из дому, то посылал подробнейшие письма с кратким перечнем дел, с точными просьбами. А тут пишет какие-то дачные письма. Может быть, Чехов не беспокоил сестру, чтобы она отдыхала с легкой душой, снимал возможные укоры совести, что его оставили, в сущности, одного, потому что родители в хозяйственных делах были ему не помощники. П. Е. Чехов рассуждал, а Е. Я. Чеховой хватало забот с кухней, с соленьями, с припасами на зиму.

Он действительно был один. Настоящее его самочувствие и настроение вдруг, неожиданно сверкнув в отдельной строке и погаснут. Но они производят при внимательном чтении ошеломляющее впечатление.

4 июля Чехов признается Н. А. Лейкину: «У меня гостей — хоть пруд пруди. Не хватает ни места, ни постельного белья, ни настроения, чтобы с ними разговаривать и казаться любезным хозяином. Я отъелся и поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, т. е. я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать».

Гостей и правда было в Мелихове в начале июля много. Дети старшего брата Антон и Николай, М. П. Чехов с женой, художник И. Э. Браз, И. П. Чехов, Л. С. Мизинова, О. П. Кундасова, В. М. Чехов. Не считая тех, кто приезжал и уезжал в тот же день.

Чуть ранее Чехов, несерьезно описывавший свое житие в письмах к сестре, да и в других посланиях скупо открывавший течение мелиховских буден, вдруг, неожиданно, вне всякой внешней связи с предыдущим, пишет Суворину: «Урожай будет неважный; цена на хлеб и на сено растет. Болезней нет. Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихожу все более к заключению, что человеку порядочному и не пьяному можно жить в деревне только скрепя сердце, и блажен русский интеллигент, живущий не в деревне, а на даче».

Вот это «скрепя сердце» и ощущение, что надо самому что-то решать со здоровьем, кажется, выдают глубинное настроение Чехова. Жизнь в Мелихове, которую нельзя было изменить, не изменив себе, становилась самоубийственной. Он сам это ощущал остро и уже понимал, что прощание неизбежно, но домашним пока сказать не мог. У Чехова не было физических сил на переезд, на обустройство нового

дома. Не было и денег. Однако решение расстаться с Мелиховом, видимо, постепенно приходит именно летом 1897 года. И все последующее время, вплоть до осени 1899 года, это медленное расставание с Мелиховом.

Часть третья

1897—1898

Глава первая

ИЮЛЬ. АВГУСТ

Летом 1897 года Чехов смотрит на Мелихово как бы со стороны. И впечатление у него грустное: «Местность у нас некрасивая, унылая <...>, но зато не сыро, не бывает туманов...»; «Имение у меня не важное, не красивое, дом небольшой, как у помещицы Коробочки...»; «...местность, в которой я живу, самая скучная во всей России, и в моем доме нет ни одной хорошо освещенной комнаты».

Примерно так же Чехов говорил о мелиховском доме и пять лет назад («Дом и хорош, и плох <...> недостаточно высок, недостаточно молод, имеет снаружи весьма глупый и наивный вид <...>»; «Дом не из важных, но вполне культурный <...>»). Но тогда была надежда устроить его лучше, основательнее.

Однако первое впечатление тех лет от мелиховской будничной жизни («Хозяйство в малом размере — это длинные, нескончаемые разговоры о покосах, попасах, прогонах и выгонах, то есть о десятках рублей, о которых только говорят, но которых не имеют») оказалось верным. Недаром, видимо, летом 1897 года Чехов не раз вспоминает имение гоголевской Коробочки, да и себя сравнивает с нею. Но это горькая шутка, потому что знаменитых пестрядевых мешочков с целковиками, полтинничками и четвертачками у мелиховского хозяина не было. Только дома были похожи, узенькие дворики и фруктовый сад.

Если мелькающее летом 1897 года сравнение с Коробочкой навеяно было перечитыванием гоголевской поэмы, то, наверно, авторские отступления в этой главе были созвучны настроению Чехова и он мог с особым чувством читать строки: «Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову <...> Но зачем же среди недумаящих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо».

Примерно с такой интонацией Чехов упоминает о своей поездке в середине июля к С. Т. Морозову, где гостил Левитан: «На днях был в имении миллионера Морозова; дом, как Ватикан, лакеи в белых пикейных жилетах с золотыми цепями на животах, мебель безвкусная, вина от Лева, у хозяина никакого выражения на лице — и я сбежал».

Что подвигло Чехова на этот визит? Да, его звал настойчиво Левитан, который хотел повидаться с Чеховым. Но не было ли здесь подоплека, которая станет очевидной осенью 1897 года? Левитан, узнав о болезни Чехова, еще в начале мая спрашивал в письме из-за границы, не нужно ли Чехову денег. Видимо, уже тогда он предполагал обратиться к Морозову, если Чехову понадобятся деньги на лечение. Может быть, это и было скрытой причиной поездки Чехова. Но выражение

лица хозяина и весь антураж богатого дома остановили Чехова и он действительно сбежал, пробыв там всего один день.

Видимо, Чехов надеялся найти деньги иначе и прибегнуть к Морозову в крайнем случае. Он еще надеялся, что набежали деньги за продажу его книг, выпускаемых без конца Сувориним. Для расчетов, для уяснения реального положения надо было ехать в Петербург. Но он не мог покинуть Мелехово до освещения Новоселковской школы.

В эти дни, когда Чехов искал деньги на поездку за границу и когда готовился впервые на долгий срок расстаться с мелиховским домом, в Москве произошло событие, о котором впоследствии будут упоминать все историки русской культуры. 21 июня в ресторане «Славянский базар» в час дня начался разговор К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко о новом театре. Один из собеседников вспоминал потом, что имя Чехова он упомянул, но безо всякого особого значения: «Театром Чехова он станет потом, и совершенно неожиданно для нас самих. А Антон Павлович в это время, в лето 1897 года, закрылся от театра всеми допускаемыми средствами, от театра, от его друзей, от его дразнящих образов и слухов забронировался, как ему казалось, навсегда».

Малоизвестен историкам другой факт. В июне 1897 года в одесской газете «Театр» появилась статья «Новые веяния в драматической литературе». Автор ее назвал «Чайку» самым талантливым произведением в новом направлении драмы. Однако объяснить, в чем суть этого нового слова, к сожалению, не смог. Но что-то произошло важное в судьбе чеховской пьесы. Она, так быстро, после пяти представлений, сошедшая со сцены Александринского театра, еще не завоевавшая провинцию, тем не менее выжила и медленно входила в сознание современников. Некоторые из критиков уже писали, что потомки удивятся их слепоте и скандалу в день премьеры «Чайки». Интонация отдельных публикаций такова, словно авторы статей думали, что «Чайка» — минувшее, рядовое, хотя и скандальное событие в театральной жизни русской столицы. И вдруг обнаруживали, что сами возвращаются мыслями к ней, и зрители странным образом не забывают о чеховской пьесе.

Прав ли Вл. И. Немирович-Данченко, полагавший, что Чехов наглухо закрылся от театра тем летом, сказать трудно. Театр возникал в переписке с Сувориним, в письмах к В. Ф. Комиссаржевской, Е. М. Шавровой-Юст, в хлопотах по устройству еще одного спектакля любителей в Серпухове и т. д. Может быть, как и о здоровье, Чехов предпочитал не говорить о своих пьесах.

Но чужие пьесы он читал в это время, и 12 июля делился впечатлением от произведений Метерлинка: «Все это странные, чудные штуки, но впечатление громадное, и если бы у меня был театр, то я непременно бы поставил «Les aveugles»¹. Тут кстати же великолепная декорация с морем и маяком вдали. Публика наполовину идиотская, но провала пьесы можно избежать, написав на афише содержание пьесы, вкратце конечно; пьеса-де соч. Метерлинка, бельгийского писателя, декадента, и содержание ее в том, что старик проводник слепцов бесшумно умер, и слепые, не зная об этом, сидят и ждут его возвращения». В этом отзыве, конечно, пульсирует живая боль за «Чайку» и живой интерес к новой западноевропейской драме. И уже знакомое — «если бы у меня был театр...». Пока у него были тяжелые воспоминания и «неопределенное будущее».

Со всех сторон Чехова одолевали текущие дела, и прежние, и только что возникающие. Лишь после поездки к Морозову и до открытия школы (по сохранившимся источникам) Чехов был занят: строи-

¹ «Слепые» (франц.):

тельством школы; страховками крестьян за падший скот; ходатайством за земского учителя Плотова; газетами и книгами для И. Г. Витте, лечившегося за границей и скучавшего там. За эти же три недели к нему обратились со следующими просьбами: принять участие в благотворительном сборнике памяти В. Г. Белинского; посетить духовоборов на Кавказе, чтобы рассказать в прессе об их бедственном положении; приехать на собрание земских учителей; непременно быть в Угрюмове в связи с устройством медицинского участка; помочь девушке, не имеющей средств для учебы на фельдшерских курсах. И это только просьбы людей, хорошо знакомых с Чеховым, — М. О. Меншикова, М. Т. Дроздовой, С. И. Шаховского.

Результаты хлопот были разные. В июне Чехов просил васькинского священника Н. Ф. Некрасова помочь ему в одном непростом деле. Обратиться через благочинного, А. Серповского, к графине М. В. Орловой-Давыдовой. М. Е. Плов, учитель Щеглятьевской школы, где она была попечительницей, нуждался в лечении, а денег на поездку в Крым не было. Сам он стеснялся обратиться. Чехов помнил свои встречи с хозяевами имения «Отрада», когда он приезжал к ним в связи с угрозой холеры просить денег на бараки, на медицинские пункты в окрестных деревнях. Решил, что благочинному она не откажет. 9 июля Некрасов получил ответ Серповского: «Графиня Мария Владимировна знает нужды своих служащих. А посему, для нас нет основания просить за тех, кого она знает лучше нас. Пусть свой священник доложит графине о положении учителя».

Не очень удачными оказались хлопоты по открытию школы. Никто из земской управы не приехал. Может быть, остановили дожди, грозы, все эти дни бродившие над Мелиховом и Новоселками. Или какие-то другие соображения. Крестьяне поднесли Чехову образ, а он, как вспоминал М. П. Чехов, что-то смущенно и не очень складно говорил в ответ.

Осталась главная забота — деньги на поездку и на семью. Уже наутро Чехов писал И. М. Кондратьеву с просьбой выслать гонорар за постановку его пьес в России. На счету оказалось четыреста с небольшим рублей. Значит, поездка в Петербург неизбежна.

Чехов с нетерпением ждет, когда Браз кончит портрет. Работа не задавалась. Автор отменных салонных портретов никак не мог уловить облик Чехова, в чем признавались и другие художники, пытавшиеся писать Чехова. Если помнить о настроении Чехова, о том, что в это время непрекращавшийся кашель торопил его из Мелихова, то неудивительно, что портрет не удался. Браз хорошо схватывал и передавал внешность людей внутренне спокойных или равнодушных. Чехов был летом 1897 года душевно напряжен.

Правда, может быть, уловив, почувствовав его настроение, С. И. Шаховской в своих письмах особенно откровенен, 20 июля он писал Чехову: «Мне иногда бывает страшно жаль моих детей. Я боюсь, что они станут свидетелями еще худших времен. Ведь имели мы право думать, что после весны, объявленной во всех календарях России в 60-х годах, наступит мир, но свершилось что-то невозможное в природе, но возможное в России: после весны пришла зима, без лета и осени! Мерзко, мерзко на душе! Хотелось бы видеть другие времена, слышать другие песни певцов. Видеть одушевление в работе на пользу своего отечества, а не на преследование личных целей в общественных делах».

Из душевного равновесия князь был выведен поведением членов земской управы на недавнем заседании, их полным неуважением к присутствующим женщинам, земским врачам. Но особенно его огорчила встреча на освящении школы с Семенковичем. Шаховской не мог забыть, как однажды громогласный сосед отказался помочь деревен-

ской школе и вообще грубо высказался о школах для крестьянских детей.

Князь упрекал Чехова, зачем он пригласил соседа на торжество. И тут же, видимо, понимая, что унылая, тяжелая жизнь толкает его на мысли, от которых ему не станет легче, а от них уже недалеко до несправедливости, закончил письмо так: «Простите, в чем виноват. Вы, как художник и психолог — поймете мои мучения».

22 июля К. А. Голяшкин и В. Н. Семенкович вручали Чехову в Мелихове медаль, которую ему пожаловали за участие в переписи. Может быть, он вспоминал и письмо князя, если успел получить его, но свою досаду на земского начальника Чехов не мог забыть наверняка. Но это уже прошло.

Родным, судя по их воспоминаниям, казалось, что после возвращения из клиники Чехов стал раздражительнее. Они связывали его настроение с болезнью. В этих умозаключениях почему-то не упоминается, может быть, главная особенность душевного состояния Чехова летом 1897 года. Не только обилие гостей, неотложные дела, безденежье и нездоровье томили Чехова. Но то самое неопределенное будущее, которое мог определить один он.

22 июля после обеда Чехов, художник Браз и Л. С. Мизинова уехали в Москву. На следующий день Чехов был уже в Петербурге. Остановился он у Суворина. Тогда и состоялся разговор, занесенный хозяином дома в дневник.

Суворин запомнил сказанное Чеховым так: «... Дружба лучше любви. Меня любят друзья, я их люблю, и через меня они любят друг друга. Любовь делает врагами тех, которые любят одну женщину <...> Дружба такой ревности не знает. Оттого и в браке лучше не любовь, а дружба».

Суворин упомянул в записи, что Чехов отказался ехать с ним за границу сейчас. 26 июля, сославшись на то, что в таком случае ему придется вернуться, а потом опять ехать куда-нибудь из Мелихова на зиму. Но о денежных вопросах Суворин не упомянул в дневнике. Эту главную заботу Чехова сохранил дневник Н. А. Лейкина, к которому Чехов приехал в имение в Усть-Тосну с первым пароходом в 11-м часу утра. Однако Лейкин не пишет, как закончились хлопоты Чехова, вышла ли после расчетов с типографией «Нового времени» сумма, достаточная для предстоящей поездки за границу и на нужды мелиховского дома.

Мелочи, известные по письмам и дневникам, свидетельствуют, что Чехов был в плохом настроении. Уезжая от Лейкина, у которого он пробыл всего 4 часа, Чехов потерял на пристани пенсне со стеклами, с трудом подобранными для его глаз. Не совсем ясно, почему Чехов заторпился в Москву. Очевидно, с кем-то хотел встретиться.

Однако деловое свидание не состоялось. В письмах исчезают шуточные обращения и подписи. Всюду — очень короткое: «А. Чехов» или: «Ваш А. Чехов». И одинаковая концовка: «Желаю всего хорошего».

Такой стиль, как правило, соответствовал определенному настроению Чехова. Видимо, он был расстроен, сосредоточен на своих мыслях и искал выхода из нелегкой ситуации.

В Мелихове, как обычно, в начале августа началась пахота под озимую рожь. Пахали свои работники, никого не нанимали. Это, видимо, было не случайно. Вообще, внимательное чтение дневника П. Е. Чехова обнаруживает, что мелиховское хозяйство, действительно, было тяжелым бременем для Чехова. И не только для него. Оживление первых лет, переустройство имения, ощущение, что это навсегда, незаметно сменяется каким-то чувством усталости. Даже в летописи П. Е. Чехова год от года все меньше точных указаний, сколько было посеяно весной гречи, овса, ржи, чечевицы и сколько собрали осенью.

Наверно, если дотошный исследователь изучит наивную экономику П. Е. Чехова, он заметит, что хозяйство убыточно. К весне в доме не оставалось ни дров, ни овощей, ни кормового зерна. Приходилось покупать у соседей или выписывать из Москвы. Все словно утрачивают интерес к хозяйствованию, убедившись, что эта ноша им не по плечу и денег, добываемых единственным кормильцем его литературным трудом, не хватает ни на уплату основного долга, ни на прочный достаток. Предстоящая поездка Чехова предопределяет судьбу Мелихова.

Он, видимо, чувствует это и потому оттягивает решение, когда и куда поедет. То говорит, что сначала посетит Кавказ, лишь потом за границу на всю зиму. Потом этот план исчезает, но передвигаются сроки отъезда, все ближе и ближе к сентябрю.

Он кашляет — уже ощущается осень — и сам замечает в письме: «Даже в солнечной теплоте чувствуется уже что-то осеннее. И приятно, и немножко как будто грустно».

Слово «грустно» не характерно для Чехова, что бы ни говорили и ни писали о грустном, меланхоличном певце якобы осенних настроений и сумеречных ощущений. Это одна из самых устойчивых легенд о Чехове, сформированная еще его современниками. Схватывая лишь внешние признаки чеховских поэтических средств, многие критики и после «Мужиков» продолжали писать о Чехове как о художнике, воспевшем по преимуществу грусть, тоску и уныние.

В конце 1897 года анонимный автор газеты «Курьер» услышит в чеховских произведениях в основном «скорбные звуки», увидит «печальные образы». Чувство грусти называли «щемящим», «безнадежным», «скорбным», «меланхоличным» и т. д. и т. п. При этом одни попрекали Чехова этим чувством как клеветой на русскую жизнь, другие ставили в заслугу, считали верно понятым настроением. Третьи снисходительно отмечали его как признак якобы неглубокого, несильного таланта.

Но почти все почему-то думали, что грусть — свойство личности Чехова. Если бы они прочли августовские письма из Мелихова, они нашли бы в них подтверждение этому. Послания последнего летнего месяца, действительно, невеселы. В таком настроении Чехов был и во время последней июльской встречи с Л. С. Мизиновой, когда сказал ей, что уезжает надолго за границу. Она написала ему 1 августа: «Я должна же Вас видеть перед отъездом. Должна наглядеться на Вас и послушаться Вас на целый год. <...> Вы представить себе не можете, какие хорошие, нежные чувства я к Вам питаю! Это «настоящий» факт. Но не вздумайте испугаться и начать меня избегать <...> любовь моя к Вам такая бескорыстная, что испугать не может! Так-то, голубчик! <...> Право, я заслуживаю с Вашей стороны немного большего внимания, чем то шуточно-насмешливое отношение, какое получаю. <...> Это письмо разорвите и не показывайте Маше. Она вообразит, что я опять в числе поклонниц. <...> И пожалуйста, не истолкуйте меня не так, как надо. Ваша Л. Мизинова».

Чехов ответил ей через неделю. Он написал просто, коротко, закончив, как когда-то, в начале их знакомства, шуткой, но грустной: «Приезжайте же, не будьте ракалией, милая Лика, не заставляйте Вас долго просить. Ваш А. Чехов». 9 августа Лидия Стахиевна приехала в Мелихово.

В эти дни в Мелихове бывала художница Александра Александровна Хотяинцева, гостившая неподалеку. Она рисовала Чехова. Впоследствии Хотяинцева оставила воспоминания и среди них есть впечатления о летних жарких днях 1897 года: «Раз я рисовала флигелек Антона Павловича с красным флажком на крыше, означавшем, что хозяин дома и соседи-крестьяне могут приходиться за советом. Хозяин, разговаривая со мной, прохаживался по дорожке за моей спиной, и

неизменные его таксы: «царский вагон», или Бром, и «рыжая корова», или Хина, сопровождали его. Кончаю рисовать, поднимаюсь, стоять не могу! Моя туфля-лодочка держалась только на носке, а в пятку Антон Павлович успел всунуть луковицу!»

Она запомнила Чехова веселым и жизнерадостным. Приводила его слова: «И я, и Левитан не ценили жизни, пока были совершенно здоровы, теперь только, когда мы оба серьезно заболели, мы поняли ее прелесть! <...> В ходу были всякие домашние словечки, забавные прибаутки. Антон Павлович поддразнивал меня и, если я попадалась, — утешал:

— Говорить глупости — привилегия умных людей!

Себя называл Потемкиным:

— Когда я еду мимо церкви, всегда звонят, так было с Потемкиным.

Я усомнилась. Дня через два, рано утром, мы поехали на станцию. Проезжаем через село, равняемся с церковью — зазвонили колокола.

— Слышите?! Что я вам говорил? — И тут же спросил, неожиданные вопросы были ему свойственны: — А вы играли в моем «Медведе»? Нет? Очень приятно, а то каждая почти барышня начинает свое знакомство со мной: «А я играла вашего «Медведя!»

Хотяинцева не знала Чехова в молодости, не знала или, может быть, только слышала от М. П. Чеховой о летних месяцах в Бабкине, наполненных розыгрышами, шутками, молодым весельем. Теперь мало что располагало к особой, беспричинной радости. Эпизод с луковицей, видимо, запал в память потому, что скрасил тревожные дни. Вокруг Мелихова горели леса. Духота, гарь душили и днем и ночью. Как писал в дневнике П. Е. Чехов: «Жара тропическая, посев ржи сделали в сухую землю, «в пыль», что выйдет, неизвестно». В день именин М. П. Чеховой, 15 августа, гостей из Москвы не было. Приехали супруги Семенковичи, священник Н. Ф. Некрасов, учитель А. А. Михайлов и французенка (гувернантка в семье васькинских дачников). Из родных был только В. М. Чехов, двоюродный брат из Таганрога, уже давно гостящий в Мелихове.

С внешней стороны шла обыкновенная мелиховская жизнь: большие, крестьянские дела, земские дела, и только 19 августа наконец принято решение: ехать в Биарриц, а потов Ниццу. Еще две недели назад Чехов говорил, что пока не устроил свои денежные дела. Так что же, теперь они устроены?

В письмах об этом ничего нет. Остается только предполагать. Например, допустить, что выбор зимнего местожительства и разрешение денежных дел могли быть связаны с приездом в Мелихово 19 августа И. И. Левитана и Л. С. Мизиновой. Как выяснится позже, осенью, Чехов согласился с их настойчивыми советами взять займы у кого-либо. Левитан, естественно, имел в виду С. Т. Морозова, Мизинова предлагала хлопотать через Ольгу Петровну Кундасову.

Кундасова, давняя знакомая семьи Чеховых, была небогата. Чехов сам организовывал тайный заем для нее у Суворина и еще нескольких людей, знавших Кундасову, и ей выдавали из этой суммы, не называя имени мецената. Но по делам благотворительности она была связана с богатыми людьми. Видимо, на это и рассчитывала Мизинова.

Так не уговорили ли Левитан и Мизинова согласиться Чехова с этой спасительной, как им казалось, идеей именно в эти пасмурные дни? Может быть, Чехов, желавший закончить неприятный разговор, разрешил им начать хлопоты, потому что ждать было уже нельзя. Подступала осень, а из книжного магазина «Нового времени» денег еще не прислали.

Их выслали именно в этот же день, 19 августа, 1700 рублей. Но то ли Чехов не смог, забыл предупредить Левитана и Мизинову, что надобность в займе отпала, то ли предположил, что разговор был несерьезным. Потом это обернется для Чехова неприятными минутами.

Видимо, 22 августа Чехов уже знает о высланной сумме, потому что определенно пишет Суворину, что в конце августа выезжает, но еще нет билета, а 23 августа едет в Москву и возвращается в этот же день вечером. И уже теперь всем говорит и пишет, что 1 сентября, в понедельник, он выедет из Москвы в 6 часов вечера спальным вагоном.

До отъезда оставалась неделя. Прежде всего Чехов приводит в порядок все финансовые обязательства. Он посылает в Серпухов, в земскую управу, все счета по школе в Новоселках. Она обошлась в 3200 рублей, из них тысячу дало земство, остальное, как пишет он С. И. Шаховскому, «пожертвовано частными лицами». Переправляя эти счета Н. И. Забавину, который повезет их в Серпухов, Чехов уточнит: «За училище мы никому не должны ни одной копейки».

В эти дни Чехов отправил в Таганрог еще одну партию книг и объяснил Иорданову, куда ему теперь следует писать. Конечно, были оставлены все распоряжения сестре относительно денег: каждое первое число она будет получать из книжного магазина Суворина по 200 рублей. К тому же ей пришлет деньги из Петербурга Ал. П. Чехов, гонорар за постановку чеховских пьес на Александринской сцене. И еще: по распоряжению, которое Чехов отправит уже из Ниццы, сестра получит гонорар от Кондратьева, секретаря Общества русских драматических писателей и оперных композиторов.

В последние августовские дни Чехову пришлось надписать много книг. Двоюродному брату, уехавшему домой; учителю Н. И. Забавину, И. И. Левитану («Знаменитому Левитану от великодушного автора. Утро 22/VIII.97. Кричат грачи. Мелихово»); А. А. Хотяинцевой.

В день отъезда Чехова, в воскресенье 31 августа, дожда не было. Небо прояснилось. В 8 часов утра Чехов выехал в Москву.

Как прошел предотъездный день, почти неизвестно. Кажется, затевался обед в ресторане дружеской компанией: Л. С. Мизинова, В. А. Гольцев, М. А. Саблин. Были написаны последние письма, выполнены последние обещания.

Вечером Чехов покинул Москву.

Глава вторая

ФРАНЦИЯ. ОСЕНЬ

Можно было бы сказать, что он покинул Россию, но такая фраза, верная по существу, была бы фальшивой по своему тону и не совсем точной по смыслу. Отныне и на много месяцев, до поздней весны следующего, 1898 года, Россия, Мелихово займут мысли Чехова как никогда. Тому будет несколько причин.

В Париж Чехов приехал утром 4 сентября. На вокзале его встретил И. Я. Павловский. Остановился он в той же гостинице, где уже жили Суворины. Днем он был занят покупками, а вечером побывал в парижских кафешантанах. Несколько фраз Чехов уделил в письмах «Мулен Руж», о двух других — «Кафе небытия» и «Небесное кафе» — не обмолвился ни словом. Заметил в целом: «Город любопытный и располагающий к себе».

Обычно те, кто бывал в этих местах, говорили и писали потом о сильном впечатлении от экзотических парижских кабачков, где посе-

тителей, например, встречали словами: «Принимайте трупы... О, как смердят!» Или сопровождали кружку пива напутствием: «Отравляйтесь, это плевки чахоточных!»

Заграничные впечатления Чехова, оставшиеся в письмах, в воспоминаниях и дневниках его современников, по-своему доказывают напряженность внутренней, сосредоточенной работы в сознании Чехова, что некоторые принимали за равнодушие к галереям, памятникам архитектуры, шедеврам живописи. Уже при жизни Чехова это мнение с легкой руки некоторых спутников Чехова бытовало в кругу его знакомых. И досаждало ему. Еще в 1891 году он дважды не выдержал и в косвенной форме упрекнул за это мнение Суворина: «Но желательнее было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю желенную о том, что будто за граница мне не понравилась? Господи ты Боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся об этом. Мне даже Болонья понравилась. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами?»

Более прозорлив оказался Максим Максимович Ковалевский. Юрист, социолог, историк, он жил во Франции после того, как его уволил в 1887 году из Московского университета, где он читал лекции. Изгнали его, как писал Чехов, «за вольнодумство». Познакомившись с ним в первые же дни ниццкого жития, Чехов написал о нем сестре: «Это интересный, живой человек; ест очень много, много шутит. Смеется заразительно — и с ним весело». Они будут встречаться и после зимы 1897—1898 годов, и однажды окажутся в Риме. «Мы вышли вместе из собора св. Петра, где при нас происходила довольно пестрая процессия «выкуривания следов карнавала», — вспоминал Ковалевский. «Для беллетриста, — заметил я ему, — виденное не лишено некоторой прелести; хорошая тема для описания». — «Нимало, — ответил он мне. — Современный рассказчик принужден был бы довольствоваться одной фразой: «Тянулась глупая процессия».

Тогда же, в январе 1901 года, меж ними состоялся разговор в купе поезда: «Нам обоим не спалось. Мы разговорились о своих планах и надеждах. «Мне трудно, — сказал он, — задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка». И тут же Ковалевский в своих воспоминаниях уточняет, что несмотря на это знание Чехов был чужд мрачности, мистицизма, сентиментальности, что этого всего не было в личности Чехова. Об этом писали И. А. Бунин, А. И. Куприн.

Бунин, ближе познакомившийся с Чеховым в ялтинские годы, вспоминал, что наедине с ним Чехов часто смеялся, шутил, выдумывал нелепые прозвища. «Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной тарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина!»

Именно Бунин запомнил, что думал сам Чехов об эпитетах, обычно сопровождавших его имя в печати: «Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый мой любимый рассказ — «Студент». И слово-то противное: «пессимист».

От себя Бунин добавил: «Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «большим та-

лантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку...». Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Но что чувствовал бы он, читая про свою «бодрость», призывы к активному переустройству мира и мажорные интонации! Однако и такое писали о Чехове в двадцатом веке.

И вот что любопытно, «равнодушным», «грустным» или «бодрым» Чехов остался не только в отзывах критиков или трудах исследователей. Но таким Чехов остался в памяти некоторых современников, знавших его и утверждавших то, что им увиделось в личности, в поведении, в облике Чехова. Одному он мог показаться сдержанно-отчужденным, другому поэтично-сентиментальным, третьему жизне-радостно-оживленным.

Наверно, дело было не только в самих этих людях, разных и видевших Чехова не в одном и том же состоянии и настроении. Может быть, секрет в одной особенности его личности, действительно отражавшейся и в облике, в поведении, в манере общаться с людьми и в его творчестве. Ее подметил И. А. Бунин. Это своеобразный расчет на собеседника, который уловит переходы в скрытом течении чеховских мыслей. Чехов говорил просто, кратко и главное. Все остальное зависело от собеседника. Удовольствуется ли он этим или услышит то, что осталось за высказанным.

Но такова была и манера общения с читателем, о чем Чехов говорил сам, настаивая на том, что его дело отличить важные показания от неважных и умело передать их, что он рассчитывает на читателя и т. д. Конечно, такой разговор не прост ни для собеседника, ни для читателя. Восполняя переходы, добавляя недостающие субъективные элементы, каждый исходит из своего опыта, взгляда на мир. Наконец, из своего настроения. Поэтому, наверно, Чехов оказался неуловимым как личность для современников и даже для родных и близких. И поэтому он как писатель неисчерпаем. Каждый договаривает, дочитывает по-своему. И чем точнее, глубже угадано скрытое течение чеховских мыслей (в его письмах, в его произведениях и беседах), тем оно дальше от однозначных определений и оценок.

Неуловимость Чехова не в его пресловутой, общепризнанной скрытности. Но в напряженной работе сознания. Это неуловимость постоянного душевного движения. Что быстрее всех поняли художники, которые чувствовали, что не могут писать портрет Чехова.

Однако самому Чехову такая особенность не облегчала, а затрудняла жизнь. Такие собеседники, как Бунин, были редкостью в его жизни, как и такие зрители, как А. Ф. Кони. Кажется, и на отношения с Сувориным, на постепенном и неуклонном их расхождении сказались не только знаменитое дело Дрейфуса и вечные материальные недоразумения с книжным магазином «Нового времени». Но вместе с тем и то, что в понимании Сувориным Чехова, в толковании его творчества Суворин, условно говоря, достиг потолка. То, как он понимал теперь переходы чеховской мысли, то, какие добавлял субъективные элементы в чеховские произведения, искажало мысль автора, затемняло смысл чеховского творчества. Поэтому во всем, что будет писать Суворин о пьесах Чехова на рубеже столетий и в начале века, не так просто. И не одна обида, претензии, но и раздражение Сувориная, что Чехов уходит куда-то дальше и становится непонятным, странным. Однако признаться в этом Суворин, видимо, не мог, посему подыскивались понятные причины и объяснения от личного свойства до идеологии. Расхождение началось давно, но заграничные письма, встречи и общественные события зимы 1897—1898 года ускорили его. Расставшись с Суво-

риным в Париже, Чехов уехал в Биарриц, и его письма оттуда и потом из Ниццы передают оттенки и переходы отношения Чехова к Суворину, который перестает быть для Чехова главным собеседником. Если бы сохранились суворинские письма, то, наверно, они раскрыли бы этот процесс со своей стороны.

Чехов теперь в основном передает отдельные факты своего бытия. В первом письме из Биаррица он рассказал, как его встретили Василий Михайлович Соболевский, редактор газеты «Русские ведомости», и Варвара Алексеевна Морозова, его невенчанная, или как говорили, гражданская жена. Остановился Чехов в отеле «Виктория».

В первые дни Чехов много ходил по городу, когда переставал лить дождь.

Вставал Чехов и здесь по привычке рано. Он, «малоежка», дивился обилию еды, подаваемой постояльцам отеля. Как всегда, пил по утрам любимый кофе.

Едва установилась теплая погода, Чехов часами сидел на берегу океана, слушал его шум и наблюдал курортную толпу: «Платья, разноцветные зонтики, яркое солнце, масса воды, скалы, арфы, гитары, пение — все это вместе взятое уносит меня за сто тысяч верст от Мелихова». Так он описал Хотьяинцевой свою жизнь в Биаррице. В нескольких коротких фразах нарисовал бой коров в байонском цирке: «Пикадоры-испанцы сражались с коровами. Коровенки, сердитые и довольно ловкие, гонялись по арене за пикадорами, точно собаки. Публика неистовствовала».

В первых письмах Чехов упоминает дешевизну заграничной жизни. Он, видимо, примеривается, насколько ему хватит суммы, которой он располагает, а все сообразив, просит В. А. Гольцева перевести ему по телеграфу тысячу рублей. Судя по тону всех последующих писем Гольцеву и Лаврову, это не аванс в счет будущих произведений для «Русской мысли», а расчеты за прежние публикации. А если даже аванс, то без определенного срока, так как, обещая рассказ, Чехов упоминает об этом спокойно, без чувства вины или невыполненного обязательства.

Но в сентябре его планы и расчеты заколебались еще до того, как ему перевели эту тысячу рублей. В ответ на свое письмо Чехов получил от Гольцева телеграмму, что заведующий редакцией И. Ф. Климов и В. М. Лавров, редактор-издатель, отсутствуют.

Чехов получил телеграмму 20 сентября и, так как из-за плохой погоды собирался перебраться вместе с Соболевским в Ниццу, отправил Гольцеву ответную телеграмму с просьбой выслать деньги туда.

Видимо, в этот же день Чехов послал телеграмму И. И. Левитану с какой-то просьбой, оговоренной еще в Мелихове. Если в августе он, видимо, колебался, обращаться ли к С. Т. Морозову, то, может быть, неопределенность с деньгами из «Русской мысли» подтолкнула к этой телеграмме.

Несколько раз в жизни Чехов попадал в такие затруднительные положения. Можно заметить, что неизбежность просьб о ссуде, авансе совершенно выбивала его из колеи. Он даже терялся и принимал решения, в которых потом раскаивался и долго не мог их забыть.

21 сентября Левитан ответил письмом, что на днях Чехову будут высланы 2000 рублей, по ходатайству Левитана одолженные С. Т. Морозовым без векселя и твердых сроков возврата. Домой Чехов писал, что у него все в порядке. Только в письме к Л. С. Мизиновой обронил слова: «Дела мои не важны — в том смысле, что, кажется, я уже начинаю тосковать по родине». Из дома писем не было.

Но первое письмо, пришедшее в Ниццу от сестры, усилило настроение, неизбежное вдали от дома на первых порах и связанное с материальными затруднениями. Сестра писала, что у нее осталось мало

денег и она не знает, «как их нужно доставать». Чехов немедленно ответил. Заодно сообщил свой новый адрес: Ницца, Русский пансион. 30 сентября М. П. Чехова снова пишет брату, что деньги, оставленные Чеховым, тают, но брату возвращаться не стоит из-за этого, так как, по ее словам: «Дома еще больше денег будешь тратить, непременно затеешь еще какую-нибудь постройку!»

Получив это письмо, Чехов отправляет 6 октября два письма по московскому адресу сестры и в Мелихово. О себе вскользь, уже после подписи: «Деньги у меня есть; пока ни в чем не нуждаюсь, и мне известно, что я мало оставил дома». Он полагает, что после всех его распоряжений сестра не будет испытывать недостатка.

7 октября П. Е. Чехов пишет сыну письмо и среди всех новостей упоминает о том, что денег до сих пор нет. К моменту, когда это письмо дошло до Ниццы, Чехов наверняка уже получил послание Я. Л. Барскова от 4 октября. К нему обратилась, вероятно, О. П. Кундасова. И выбор этот был неудачным во всех отношениях. Действовала Кундасова из самых добрых побуждений, но надо знать ее, чтобы не подивиться этой услуге, стоившей Чехову минут стыда и невольного унижения.

О. П. Кундасова, как и Мизинова, Дроздова, Хотяинцева, была приятельницей М. П. Чеховой. Они познакомились на курсах Герье. В чеховском доме она тоже быстро получила свое шутивное прозвище — «бестурнирная». Она занималась математикой, астрономией. Отсюда ее другое прозвище в письмах Чехова — «астрономка». Считается, что Кундасова отчасти послужила прообразом Рассудиной из повести «Три года». Какие-то ее черты есть в этой героине. Из воспоминаний, беглых заметок в письмах рисуется несколько иной облик. Человека не ординарного, даже странного. В малых дозах вполне приемлемого, интересного, вызывающего уважение своей привязанностью к близким, своим бескорытием. В больших дозах все-таки утомительного, потому что за шумными выпадами, заверениями вдруг следовали странное поведение, какой-то паралич воли, как говорил Чехов.

Не привычка «изумительной астрономки» রাখা রাখা руками и лихо выражаться удивляли в ней Чехова. Но бесконечные планы, перемещения по России без видимой цели. Она, конечно, не шокировала Чехова громким смехом, топаньем ногами или стуком кулаками по столу. От этого замирали только домочадцы Суворина, когда Кундасова появлялась там. Чехов, видимо, с первых лет знакомства услышал в рассуждениях о пошлых мужчинах, о том, что она живет другими чувствами, обыкновенное человеческое желание личного счастья. Но Чехова настораживало и огорчало, что в хорошем, умном человеке все пропадает зря. И однажды, в 1891 году, он, похвалив ее за обширнейшие знания, за хорошую логику и большой здравый смысл, не удержался от резкого сравнения, сказав, что у нее «нет руля около задницы, так что она плывет, плывет и сама не знает куда». Еще он говорил о ней — «шальная голова», «курьезная особа».

Долгое время Чехов надеялся, что энергия, знания дадут результаты. Но с годами чувствовал, что все ушло в пустоту. И ему уже было порой скучно с умной Ольгой Петровной, потому что бывшие высокие рассуждения стали иногда походить на обыкновенные сплетни, а вместо трезвого взгляда на себя начались поиски противников, чьей-то интриги и т. д. Жизнь ушла на подготовку к жизни.

Было что-то общее в судьбах Л. С. Мизиновой и О. П. Кундасовой. Обе были наделены способностями, а распорядились ими дурно. Только Лика признавала в конце концов, что дело в ней самой. А Кундасова ссылаясь на трудности. Самолюбие утомляло и старило до времени ее самою, и смех все чаще походил на истерику. После 1894 года Чехов стал говорить о ней искренне и с сожалением «несчастливая астрономка»

и организовал материальную помощь Кундасовой от небольшого круга лиц. Он распознал признаки душевной болезни или той грани, за которой она начинается.

К сожалению, чеховские письма к О. П. Кундасовой утрачены. Она говорила в конце своей жизни, что уничтожила свой личный архив. Может быть, эти письма унесли с собой доказательства, что именно Кундасова в 1897 году обратилась к Я. Л. Барскову о займе для Чехова.

Барсков написал Чехову за границу, и можно представить, что испытывал Чехов, читая длинное послание редактора «Детского отдыха». Он писал, что знает и любит Чехова, что «приятно и лестно» быть полезным такому человеку, что он не посягает на особую благодарность и т. д. А после всех заверений Барсков подробно, не понимая, что он этим невольно задевает Чехова, рассказал, как обращался к различным людям с просьбой выручить «достойного человека» и что ему отвечали. Барсков резонерствует по этому поводу, а потом предлагает свою помощь — высылать через два-три месяца по 200—300 рублей. Но опять-таки как бы полупредлагает, переводя разговор на богатых людей: «Все, что я пишу, остается и останется между нами. Если приходилось упоминать Ваше имя, то я шел прямо от Вашей литературной известности, и от последних журналов и газетных известий». То есть называл имя Чехова и ссылался на известия о его болезни.

Но и это еще не конец: «Неведение Вашей воли, Ваших планов и дел не дает мне возможности обращаться к «тузам» — вроде Морозовых, Мамонтовых, Солдатенковых и др. Очень возможно, что Вы предпочитаете обратиться к Суворину или Лаврову, с которыми имеете деловые отношения, нежели к российским меценатам. Дело — дело и есть, а «меценат» наполовину все же Кит Китыч Колупаев...» Пройдясь по «меценатам», Барсков прощается: «Еще раз простите, что полуизвестный Вам человек решился писать так много прежде, чем что-нибудь сделать. Если я не пригоден в данную минуту, не пригожусь ли впоследствии...»

Барсков, конечно, не мыслил ни обидеть, ни тем более задеть достоинство Чехова. В самом письме ощущаются какие-то личные переживания Барскова. Видимо, Чехов почувствовал это, потому что его ответное письмо искренно и спокойно. Но, может быть, получив послание Барскова, Чехов пожалел, что послал телеграмму Левитану и согласился взять займы у Морозова, что в истории с деньгами приняла участие О. П. Кундасова. Он мог понять, что его безденежье становится известным уже не нескольким знакомым, а достаточно широкому кругу лиц. И вот эта мысль, видимо, была неприятна, потому, что во всем, что касалось его личной жизни, он был более чем щепетилен. Достаточно вспомнить туманный намек Л. А. Авиловой на сплетню и как Чехов ответил ей на это. Или выговор М. П. Чехову в связи с телеграммой Суворину.

Через три недели, когда уже пришли деньги от Морозова, Чехов написал Л. С. Мизиновой, попросив никому не говорить об этом: «Лика, милая Лика, зачем я поддался Вашим убеждениям и написал тогда Кундасовой? (<...> если бы не Ваши настоятельные требования, то, уверяю, я ни за что бы не написал того письма, которое теперь желтым пятном лежит на моей гордости (<...>»

Не успел очнуться от письма Барскова, как получил две тысячи рублей от левитановского Морозова. Я не просил этих денег, не хочу их и прошу у Левитана позволения возвратить их в такой, конечно, форме, чтобы никого не обидеть».

В день, когда Чехов ответил Барскову, он решил и вопрос с деньгами для домашних (назавтра он выслал сестре 1000 франков, то есть 366 рублей) и более к нему не возвращался. Книжный мага-

зин регулярно высылал деньги, прислал гонорар из Петербурга Ал. П. Чехов. Домашние были обеспечены.

Со временем, в декабре, Чехов вернет долг Морозову, и осенняя неурядица с деньгами отойдет в прошлое, оставив свой след. Она внесла некоторую тревогу в первые недели жизни Чехова в Ницце. Постепенно все стало входить в колею.

В Ницце было тепло. Дом, в котором жил Чехов, по воспоминаниям тех, кто бывал там, располагался недалеко от главной улицы. Моря из его окон не было видно, высокие соседние дома загораживали вид на горы. Сам Чехов писал, что улица эта «узкая, как щель, и вонючая. Барыни стесняются жить здесь, говоря, что стыдно приглашать знакомых на такую улицу». Комната оказалась просторной, светлой. Пол был застлан ковром. Небольшой стол, камин и широкая кровать придавали всему гостиничный вид.

Дни складывались однообразно. Рано утром Чехов пил кофе. Потом, забрав газеты, читал их в тени на Английском бульваре. От солнца Чехов купил себе соломенную шляпу. Если задувал ветер или холодало, он ходил в летнем пальто. На завтрак в пансионе подавали зелень, яичницу, бифштекс, соус, сыр, фрукты. В половине третьего — большую чашку шоколада. В половине седьмого был обед. Обед угнетал Чехова обилием: щи, пироги, мясо, борщ, рыба, птица, соус, зелень, фрукты. В дни, когда показывалась горлом кровь, он не ел ничего горячего. Вечером в пансионе предлагали чай с бисквитами. Все это обходилось Чехову в 70 франков в неделю, то есть 100 рублей в месяц.

После 3 часов пополудни Чехов старался не выходить из дому. Во двор часто заходили музыканты, он слушал их пение. Для этого у него всегда были заготовлены монеты в 10 сантимов. Спать Чехов ложился рано и старался здесь не изменять этой привычке. Особенно в дни, когда начиналось кровохарканье. В этом он признался только Сувориным. Кровь показалась в середине октября. В это время Чехов работал над рассказом для «Русских ведомостей». Домой он писал: «В Ницце у меня ни разу не показывалась кровь (<...>)». Наверно, Чехову хотелось верить, что тепло поможет. Недаром он даже обронил в одном из писем: «В Ницце буду жить каждую зиму».

На бульварах и главных улицах Ниццы было шумно, весело. Играли оркестры, нарядная толпа не иссякала. Благоухали цитрусовые деревья, цвели олеандры. Солнце, как говорил Чехов, «сладко греет, но не жжет». Правда, были досадные обстоятельства. Ночью кусали комары, мешали спать, а после их укусов на несколько дней вспухала шишка. Этаж был для Чехова высоковат, и при первой возможности, в ноябре, он перебрался ниже. Но более всего Чехова раздражали соотечественники, жившие в пансионе. Сойдясь к завтраку и обеду, они утомительно мыли кости ближним и дальним, самозабвенно, и так и эдак возвышали себя в глазах окружающих, принижая все и вся. Через два месяца Чехов скажет о них: «Смотрю я на русских барынь, живущих в Pension Russe,— рожи, скучны, праздны, себялюбиво праздны, и я боюсь походить на них, и все мне кажется, что лечиться, как лечимся здесь мы (т. е. я и эти барыни),— это противный эгоизм».

Чехов не сразу принял решение зимовать в Ницце. Сначала он колебался из-за материальных обстоятельств, боялся скуки, однообразия. Удерживала и мысль, что здесь, в Ницце, он не сможет работать, за чужим столом, в непривычной обстановке. А не работать он не мог. Вот почему сроки долго были не определены и все планы начинаются со слова — «если» и «может быть»: «Если не буду работать, то скоро вернусь в свой флигель. Праздность опротивела. Да и деньги тают, как безе»; «совестно ничего не делать»; «проживу здесь, должно

быть, долго»; «... не менее месяца»; «за границей проживу, вероятно, всю зиму»; «пробуду еще не менее месяца». Но вскоре срок определяется: «Уеду отсюда, вероятно, не раньше января» или: «в Ницце я пробуду до января». А потом он отдалается сразу до весны: «Вернусь к пенатам, вероятно, не раньше апреля». Так оно и случится.

Что же повлияло на решение остаться на зиму в Ницце? Видимо, и прежде всего показавшаяся в октябре кровь. Из Мелихова писали, что уже выпал снег, стоит предзимняя стужа. Поэтому ехать сейчас туда, значит, усугубить болезнь. К тому же Чехов медленно, но втянулся в работу. На столе у него рукопись нового рассказа «В родном углу» (отослан в Москву, в «Русские ведомости» 17 октября). Потом был написан «Печенег» (отослан 24 октября), затем рассказ «На подводе» (отослан 20 ноября). До нового года написан и рассказ «У знакомых».

В записной книжке среди адресов, пометок, фамилий встречаются записи, которые Чехов затем переносит в книжку для творческих заготовок, и они соседствуют с другими, занесенными Чеховым в эти первые месяцы заграничной жизни. Иногда запись при переносе сразу разрастается. Так, например, первоначальный вариант: «[Крик: он имеет успех у ж<енщи>н, про него говорят, что он идеалист.]» Потом записано так: «[«Крик»: Он, т. е. муж, имел и имеет успех у ж<енщи>н; они про него говорят, что он добрый, а потому и расточителен и не практичен, что он идеалист. И они (жена и докторша) не могут удержаться от маленькой жестокости, чтобы не попрекнуть молодого ч<елове>ка: «А ваше поколение, Жорж, уже не то». При чем тут поколение? Ведь разница в годах только 8—10 лет, они почти сверстники]».

Рядом другие записи: «Пусть грядущие поколения достигнут счастья: но ведь они должны же спросить себя, во имя чего жили их предки [и какая награда этим] и во имя чего мучились». Какая-то тень будущей пьесы «Три сестры», размышлений ее героев ощущается в этой записи. Тут же сюжеты, чьи-то запомнившиеся слова, выражения, рассуждения. Необычно подробно записан сюжет рассказа «На подводе»: «[Учительница в селе. Из хорошей семьи. Брат где-то офицером. Осиротела, пошла в учительницы по нужде. Дни за днями, бесконечные вечера, без дружеского участия, без ласки, личная жизнь погибает; удовлетворения нет, так как некогда подумать о великих целях, да и не видать плодов... Увидела в вагоне мимо медленно проходившего поезда даму, похожую на покойную мать, вдруг вообразила себя девочкой, почувствовала себя, как 15 лет назад, и, ставши на колени на траву, проговорила нежно, ласково, с мольбой: О мама! И, очнувшись, тихо побрела домой».

В рассказе Чехов опустит вставание на колени, а воспоминание развернется в сознании героини: «И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило ее, от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбой:

— Мама!

И заплакала, неизвестно отчего». И в этом сюжете смутная, неотчетливая, но тень «Трех сестер», «Вишневого сада», «Невесты».

Чехов и в Ницце не отказывается от своих привычек. Отсылая 17 октября В. М. Соболевскому рассказ «В родном углу», он просит в конце: «Не пришлете ли корректуру? Я пошлифовал бы рассказ».

На решение в конце концов остаться на зиму в Ницце повлияло и

то, что образовался небольшой круг людей, приятных и интересных Чехову. М. М. Ковалевский, который жил на вилле, недалеко от Ниццы. Художник Валериан Иванович Якоби, больной и сердитый человек, ругатель, но совсем не мрачный и не надоедливый собеседник. Николай Иванович Юрасов, русский вице-консул в Ментоне, гостеприимный, добродушный человек.

В этот круг входили на время своего приезда русские знакомые. Известный писатель Вас. И. Немирович-Данченко и семейство чайного торговца Зензинова, жившие в пансионе; супруги Шанявские.

По письмам заметно, как после первых впечатлений, после передряг с денежными вопросами сознание Чехова настраивается на привычное состояние. И местами описания в письмах походят за записи в записных книжках, будто заготовки к будущим произведениям: «Горничная улыбается, не переставая; улыбается, как герцогиня на сцене, — и в то же время по лицу видно, что она утомлена работой». Или: «... такса с длинной шерстью; это продолговатая гадина, похожая на мохнатую гусеницу». Едва Чехов сосредоточивался на работе, письма неуловимо менялись. Из них исчезали такие беглые зарисовки, они становились стремительнее, конкретнее, написанными как бы на ходу или в вынужденных паузах. К тому же их просто становилось меньше. Хотя из России писем приходило все больше и больше.

Из дому писали, что кончают ремонтировать флигель, что посадили 335 деревьев. Дошла весть о заболевании тифом среди мелиховских крестьян. Домашние спрашивали, нужно ли заплатить за дрова для Талежской школы и выписать ли, как в прошлом году, при Чехове, «Ниву» для почмейстера. М. Т. Дроздова, гостившая в октябре в Мелихове, писала Чехову, что в саду все пусто, холодно, а в доме стоит на полу портрет работы Браза: «...» Не нравится он мне, как будто Вы рыдали, такое истрадававшееся лицо, но знаете, если его повесят в галерее, то он будет иметь успех огромнейший у дам, и в особенности после ваших «Мужиков», «...» а портрета Вашего очень ждуть».

В эти же дни в Москве Чехову писала Е. М. Шаврова-Юст. Она узнала от Гольцева, что он в Ницце, и удивлена, что Чехов не отвечает на ее письма. У нее, может быть, впервые вырвалось слово «люблю», и желая быть верно понятой, она тут же уточняет: «Я так горячо люблю Вас и сознаюсь в этом, потому что это так естественно, как если бы я сказала, что люблю солнце». Шаврова чуть-чуть нарушила привычный тон их переписки: «Что я сделала, чем провинилась? Меня это так мучит, если б Вы знали! «...» Напишите, что Вы относитесь к Вашему коллеге по-прежнему... Зимой, вероятно, буду за границей...»

Чехов тоже несколько меняет тон своих разговоров с Шавровой-Юст. Письмо от 29 октября чуть-чуть отчужденнее. «Будьте здоровы и пишите, пожалуйста. Здесь скучно без писем, без этого дыма отечества. Я Вам желаю здоровья и всего хорошего. Ваш А. Чехов».

В России о нем упоминали газеты. На Александринской сцене возобновили «Иванова». Г. Г. Ге играл Иванова, В. Ф. Комиссаржевская исполняла роль Саши, а М. Г. Савина — Сарры. В своей рецензии в «Новом времени» Суворин писал в сентябре, что в этой пьесе, полной таланта и правды, каждый зритель найдет частицу самого себя. 29 сентября «Одесские новости» поместили отзыв о Чехове немецкого критика Р. Штрауса из еженедельника «Венское обозрение»: «Его слава в скором времени наполнит весь мир». Одновременно сестра и Потапенко, не сговариваясь, послали Чехову номер одесской газеты.

Мировая слава пришла спустя десятилетия. При жизни Чехов читал о себе разное. Но был скрытый от его глаз поток мнений, оценок

и суждений. Например, только-только напечатали 2 ноября рассказ «Печенег», как назавтра один современник писал другому: «Что пишет Чехов? Это ужасно! Последний фельетон в «Русс(ких) Вед(омостях)», Вы, конечно, прочитали. Это бессодержательная вещь, неизвестно для чего написанная, отличается только грубым подражанием по форме и языку Л. Толстому». А. Бунин считал этот рассказ одним из лучших чеховских рассказов.

Что же до мировой известности, то с нею связан эпизод, как раз пришедшийся на осень 1897 года. Дело в том, что к этому времени Чехова много переводили русские и зарубежные переводчики. Он никому не отказывал. Россия не присоединилась к конвенции об авторском праве, поэтому переводы и перепечатки были пиратскими, то есть автора могли не спрашивать и денег ему не платить. Когда Чехов узнал, что французский литератор М. Д. Рош перевел ему за перевод «Мужиков» 100 франков, он велел сестре положить их на книжку «на вечные времена, так как это редкие и весьма ценные деньги». Самому Рошу Чехов написал 26 ноября: «Для меня они дороже, чем 111 франков, и я постараюсь израсходовать их на какое-нибудь дело, симпатичное для нас обоих. Благодарю Вас от всей души». Это был почти исключительный случай.

Вышла в свет книга, в которую вошли повести «Мужики» и «Моя жизнь», как обычно у Суворина тиражом в одну тысячу. Земский Училищный совет утвердил Чехова попечителем еще одной школы — Чирковской, и Чехов вскоре хлебнет с ней хлопот. А из Таганрога двоюродный брат сообщал о намерении городского Училищного совета назначить Чехова попечителем всех церковно-приходских и земских школ Таганрога, если Чехов согласится.

Чехов ответил, что уже попечительствует в своем уезде, но не отказывается от чести послужить родному городу: «Чем богат, тем и рад и, если буду жив и здоров, сделаю все, что в моих средствах — материальных и духовных».

Здесь, в Ницце, Чехов продолжал помогать Таганрогской библиотеке. Теперь они с Иордановым мечтают о музее при библиотеке, и Чехов ведет переговоры. Отсюда Чехов писал учителям Талежской, Новоселковской и Чирковской школ. Пытался помочь злосчастной судьбе журнала «Хирургия».

Но все это, конечно, не отнимало столько времени, как в Мелихове. Здесь, за границей, Чехов не был ни лечащим врачом (отдельные медицинские советы не в счет), ни активным земцем. Он мог свести к минимуму дружеские встречи и все время отдать творчеству. Однако пишет он не так много, но достаточно для того, как он скажет в письме к И. П. Чехову, «чтобы прожить безбедно».

Казалось бы, вдали от дома, от бесконечных хлопот, он уйдет в работу. Но Чехов пишет только несколько часов рано утром, а после завтрака часто проводит время на набережной, ходит по улицам, выбирая для родных и знакомых изящные безделушки (кошельки, галстуки, карандаши, наборы бумаги, зонтики), или бродит в окрестностях Ниццы. Вроде бы и к чужому письменному столу он привык. Чехов перебрался в комнату этажом ниже, потому что высокий подъем несколько раз в день утомлял его. В этой комнате на круглом столе по вечерам он зажигал лампу под зеленым абажуром (электричества в пансионе не было). Здесь было глубокое, удобное кресло, соседи не мешали.

И все-таки день ото дня в Чехове явно нарастает внутреннее не то раздражение, не то какое-то нетерпение. Он уже заводит разговоры о поздке в Алжир, вскользь упоминает о том, что соскучился по дому, в его письмах замелькали слова «не живу, а прозябаю», «мордемондии». И в конце концов Чехов сам определит свое настроение: «Здесь рабо-

тать можно, но чего-то не хватает, и когда работаешь, то испытываешь неудобство, точно повешен за одну ногу». Это сравнение он повторит в письме к сестре.

Можно объяснить состояние Чехова здоровьем. Постоянное, трехнедельное кровотечение, конечно, угнетало его. Понятно, что на Чехова повлияла смена образа жизни, окружения, языковой стихии. Французский язык он знал недостаточно, и голос улицы был ему не совсем чужд. Чуждой, хотя и красивой, была природа.

Много скрашивалось и сглаживалось на первых порах новизной впечатлений: «<...> культура прет здесь из каждого магазинного окошка, из каждого лукошка; от каждой собаки пахнет цивилизацией». «Это народ, который умеет пользоваться своими ошибками и которому не проходят даром его ошибки»; «Французы бережливы, и оттого они богаты, так богаты, что даже ропщут на судьбу: некуда девать капиталы. Золота здесь очень много, и оно в большем ходу, чем бумажки».

Любопытно было увидеть игорные дома в Монте-Карло. Чехов играл редко, больше наблюдал и видел то, что не замечали другие. Например, как крупье украл золотой. Когда в Ниццу приехал Потапенко, одержимый идеей выгрыша, уверенный, что у него есть беспроигрышная система, Чехов ездил с ним в Монте-Карло, но однажды наотрез отказался и как зарок дал. Потапенко высказал предположение, что тут сказались не трезвость и осторожность, а ревность творчества к часам, отданным таким пустякам. И тут же заметил, что в некоторых мемуарах Чехов предстает «существом, как бы лишенным плоти и крови, стоящим вне жизни, — праведником, отрешившимся от всех слабостей человеческих, без страстей, без заблуждений, без ошибок».

И опровергает это: «Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова».

Так почему Чехов все-таки не обрел за границей ни покоя, ни творческого настроения?

В письме к Хотяинцевой, приехавшей в Париж, Чехов невзначай, среди шуток и новостей, вдруг признается: «Я заметил, что чем больше я пишу, тем меньше у меня денег. Подметил я и еще один закон природы: чем веселее мне живется, тем мрачнее выходят мои рассказы».

За несколько недель до того Чехов уже говорил об этом в письме к Л. А. Авилловой: «Вы сетуете, что герои мои мрачны. Увы, не моя в том вина! У меня выходит это невольно, и когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая, я всегда бываю в хорошем настроении. Замечено, что мрачные люди, меланхолики пишут всегда весело, а жизнерадостные своими писаниями нагоняют тоску. А я человек жизнерадостный; по крайней мере первые 30 лет своей жизни прожил, как говорится, в свое удовольствие».

Вот это уточнение — «работая, я всегда бываю в хорошем настроении», может быть, что-то объясняет в этой загадке. Хорошее настроение, наверно, связано было с ощущением внутренней свободы. Чем оно было естественнее, чем оно, если вспомнить слова Чехова, сильнее разгоралось в нем, тем лучше было его душевное состояние. Не обыкновенное житейское настроение, а творческое. И оттого, может быть, он видел и понимал все с каждым годом глубже, а писал совершеннее. Но читателям, не привыкшим к такой глубине, было тяжело. Они умоляли, упрашивали Чехова внять их просьбам и бросить им какой-то спасательный круг, пожалеть их и утешить.

В октябре Чехов получил письмо ученого-экономиста И. И. Иванюкова, своего знакомого. Тот рассказывал о впечатлении от «Мужиков» в Калуге: «Ее читали, обсуждали, по поводу ее сильно спорили. Впечатление от нее было ошеломляющее, как «обухом по голове». Затем старались разобраться в этом впечатлении, и если не отделаться от

него, то по крайней мере ослабить его тяжесть. Все эти ощущения испытал и Ваш покорный слуга . . .»

17 ноября в Ниццу пишет Н. И. Коробов и тоже о том же, но теперь о рассказах «Печенег» и «В родном углу»: «Зачем такие пессимистические рассказы в «Русских вед(омостях)»? Напиши что-нибудь жизнерадостное, что бывает в ранней юности, когда хочется кричать и скакать от радости бытия».

30 ноября об этих рассказах писал Чехову П. И. Дьяконов: «Надо сознаться, что общее впечатление от них довольно-таки удручающее». Правда, Дьяконов не стал упрекать Чехова в неверности его ощущения от русской жизни: «Оно чувствуется тем более, что нельзя отказываться от того, что сама жизнь дает нам и воспитывает нас именно в таких впечатлениях». Завершилось все вопросом, сродни недоумению Авилевой или просьбе Коробова: «Но неужели хорошая природа, в которой Вы живете, разнообразие впечатлений и другие хорошие стороны путешествия не развеяли в Вас этого настроения?»

Глава третья ФРАНЦИЯ. ЗИМА

Да, «кричать и скакать» Чехов не умел даже в юности, хотя радость бытия чувствовал полно и благодарно. Крики, возгласы, речи — это не его жанр. Шутка, короткая реплика, меткое словечко — и более ничего, все остальное как бы лишнее.

В середине ноября в Москве праздновали юбилей писателя Н. Н. Златовратского. Чехову рассказали о нем несколько человек. Из всех писем встает картина необыкновенного словоговоренья с непременным публичным скандалом и распрей между ораторами или группировками. Хорошо еще, как писал И. Д. Сытин, «свалки не было». А так все как всегда, как и на обеде в «Континентале» в память Великой Реформы, 19 февраля 1897 года. Речи о свободе, о совести, а вокруг лакей, рабы во фраках, и на улице кучера, ждущие на морозе, да на огромном пространстве сотни таких деревень, как Мелихово, Новоселки, Талеж, Чирково, Крюково.

Е. М. Шаврова-Юст, тоже писавшая о юбилее, рассказала, что было в финале: «Златовратский говорил долго. Он, видимо, очень устал, и потому в его речи было мало последовательности и отделки. Но говорил он что думал, а ведь это главное. Говорил о том, как писатели мучаются иногда над какой-нибудь страницей, безжалостно вычеркивая и перечеркивая написанное, говорил о своем детстве, об эмансипации, коснулся декадентов, которые с «фиалами в руках» ищут какой-то новой красоты. А в заключение сказал: «Вот, господа, мы здесь едим и пьем и не вспомним о том, что, стыдно сказать, нашего мужа все еще «порют»».

И еще одна фраза о юбилее: «Обед кончился, и опять были речи, речи и речи. . .»

Получив и прочитав все эти описания, Чехов высказался коротко: «Очень мило!» В сущности этой фразой из письма Соболевскому он ответил и своему адресату. Соболевский в длинном-предлинном послании нарисовал довольно мрачную картину русской жизни: осенняя грязь, брань пьяных, череда пышных юбилеев и похорон, скука в домах, страх обывателей за свое существование. Сравнивая зарубежные и московские впечатления, он подводил итог: «Нет! или нужно, родившись здесь, никогда не выходить на чистый воздух, не заглядывать туда, где есть солнце и люди, или же, выйдя раз, — никогда сюда не возвращаться. . .»

Чехов, по сути, никак не ответил на этот вопль. Он пишет Соболевскому о рассказах, уточняет что-то, упоминает общих знакомых

и т. д. Наверно, не потому, что не хотел, а потому, что все сказал в этих самых рассказах и скажет в тех, что, видимо, уже выплывали в сознании. В записной книжке появится запись, которая будет потом использована в рассказе «Случай из практики»: «[Взглянешь на фабрику, где-нибудь в захолустье — тихо, смирно, но если взглянуть во внутрь: какое непроходимое невежество хозяев, тупой эгоизм, какое безнадежное состояние рабочих, дрязги, водка, вши]». Юбилейные речи о свободе, совести, правах раздражали Чехова.

Сравнение таких речей и публичных клятв в любви и верности русскому народу с чеховскими произведениями только 1897 года толкает на перефразирование одной из ниццских записей Чехова: «Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему». Так и о мнениях ораторов на юбилеях можно сказать: не русская жизнь главное, а речь о ней.

Настроение Чехова в ноябре-декабре 1897 года, конечно, было связано и с длительным кровотечением, и со сменой обстановки, и с разницей впечатлений, и с ощущением, что завершается какой-то период в его жизни и он накануне нового. Такое ощущение было в нем перед сахалинской поездкой. Менялся медленно круг знакомых. Одни отодвигались, другие становились ближе.

Дошла весть из бабкинского прошлого. Мария Владимировна Киселева писала, что имение оскудело, дворянское гнездо пришло в упадок, а с нею было несколько случаев ясновидения. Алексей Сергеевич Киселев, ее муж, надеялся на железную дорогу, которая пройдет возле, и можно будет продать землю под дачи. Эти письма доньше входят в первоисточники пьесы «Вишневый сад» и отмечены всеми исследователями. Менее замечен другой факт и другая весть из России. М. П. Чехова написала брату, что Л. С. Мизинова уехала в деревню закладывать землю, доставшуюся ей в наследство, а на вырученные деньги Лика хотела учиться пению в Париже. И это какой-то пусть слабый, но источник будущего сюжета последней чеховской пьесы. Тем более, что Лика строила планы, как на деньги, оставшиеся от уплаты долгов, она откроет мастерскую и на заработанные средства закончит учение, ей хочется работать, работать. И опять какое-то присутствие этих планов, этих надежд в речах героев «Трех сестер» и «Вишневого сада».

Чехов ответит на письмо Л. С. Мизиновой от 18 декабря. Одобрит ее планы. Пошутит, что «крыжовника здесь нет», пожелает ей не быть кислой, «как клюква», а быть «рахат лукумом». Но что-то в этом письме (возможно, какая-то естественная, не нарочитая сдержанность) задело Лику, и она ответила письмом с последними сполохами ушедшего чувства к Чехову: «Ни на каких юбилеях я не бываю и из великих людей никого не вижу, решила иметь дело только с обыкновенными, а не исключительными людьми. Они много лучше, добрее и не воображают о себе больше, чем есть». На эти письма Чехов ответил несохранившимся письмом, Лика попрекнула его теплом, розамй, очень точно уловила тон теперешних чеховских писем к ней («довольно кротки»), и на этом переписка прервалась на много месяцев. Конец 1897 года оказался временем незримого разрыва многолетних отношений.

Обыкновенно охлаждение между Чеховым и Сувориным связывают в основном с их разным отношением к делу Дрейфуса. Конечно, эта причина важная. Но не единственная. Что же до значимости каждой из причин, то определить ее не мог бы, наверно, и сам Чехов.

Конечно, Суворин заметил оценку Чеховым в письме от 24 ноября двух французских газет, возглавлявших кампанию в печати Франции по делу Дрейфуса: «Рошфор надоед жестоко; его приятно почитать 2—3 раза, а потом он приедается, как рокфор. Тоже и «La libre paго-

ле»¹. Между тем двумя днями раньше «Новое время» напечатало выдержки из статей Рошфора и Дрюмона. При этом сама перепечатка именно этих статей выявляла позицию Суворина: виноват Дрейфус. Изучение французских газет, задолго до оправдания, привело Чехова к выводу: Дрейфус не виноват. Через несколько недель разговор о самом злободневном политическом деле начнет всплывать в переписке Чехова и Суворина.

Но это еще впереди. А пока, в конце 1897 года, Чехов явно начинает скучать по дому. Ему хочется, как он не раз скажет, — «на снег». Начинает упоминать слова из мелиховского обихода. Он представляет, как начал в России прибавляться день, а зима склоняется к весне. В Ницце Чехова всю зиму утешали цветы. В одну из прогулок он решил послать букет к именинам матери.

М. Т. Дроздова описывала в письме свои разговоры с Е. Я. Чеховой, один из мелиховских дней, когда они с М. П. Чеховой разрезали ситец на рубашки ученикам Талежской школы, готовя рождественские подарки. П. Е. Чехов прислал свои дневниковые записи за прошедшие недели. Из них Чехов знал все домашние новости: как хорошо обиходили флигель, замерзли пруды, пала старая лошадь. Долго не было обильного снега и опасались за озимые. Потом завьюжило и по ночам за окнами мелиховского дома сильный ветер гнал снег.

П. Е. Чехов отмечает в дневнике подарки от сына из Ниццы: «Мне кошелек без денег. Мамаше ножницы и замшевый кошелек. Маше и Дроздовой косметические вещи. Ване галстук». Перед Рождеством со станции привезли посылку от М. П. Чехова из Ярославля. Там были мороженный гусь, два тетерева, два судака, полтора рубля серебром отцу и ему же 25 перьев. Видимо, на ведение мелиховской летописи. Подарил отцу бумагу и перья также И. П. Чехов, приехавший на праздник к родителям. А 28 декабря из Ниццы наконец добрались до Мелихова в разломанной коробке цветы. Они, конечно, не выдержали долгой дороги. В новогоднюю ночь был традиционный пирог, и «счастье» досталось М. Т. Дроздовой.

И все-таки за всеми очевидными причинами «кроткого», если вспомнить словечко Мизиновой, настроения Чехова ощущается что-то, связанное не только с нездоровьем, воспоминанием о доме, однообразием ниццских впечатлений. Чехов признается 14 декабря в письмах Суворину и сестре: «Накопилось много работы, сюжеты перепутать в мозгу, но работать в хорошую погоду, за чужим столом, с полным желудком — это не работа, а каторжная работа, и я всячески уклоняюсь от нее»; «Много сюжетов, которые киснут в мозгу, хочется писать, но писать не дома — сушая каторга, точно на чужой швейной машине шьешь».

На следующий день он пишет Федору Дмитриевичу Батюшкову, сообщает, что через две недели вышлет рассказ и отвечает на просьбу написать что-либо на сюжет из местной, французской жизни: «Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично».

Значит, «перепутавшиеся» и «киснувшие» в мозгу сюжеты были признаком чрезвычайно важным. И тут ключ к настроению Чехова зимой 1897—1898 годов. Может быть, Чехов чувствовал, что в его отношениях с читателем наступает какой-то критический момент.

После провала «Чайки», когда он сам себе закрыл пути в драматургии, «фокусирующая» сила его прозы достигла ошеломляющей, обжигающей силы. Ее проникающее воздействие и способность затем

¹ «Либр пароль» («Свободное слово» — франц.).

медленно, как бы вне зависимости от желания читателя разворачиваться в сознании, захватывая все мысли и чувства человека, неуклонно возрастала. Но Чехов не мог не слышать читательскую просьбу о пощаде, о жалости. Его просили об этом люди думающие, отнюдь не почитатели легкого, необременительного чтения.

В сущности, за довольно короткий срок Чехов к 1897 году обрел новую читательскую аудиторию. Когда-то, десять лет назад, он, не вняв голосам первых читателей и критиков, не резко, не сразу, но ушел от юмористических рассказов к «Степи», «Скучной истории». Но и в этой среде Чехов избежал нескольких искушений, на которые склоняли его умные, расположенные к нему читатели: не стал писать романа, нарушил каноны русской повести. «Чайка» нарушила «правила» в драматургии и в отношениях со зрителем. Однако это более широкое русло со множеством возможных ответвлений, которые дает театр, как бы преградила премьеры «Чайки» в Александринском театре.

Вся творческая энергия, которую увеличивало неотвратимое сознание Чеховым не столь далекого конца, сосредоточилась на прозе. «Мужики», а затем ницские рассказы действительно ошеломили читателя.

Эта проза тоже оказалась созданной «вопреки всем правилам». Теперь могло случиться то же, что и с «Чайкой».

Такую прозу не принял бы сложившийся и естественно, медленно разрастающийся круг читателей Чехова. Дошедшие голоса были предупреждением, что Чехов рискует потерять этих читателей. Тех, что были ближе всех и уговаривали его остановиться и писать повести и рассказы, такие, как «Моя жизнь», «Три года», к которым они уже привыкли. И в которых сила воздействия была ощутимой, но не такой обжигающей, как в «Мужиках».

В конце декабря Чехов получит письмо от Потапенко. Он заметил, конечно, новые чеховские рассказы, похвалил их, а о себе рассказал, что погряз в суете, «выпустил» шесть рождественских очерков, хотя терпеть не может этот «самый возмутительный, неискренний жанр». И вообще, хотел бы приехать в Монте-Карло, выиграть крупную сумму денег, бросить надоевшее писательство, эти бесконечные «романы в тридцать печатных листов», построить театр и т. д. О происходящем вокруг признался: «В Петербурге ничего нового нет. А что делается в России, этого, хоть убей меня, не знаю».

Рассказ «У знакомых», работа над ним, правка корректуры, отношение к нему Чехова и наступившая затем небольшая пауза — передают, как Чехов преодолел в начале 1898 года критический момент в своем творчестве. Следующий такой же момент наступит в 1903 году, и одним из признаков будет знакомая фраза: «Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает — в обстановке ли, в здоровье ли». Конечно, опять, как и в Ницце, дело было и в здоровье, идущем в те годы резко на убыль, и в ялтинской обстановке. Но еще и в том, что опять Чехов в «Вишневом саде» нарушал «правила», теперь своей собственной драматургии. Любопытно, что и в рассказе «У знакомых» и в «Вишневом саде» одним из источников будут бабкинские письма Киселевых, а общей темой — пути России. И можно предположить, что «У знакомых» — это невоплощенный «Вишневый сад». Проза на грани драмы, но грань эта готова была вот-вот рухнуть, хотя автор все еще помнил свой зарок. Но в марте 1898 года, кажется, впервые дрогнет: «Вы привязались к театру, — писал Чехов Суворину, — а я ухожу от него, по-видимому, все дальше и дальше — и жалею, так как театр давал мне когда-то много хорошего<...>»

Видимо, одним из следствий душевного напряжения и усталости от работы над тремя рассказами было опять начавшееся горловое кровоте-

чение. В Ницце еще тепло, но Чехов вынужден сидеть в комнате. К тому же знакомые разъехались. М. М. Ковалевский, с которым Чехов собирался в Алжир, не подавал вестей.

Чехов, естественно, не знал, что 6 декабря Ковалевский в письме в Москву Соболевскому спрашивал, стоит ли ему ехать с Чеховым в Алжир: «У Чехова еще до моего отъезда из Болье показалась кровь. Слышу, что и теперь это бывает с ним по временам. Мне кажется, сам он не имеет представления об опасности своего положения<...>» Чехов знал об опасности своей болезни, но думать об этом? Все время жить этим? Мечтая о поездке, он писал сестре: «Поеду в Марсэйль, потом морем в Африку, увижу там наших скворцов, которые, быть может, и узнают меня, но не скажут». Он, видимо, действительно предполагал не лечиться в Алжире, а путешествовать. Переезды, новые впечатления давали Чехову всегда ощущение перемены жизни, отвлекали от мыслей о краткости срока, отпущенного ему болезнью.

Но прошло русское Рождество, приближался Новый год, а от Ковалевского вестей не было. Чехов шутит в письме к старшему брату: «Передай своему семейству, что я поздравляю его с Новым годом, с новым счастьем; у нас за границей давно уже был Новый год, Вы же отстали. Мне даже стыдно за вас». Но тон последних писем 1897 года не веселый.

В новогодний вечер в 10 часов (12 часов — в России) Чехов, Хотьинцева, приехавшая 26 декабря в Ниццу и остановившаяся в том же пансионе, Владимир Григорьевич Вальтер, врач и литератор, поздравили друг друга и после чая, к 11 часам, разошлись.

К сожалению, письма Чехова к В. Г. Вальтеру утрачены. Чехов знал его еще в Таганроге. И теперь оба встретились в Ницце, где Вальтер имел бактериологическую лабораторию, как старые знакомые.

Что произошло с письмами Чехова на этот раз, неизвестно. Вообще, к концу двадцатого века не сохранилось огромное количество чеховских писем. Кто-то их уничтожил сам, как О. П. Кундасова, кто-то, подобно И. И. Левитану, распорядился сжечь после смерти, у кого-то, как у Л. А. Авиловой, их украли. Конечно, многие письма, сохранившиеся в семейных архивах, погибли в войнах и катастрофах двадцатого века. Они могли навсегда исчезнуть при эмиграции, арестах, от небрежения или от страха людей, боявшихся письменных свидетельств своего родства, круга знакомств и личных связей. Они могли сгореть с семейными архивами.

По каким бы соображениям и при каких бы обстоятельствах ни погибли письма Чехова — утрата необратима. С ними ушли навсегда конкретные подробности, детали, суждения Чехова. Поэтому летопись жизни и творчества Чехова восстанавливается, а события связываются между собой чтением оставшихся источников, из которых всплывает и как бы проявляется, обретает зримые очертания течение чеховской жизни.

1 января 1898 года у Чехова в комнате стоял букет цветов, присланный каким-то незнакомым русским семейством. В два больших окна лился свет ясного утра. Принесли подарок от Н. И. Юрасова, бутылку старого вина, почти девятидесятилетней выдержки, времен наполеоновского похода в Россию. Обыкновенно после завтрака Чехов ходил на почту, или ее приносили в пансион. Но в этот день не поздравительные телеграммы, не сообщения из дома занимали Чехова. Но письмо Э. Золя к президенту республики Ф. Фору «Я обвиняю». О деле Дрейфуса, опубликованное в газете «L'Augoge»¹.

Писатель поименно назвал весь верх военного министерства, виновный, по его мнению, в сокрытии истины и потворстве подлинным

¹ «Опор» («Аврора» — франц.).

преступникам. Золя понимал, что его привлекут к судебному расследованию, но шел на это сознательно, чтобы привлечь внимание мировой общественности к делу Дрейфуса. Выступление Золя было замечено и в русской прессе.

3 января «Новое время» объявило в своей передовой статье, что «письмо это скорее имеет характер факта, относящегося к области психиатрии, чем «преступного деяния», подлежащего суду». В этом же номере Суворин назвал «лакеями <...> еврейской плутократии» всех, кто убежден в том, что Дрейфус не виноват. Он подхватил утверждение французских газет, что защиту Дрейфуса организует и финансирует «Международный еврейский синдикат». Касаясь этого измышления, Золя уже в начале декабря 1897 года заявил в газете «Le Figaro»¹, что существует другой синдикат, «людей доброй воли, сторонников правды и справедливости», и он принадлежит к нему. И верит, что к этому объединению принадлежат «все мужественные сыны Франции».

4 января, еще не читая «Нового времени», Чехов написал Суворину: «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Золя благородная душа, и я (принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков) в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные». Суворин получит это письмо дней через пять, а Чехов к этому времени прочтет «Новое время» от 3 января. Однако объяснение произойдет только через месяц, когда в разгаре будет процесс над Золя. Когда суворинская газета и ее издатель выступят еще с рядом статей против защитников Дрейфуса и единомышленников Золя.

На первый взгляд это странно. На самом деле пауза объяснима. Суворин, человек умный, понимал, что одно дело — его статьи в газете, и другое — частная переписка с Чеховым. Он, видимо, боялся, что в ответ на оценку чеховских слов, на выпад лично против Чехова последует полный разрыв отношений. Если бы письма Суворина сохранились и были опубликованы, в них, весьма вероятно, обнаружилась бы попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.

Как это уже бывало ранее, Суворин объяснял свои не самые лучшие поступки личными обстоятельствами, характером, соглашался, что был не совсем прав, то есть не прямо, не открыто, а путем полупризнаний и полужалоб взывал к прощению и пониманию. Чтобы потом найти возможности опять-таки не прямого, не личного и не открытого реванша. Для этого под рукой были люди, подобные В. Буренину.

Но в этом случае речь шла не о частном поступке или неудачном публичном высказывании. Сохранить видимость случайного или не по его вине отступления от норм этики было невозможно. И Суворин замалчивает на целый месяц. Он не ответил на несохранившееся, к сожалению, письмо Чехова, а потом прислал, судя по ответу Чехова от 27 января, нейтральное письмо с вопросами о планах Чехова и с каким-то воспоминанием времен их совместного путешествия в Венецию, в 1891 или 1894 году.

За это время, до начала февраля, жизнь Чехова тоже протекала как бы в паузе. Ковалевский, видимо, принял решение не ехать в Алжир и написал об этом. Оставалось ждать весну в Ницце и через Париж, в апреле, возвращаться домой. В таком настроении Чехов встретил свой день рождения. Домашние поздравили его письмами. Е. Я. Чехова благодарила сына за цветы, фотографию, за присланное для нее платье: «Ты наше сокровище, ты нашу старость покоишь, спасибо тебе...» Она сетовала, что ей некому пожаловаться на здоровье. Письмо П. Е. Чехова было в духе его дневника: «В доме все благопо-

¹ «Фигаро» (франц.).

лучно и хорошо. Овцы окотились 8-ю ягнятами, коровы тоже телятся. Лайка и Белка здоровы, а Хансен от неизвестной причины заболел и издох». Поздравила с днем ангела и Е. М. Шаврова-Юст. Вспомнил о дате И. Л. Леонтьев (Щеглов).

День рождения был опечален горьким событием. Накануне хоронили русского врача А. А. Любимова, долго и тяжело умиравшего от болезни легких. Может быть, поэтому, отвечая в этот день сестре на ее поздравления, Чехов написал: «Мне стукнуло уже 38 лет; это немножко много, хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я прожил уже 89 лет».

Чехов не раз и до этого говорил, что чувствует себя старше своих лет. Видимо, не очень устроенное и благополучное детство, одинокая юность в Таганроге, сразу тяжкое московское бремя семейных забот и — что самое главное — постоянная напряженная работа питали такое чувство.

Как прошел его день рождения? Н. И. Юрасов принес пирог и бутет. Днем Чехов был в Монте-Карло.

Может быть, этот день не отличался от тех, которые впоследствии описала А. А. Хотяинцева: «По утрам Антон Павлович гулял по Promenade des Anglais¹ и, греясь на солнце, читал французские газеты. В то время они были очень интересные — шло дело Дрейфуса, о котором Чехов не мог говорить без волнения <...> По утру же неизменно перед домом появлялись, по выражению Антона Павловича, «сборщики податей» — певцы, музыканты со скрипкой, мандолиной, гитарой. Антон Павлович любил их слушать и «подать» всегда была приготовлена <...> По вечерам очень часто приходил приятель Антона Павловича, доктор Вальтер, и мы втроем пили чай в комнате Чехова <...> Вспоминали и говорили о России. Антон Павлович очень любил зиму, снег и скучал о них, «как сибирская лайка».

Но вскоре Хотяинцева уехала из Ниццы в Париж. Несколько дней Чехов правил корректуру рассказа «У знакомых». Новых рассказов он в это время не пишет, а дни заняты разговорами о деле Дрейфуса. Отправляя Батюшкову исправленный рассказ, Чехов высказался на этот счет очень определенно: «Французские газеты чрезвычайно интересны, а русские — хоть брось. «Новое время» просто отвратительно». Газета помещала в эти дни статьи с укором всем иностранцам, вступающим за Дрейфуса, перепечатывала отрывки из французских газет с обвинениями против Золя. Батюшков в ответе был уклончив и сомневался, что суд присяжных мог совершить ошибку. Суворин в неизвестном письме Чехову написал, что ему досадно на Золя.

Уже до этого он пытался объяснить поступок Золя самолюбием, желанием привлечь к себе внимание, творческим застоем, говорил в одной из статей, от 29 января, что Золя «далеко до всеобъемлющего разума Вольтера».

Может быть, что-то похожее на свои публичные выступления Суворин написал Чехову. В ответ из Ниццы 6 февраля ушло непривычно длинное для этих лет письмо Чехова.

Оно явно было написано не в один присест. Это выдает первая строка: «На днях я прочел на первой странице «Н(ового) В(ремни)» глазастое объявление...» Ненужная реклама в газете его рассказа «У знакомых», к тому же с перевернутым названием («В гостях») была, конечно, поводом для Чехова. В другое время и в другом письме он упомянул бы об этом вскользь или в шутку в конце письма.

Здесь это недовольство как вступление в несколько строк, предупреждающее, что речь пойдет о серьезном и далеком от обычного тона их переписки. Далее очень спокойно, будто для себя самого выстраи-

¹ Английский бульвар (франц.).

вая события в логической последовательности и сопровождая их психологическим комментарием, Чехов изложил свою точку зрения на дело Дрейфуса. И по сути, это письмо написано той самой прозой, какой он напишет рассказы этого года «Человек в футляре», «О любви», «Крыжовник» — свою маленькую трилогию.

Незаметно, как и в текстах этих произведений, Чехов фокусирует сам ход рассуждений, очищает тон от побочных и ненужных помех. В «Человеке в футляре» тоже незаметно появившиеся «нас» и «мы» вдруг открыли за частным случаем общее, что имело отношение не к одному только Беликову, но и к рассказчику, учителю Буркину, и к его собеседнику, ветеринарному врачу Ивану Ивановичу, и к читателям. Недаром растревоженный рассказом приятеля Чимша-Гималайский продолжает сам: «А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, — разве это не футляр? <...>

Видеть и слышать, как лгут <...> и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!»

По сути, развивая эту свою потаенную мысль, Иван Иванович уже в рассказе «Крыжовник» продолжит: «Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие, <...> протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания <...>

Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. **Делайте добро!»**

Многое из этого уже занесено или обозначено в записных книжках Чехова зимой 1897—1898 годов. «Маленькая трилогия» так же, как рассказ «Ионыч», уже на фильтре памяти Чехова, и напишет он эти рассказы своей прозой, о которой уже справедливо замечено современниками, что ее нельзя читать «безнаказанно».

Письмо к Суворину написано тем же слогом, с тем же чувством, владевшим Чеховым в это время. Некоторые места из него естественно могут войти в монологи героев трилогии. Здесь то же «мы», «нас»: «Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жида, это Вильгельм...» Капитал, жупел, масоны, синдикат, иезуиты — это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство!»

Здесь тот же голос «взбаламученной совести»: «Да, Зола не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек в том, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги. Доктор Гааз тоже не Вольтер, и все-таки его чудесная жизнь протекла и кончилась совершенно благополучно».

И еще одно определение совести мелькнет в чеховском письме — «облегченная совесть», то есть живая, способная на сожаление, угрызения и раскаяние, на чувство стыда.

То не был ни укор Суворину, ни разрыв с ним. Это отчасти сродни настроению, в каком Чехов писал Мизиновой, и она назвала его в

шутку «кротким». Точнее его было бы назвать иначе. Кротость была не в натуре Чехова. Легенда близоруких современников и потомков об «ангеле в пенсне», как и несправедливая, с каким-то личным оттенком ярость тех, кто всерьез разоблачает эту легенду, равно заблуждения. Внешнее спокойствие, сдержанность не тождественны кротости. Это, конечно, воспитание, самовоспитание. Но более всего — внутренняя свобода.

Чехов мог бы давно сказать, как когда-то сказал после Сахалина о своем увлечении моралью Толстого: «Я свободен от постоя». Он свободен от того рабского постоя, о котором писал Суворину в 1889 году. Он тогда советовал ему рассказать о сыне крепостного, ставшего человеком с настоящей человеческой кровью в жилах. В сущности, письмо от 6 февраля 1898 года все тому же Суворину — это и есть рассказ, написанный уже не молодым человеком с не рабской, а свободной кровью в жилах.

Такие люди бывают неподвластны фимиаму чужого поклонения, даже искреннего, и уколам чужой ненависти. Они их трогают, но не убивают. Вот этой свободы Суворин и не смог понять в Чехове, потому что сам был несвободным, несчастным человеком. Наверно, не столько сами суждения Чехова поразили его в письме, но этот спокойный тон. Непонятный, неподвластный, вдруг обозначивший пространство между ними, непреодолимое для Суворина.

Давно они шли отдельно друг от друга. Но почувствовал это Суворин, может быть, именно зимою 1898 года. И теперь будет вдогонку до самой смерти Чехова то делать вид, что они рядом, то ждать, что Чехов свернет со своей дороги и вернется к нему, то выдерживать равнодушный тон и срываться с него.

(Окончание следует)

ВНЕ КОНТЕКСТА

У ЗИМ БЫВАЮТ ИМЕНА

До зим еще дойдем. Прежде об именах других, о названиях, например, книг. Беря в руки одну из них, читаешь на обложке: «Свет далекой звезды» и настраиваешься на нечто идиллическое, романтическое. Или другая обложка: «Тени исчезают в полдень». Тут ждешь тайны и мистики. На худой конец, криминальной истории. Но в том и другом случаях надежды не сбываются. Дерзкий полет авторской фантазии исчерпал себя заманчивым названием, но сам уже сдвиг в заманчивость — знаменателен. В лучшие свои времена соцреализм не заигрывал с читателем, был строг, сух, деловит и определенен, как протокол профсоюзного собрания. Помните? «Цемент», или «Хлеб», или «Гидроцентральный», или «Темп», или «Большой конвейер», или «Сталь и шлак», или «Как делается лампочка». Допускалась прозрачная, но емкая метафоричность названий: «Железный поток», «Поднятая целина», «Человек меняет кожу», «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей», «Разлом», «Рельсы гудят», «Хлеб — имя существительное».

Окажись в пору исчезающих теней книги с такими обложками в магазине, где нет отдела «Художественная литература», их вполне бы могли принять за руководства по изготовлению цемента, выращиванию хлеба, по сталеплавильному или рельсопрокатному делу и т. п.

Мне вовсе не хочется валить все в кучу, пренебрегать различиями. Хотя эстетические принципы авторов, скажем, просто «Хлеба» и «Хлеба — имени существительного» во многом совпадают. При несопадении писательского опыта и творческих задатков.

Но речь сейчас не о том, и поиски ответа на сакраментальный вопрос. «Что в имени тебе моем?» надо продолжить, расширив сферу обозрения и признав для начала: названия в изящной словесности сплошь и рядом более связаны с эпохой, чем с определенным содержанием и сюжетом. В наши дни какой-либо прозаик вряд ли отважится назвать свой роман «Пластмасса», «Компьютер», поэт свою поэму — «Ваучер», цикл стихов — «Банки и банкноты». Впрочем, поручиться трудно, еще труднее проникнуться уверенностью, что произведение с заливчатским или вычурным названием будет талантливее, интереснее тех, чьи переплеты украшали слова простые, как мычание, — технические термины и метафоры газетного пошиба.

Пестрота сегодняшнего литературного потока, его новизна — подчас истинная, подчас искусственная — плохо согласуется с привычными именами повременных изданий: вроде бы уже ничего не обозначают и ни к чему не обязывают, однако подчас сбивают с толку не меньше, нежели «Свет далекой звезды».

Ну почему журнал вполне определенной окраски должен именоваться «Нашим современником»? Ему бы, конечно, больше подходил «Ваш соплеменник».

Во внутриредакционных борениях, охвативших один из редакционных коллективов, вспыхнула идея раскола. Часть хотела бы само-

определиться, назвав свое детище, скажем, «Новой юностью». Наподобие «Нового литературного обозрения». Только как бы поступили приверженцы старого варианта, нарекли бы свой журнал «Старой юностью»?

Нет, смена вывески не выход. Даже в наш век, когда с пылом переименовываются улицы, площади, города, республики.

Оно, конечно, «Октябрю» подобало бы избрать иной месяц. Скажем, «Апрель». Но месяц, извините, занят альманахом, родившимся на гребне перестройки.

Постоянно ловишь себя на вопросе, некогда звучавшем с киноафиш: «Как вас теперь называть, доктор Зорге?»

Странное впечатление производят два прочно спаянных слова на обложке заслуженного журнала — «Дружба народов». Нельзя же уточнить: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Или посоветовать называться «Полуиностранный литературой».

Тут, однако, мы приближаемся к грани, где шутки неуместны, острословие уподобляется соли, посыпаемой на раны...

Сегодняшнее «Знамя», пожалуй, можно было бы окрестить «Новым миром», имея в виду традиции А. Твардовского. Но журнал, сохранивший небесный цвет обложки, на обмен не согласится. Отступая от традиций, он не отказывается от своей истории. Зачем ему переходящее «Знамя» с его непривлекательным прошлым? Только смерть вырвала «Знамя» из рук лауреата, депутата, автора романа «Щит и меч». (Непосвященным и забывчивым напомню: щит и меч — эмблема чекистов, доблестной госбезопасности.) Нынешние знаменцы ничего общего с этим прошлым не имеют. Кроме утратившего смысл названия и, разве что, излишней категоричности. Но не они одни страдают этой хворью, почти неизбежной в наступившие времена.

Сегодняшний «Огонек» еще дальше ушел от своего мрачного охранительного прошлого. Ярко вспыхнул перестроечным пламенем и сейчас тихо угасает при мертвенном неоновом свете рекламы, с фронта и тыла поджигающей журнальные страницы.

Новые издания еще больше путают картину. Нагло-задиристая «Столица» не имеет ничего общего со своей почти тезкой — угрюмой «Москвой». Прямо-таки взаимоисключающие издания — вот ведь до чего дошло.

На этом фоне, среди этой разноголосицы «Согласие» звучит радостной музыкой. Трудно себе представить автора или читателя, безразличного к этому слову.

Но еще труднее представить себе автора или читателя, поверившего в него.

(Замечу в скобках: переименовывая все, что только можно, у нас ни одной площади, пускай бы улочке, не дали название — площадь (улица) Согласия. Париж с его прекрасной Конкорд нам не указ. От площади Конкорд прямехонько дорога к Триумфальной арке, а можно от арки — к Конкорд. В отличие от Москвы, Триумфальную арку там не перетаскивали из одного конца города в другой.)

Лично я не вижу сейчас ничего менее осуществимого и более необходимого, чем согласие. Легче, вероятно, справиться с гиперинфляцией, спекуляцией, коррупцией. Верить сегодня в согласие — предаваться чистой воды маниловщине. Особенно неуместной, когда процветает хлестаковщина и смердяковщина не в загоне.

Потрясающая емкость имен героев русской классики! Достаточно суффикса, и это уже не собственное имя, но явление, растянувшееся во времени. Маниловщина — наиболее безобидное среди них. Уже обломовщина способна вызвать настороженность. Когда один политический деятель придал ей слишком уж расширительный смысл, его поставили к стенке. Фамилию его пустили в политический оборот, и

достаточно было обвинения в бухаринщине, чтобы схлопотать пулю расстрельщика.

Но, может быть, и надо ставить заведомо недостижимые цели? Как мы прежде поступали. Да не мы одни. Надежда на их осуществление — источник многих драм: личных и литературных. Но и это еще не основание отказываться от таких целей. Надо, вероятно, трезво — если удастся, понять: **недостижимы**. И с этим сознанием делать свое дело. В меру сил и возможностей, не обольщаясь понапрасну и пытаясь превысить меру.

Честно говоря, признания такие даются нелегко. Но легка ли была прошлая жизнь, когда «Новый мир» был «Новым миром», а «Октябрь» — «Октябрем»?

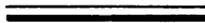
«У зим бывают имена» — настаивал Давид Самойлов, находя каждой из них женское имя. Сейчас уместнее говорить о «зиме тревоги нашей». Или о чем-нибудь в таком же роде. Об этом, впрочем, без того говорят. Да и зимняя тревога не впервой, и не первая зима на волка. Похоже, не последняя.

Слово «Согласие» магическим свойством не обладает. Сколько ни повторяй его, ничего не изменится, не грядет зима (весна, лето, осень) согласия нашего.

Зима тем временем миновала. Тревоги остались. До согласия не ближе, чем до самой далекой звезды.

И все-таки. . .

В. Кардин



ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

Роман

Перевела с английского Юлия Муравьева

DULCE DOMUM

Сбившиеся в кучу овцы метались вдоль плетня, топотали точеными передними ножками, запрокинув головы, раздували тонкие ноздри, и легкий пар клубился в морозном воздухе над переполненным загонном, мимо которого в превосходном расположении духа, без умолку болтая и смеясь, спешили двое зверьков. Проведя весь день с Выдром, неутомимые исследователи добрались даже до далекого бескрайнего взгорья, где робко пробивались из земли новорожденные ручейки, чтобы потом, окрепнув, влиться в реку. Теперь путешественники возвращались, тащась напрямик по полям, и хрупкий зимний свет уступал уже место сумеркам, а путь до дома оставался неблизкий. Бредя наугад по пашне, они услышали овец и направились на звук и, обогнув загон, наткнулись на добротню утрамбованную тропинку. Она не просто принесла облегчение натруженным лапам, но, отвечая маленькому пытливному стражу, несущему неусыпную вахту в душе каждого зверя, заявила с полной уверенностью: «Не сомневайтесь, я отведу вас до мой!»

— Похоже, тут где-то неподалеку деревня, — неодобрительно покачал головой Крот и замедлил шаги, когда тропинка, давно уже ставшая тропой и плавно перетекшая в дорожку, сдала их с рук на руки широкому проселочному тракту. Животные не очень-то ладят с деревнями, и их собственные пути, оживленные, с достаточно сильным движением, обычно не совпадают с человеческими и проходят, где им вздумается, не обращая внимания на возникающие порой препятствия — будь то церковь, почта или таверна.

— Брось, ерунда! — отмахнулся Крыс. — Зимой, да еще в такую пору, они все по домам попрятались, наверняка сидят себе у каминов: мужчины, женщины, дети, кошки, собаки — все, одним словом. Мы-то потихоньку проберемся, не волнуясь, ничего не случится, никаких таких неприятностей. А ежели тебе интересно, и в окна заглянем, подглядим, чем они таким занимаются.

Неслышно переставляя лапки по неглубокому рыхлому снегу, путники вышли на главную улицу деревеньки, которую декабрьский вечер сноровисто укутал плотным морозным мраком. Все очертания исчезли, и только справа и слева мерцали оранжевые квадраты: это свет — каминный ли, ламповый — пробивался из каждого домика наружу сквозь створчатые окошки. Низкие, зарешеченные, по большей

части не обремененные шторами, оконца простодушно представляли своих хозяев любопытству случайных прохожих.

Люди, собравшиеся за столом, с головой ушедшие в рукоделие или беседу, хохотали и жестикулировали с тем счастливым изяществом, которое не сразу дается даже самому опытному актеру, с непринужденной грацией существ, не подозревающих, что за ними подсматривают. Выбирая спектакль по вкусу, Крот и Крыс передвигались от зрелища к зрелищу, двое невольных театралов, забравшихся в такую даль от своего дома, — и почти завидовали, когда усталый старик, потянувшись, выбивал трубку, стуча ею по тлеющему полену.

И вдруг одно маленькое окно с опущенными шторами — чистейшее сияющее пятнышко на черном пологой ночи — заставило их затаить дыхание. Зазвучали задремавшие было струны, сердца затрепетали в тоске по дому, по своему уютному, занавешенному миру, защищенному стенами от огромного, полного невзгод и опасностей мира окружающей природы: ведь, отгороженный, он словно переставал существовать. В окне, почти прикасаясь к белой шторе, висела птичья клетка, и четко чернел каждой жердочкой, каждым прутиком ее силуэт, и узнаваемы были все детали, все мелкие подробности — вплоть до несвежего кусочка сахара с оплывшими краями. На средней жердочке, утопив голову в оперенье, примостился пушистый обитатель: казалось, он совсем рядом, чудилось, что можно дотянуться и погладить, стоит только захотеть, — даже нежные, аккуратные кончики распушенных перьев прорисовывались на освещенном экране. Под пристальным взглядом очарованных странников сонный лилипутик беспокойно зашевелился, проснулся, и, встряхнувшись, поднял головку. Он зевнул, показал язычок, дрожащий в глубине крошечного клюва, сучающе осмотрелся и снова зарылся головой куда-то в спину, и взерошенные перья постепенно улеглись и застыли в неподвижности. Резкий порыв ветра мокрым снегом дунул в загрибок, слегка дотронулся ледяным жалом, и путники очнулись и почувствовали, как замерзли пальцы, и как устали лапы, и как еще долго им добираться домой.

Сразу же за деревней, где внезапно кончились постройки, из темноты ударил им в нос дружеский запах полей, и, собравшись с духом для последнего, самого тяжелого броска, Крот и Крыс вышли наконец на финишную прямую, — а прямая эта, как известно, рано или поздно обязательно приводит к дому, к гроыханию дверной щеколды, к озаренным каминным огнем знакомым предметам, которые приветствуют вас как путешественников, бог знает сколько пропадавших за чужими морями.

Друзья брели напрямик, размеренно и молчаливо, и каждый думал о своем. Мысли Крота в основном сосредоточились на ужине — насколько он мог понять в крошечной тьме, места были сплошь незнакомые, оставалось послушно следовать по пятам за Крысом, полностью положившись на его опытность и чутье. Крыс шел немного впереди, по привычке ссутулившись и устремив взгляд на еле различимую впотьмах серую дорогу; конечно, он не заметил, как на бедолагу Крота неожиданно обрушился зов и поразил, словно электрический разряд.

Мы, люди, давным-давно утратили самые тонкие из наших чувств, и даже названий, верных и точных, чтобы описать способы общения зверя с тем, что его окружает — живым или неживым, — у нас не найдется. Слово запах — вот и все, чем мы располагаем, если хотим передать то многообразие изощренных, возбуждающих колебаний, какие день и ночь напролет шелестят в зверином носу, подзывая и предупреждая, подстрекая и отталкивая. Один из этих таинственных, волшебных призывов и дотянулся в темноте до Крота, и заставил вздрогнуть всем телом, и просил знакомым своим голосом, умолял — вспомнить,

откликнуться. Как вкопанный остановился Крот, принохиваясь, направляя чуткий нос во все стороны, пытаясь вновь зацепиться за легчайшую паутинную нить, по которой тек, торопился странно взволновавший его таинственный ток. Через мгновение воспоминания, выйдя из берегов, нахлынули на него оглушительным половодьем.

Дом! Вот что означал этот ласковый зов, эти мягкие касания, приплывшие по воздуху, эти невидимые крохотные ручки, которые теребили и тянули — настойчиво, упорно. Подумать только: он где-то поблизости — его дом, столь поспешно покинутый в первый день встречи с Рекой, старый дом, забытый и преданный! И вот теперь одного за другим отправлял он гонцов и посыльных, чтобы те отыскивали хозяина и вернули на прежнее место.

Удрав наверх в сияющее утро генеральной уборки, Крот до того увлекся распахнувшимися перед ним удовольствиями и сюрпризами новой жизни, ее свежестью и пленительными приключениями, что ни разу не удосужился вспомнить о брошенном жилище. И вот, вызванное из небытия опомнившейся памятью, оно возникло перед глазами — убогое, и тесное, и бедно обставленное, но родное, собственное, построенное своими руками, куда он так любил возвращаться после дневных трудов. Теперь выяснилось, что и дом был очень счастлив в той совместной жизни с Кротом, и скучал по нему, и мечтал о его возвращении, и, взывая к обонянию — самому чуткому и надежному чувству, — упрекал, жалобно, но без тени гнева, без едкой горечи, печально напоминая, что еще существует — и ждет, ждет.

Мольба слышалась совершенно отчетливо, зов звучал настойчиво и внятно — Крот не мог, не имел права пройти мимо.

— Крысик! — заголосил он взволнованно и восторженно. — Погоди! Вернись! Ты мне срочно нужен!

— Давай догоняй, Крот, не отставай! — жизнерадостно отозвался Крыс, продолжая шагать.

— Ради Бога, постой, Крысюшка! — взмолился бедный Крот, держась за сердце. — Ты не понял! Здесь же мой дом, мой прежний дом! Я только что угодил в запахи — он близко, он на самом деле тут, рядом. Мне и уж н о пойти туда, слышишь, нужно, нужно! О, вернись, Крысик! Пожалуйста, пожалуйста, вернись!

Но Крыс был уже далеко впереди, так далеко, что не различал отдельных слов Кротиного вопля, слишком далеко, чтобы услышать зазвеневшие в голосе отчаяние и мучительную боль. Он хмурился, озабоченный состоянием погоды: его нос тоже кое-что чуял, и э т о что-то подозрительно напоминало надвигающийся снегопад.

— Крот, честное слово, ты выбрал не самый подходящий момент для привала! — крикнул он. — Завтра поглядим, что ты там раскопал. Не хочу терять время: уже поздно, и опять пахнет метелью, и вообще — может, я с пути сбился, не знаю. Тащи-ка сюда свой нос, будь умницей, он мне очень пригодится.

И Крыс, не дожидаясь ответа, ускорил шаги.

Бедолага Крот в растерянности стоял посреди дороги, и сердце его разрывалось от горя; и где-то внутри, в глубине, родилось и распухало, распирая грудь, огромное рыдание — и рвалось наружу, и не было сил сдержать его страстный, всесокрушающий напор. Но даже и в эту решительную минуту мысль о том, чтобы изменить Крысу, не приходила ему в голову. А родной дом все дышал на него, и легкие дуновения — молящие, шепчущие, закливающие — становились настойчивее и требовательнее. Крот не посмел задерживаться дольше в этом магическом кольце. Он опустил голову и, уставясь в землю, смиренно потащился по Крысиным следам, и кровоточило его разорванное сердце. А запахи, поблекшие, слабенькие, еще долго преследовали отступающий нюх, укоряя за черствость и бесчувственность и попрекая новой дружбой.

С трудом догнал он ничего не подозревающего Крыса, который тут же принялся оживленно делиться своими планами на вечер, расписывая, как весело запыхают полешки в гостиной и какое блюдо он затеял готовить на ужин. Он не заметил, что товарищ его необычно молчалив и печален. И только отмахав уже порядочное расстояние, когда рошица, окаймлявшая тропу, поредела и на опушке показались пни, он остановился и, мягко улыбнувшись, произнес:

— Послушай-ка, Кротик, братишка, ты чертовски устал, как я погляжу. И язык отнялся, и ноги волочишь, будто они у тебя чугунные. Присядем тут, передохнем минуточку. Снега пока и в помине нет, а мы, считай, почти у цели.

Крот как подкошенный повалился на пенек и скорчился, напрягся, пытаясь остановить неминуемое. Всклип, с которым он так давно боролся, торжествуяще прокладывая себе дорогу — вверх, выше и выше, к воздуху и простору, — а за ним еще один и еще. Нескончаемой вереницей толкались они и пульсировали часто и горячо, и несчастный Крот наконец сдался и зарыдал взхлеб, беспомощно, не скрываясь, оплакивая то, что ушло, едва найденное, потерялось навек.

Крыс, изумленный и напуганный этим неистовым приступом отчаяния, долго молчал, а когда решился заговорить, голос его звучал спокойно и сочувственно:

— Ума не приложу, старина, что с тобой стряслось? Расскажи все по порядку, может, беда твоя поправима.

Рыдания сотрясали Кроту грудь, нахлестывая друг на друга, и судорожные слова, захлебываясь, тонули в яростно булькающих волнах:

— Я знаю, оно убогое и плохонькое... непохожее на твою уютную квартирку... или пышные Жабьи хоромы... или великолепный домик Барсука... но оно мое жилье, мое собственное... и я его любил ужасно... и сбежал, и позабыл... и вдруг учуял... на дороге, когда позвал тебя, а ты не слышал, Крыс... и все прямо обрушилось на меня... а я так хотел увидаться с ним — Боже мой! Боже мой! — и когда ты не откликнулся, Крысик, и мне пришлось бросить его опять, хотя я все время чуял его, — мне казалось, что сердце мое разорвется... Нам надо было пойти туда и просто взглянуть на него, Крыс, — только взглянуть... оно было так близко... но ты не вернулся, Крысик, ты так и не вернулся!.. О Боже, о Боже мой!

От нахлынувших воспоминаний тело бедного Крота забилося в новых содроганиях, и речь его прервалась.

Крыс, глядя прямо перед собой, безмолвно и нежно гладил Крота по плечу. Потом пробормотал, насупившись:

— Теперь все ясно. Ну и по-свински же я себя вел! Свинья — вот кто я такой. Просто свинья — натуральная свинья.

Он снова замолчал и стал ждать и ждал, пока рыдания, поначалу бурные и беспорядочные, мало-помалу не приобрели некоторую равномерность; Крыс подождал еще и, только убедившись, что Крот шмыгает носом все реже и реже, а всхлипывания слабеют и утихают, поднялся на ноги и, беспечно бросив: «Видишь ли, дружище, нам действительно пора трогаться», — развернулся и зашагал обратно по дороге, которую они преодолели с таким трудом.

— Куда ты — ик! — направляешься — ик! — Крысик? — встревожился зареванный Крот.

— Мы собираемся разыскать этот твой дом, старичок, — весело ответил Крыс — так что ты некопайся там очень-то, в поисках без твоего носа не обойтись.

— Ой-ой-ой, Крысь, не надо! — в панике завопил Крот, вскакивая и торопясь следом. — Это бесполезно, правда! Слишком поздно, и слишком темно, и слишком далеко, и скоро начнется метель. Честное

слово, я не хотел, совершенно не собирался распускать нюни и выставлять свои чувства напоказ — это ошибка, Крыс, случайность! Подумай о Речном Береге, об ужине, наконец!

— Пропади он пропадом, Речной Берег — и ужин заодно! — воскликнул Крыс. — Повторяю: я собираюсь найти это место не откладывая в долгий ящик. До утра буду рыскать — а разыщу. Так что выше голову, старина, и давай свою лапу, мы скоро доберемся, обещаю, ты и оглянуться не успеешь.

Сопя и хныча, Крот с неохотой позволил увлечь себя, а неумолимый деспот без умолку молол языком, добывая из тайников памяти все новые и новые забавные истории, и прилагал неимоверные усилия, чтобы скрасить тяготы обратного пути и приободрить своего незадачливого компаньона. Но когда в окружающих сумерках стала угадываться местность, похожая на ту, где Крот чуть не сдался в плен, Крыс, оборвав себя на полуслове, предостерегающе поднял палец:

— Внимание! Прекратить треп! Теперь за дело, Кротик, нюхай и соображай.

Настороженно, молча двигались они в темноте, держась за руки. Внезапно Кротиная шерстка встала дыбом, по телу пробежал легкий трепет, и Крыс, вырвав свою лапу, отпрянул на шаг и замер в немом ожидании.

Здесь пролежала линия связи, здесь суетились неугомонные маленькие посланники!

Крот тоже застыл на месте и, задрав едва подрагивающий нос, исследовал воздух.

Уже через мгновение он метнулся в сторону; промахнувшись, проверил направление — и со следующей попытки, отбросив сомнения, медленно, но уверенно устремился вперед.

Словно лунатик, пересек он высохшую канаву, перелез через изгородь и заковылял по бездорожью необъятного обнаженного поля, и призрачно светили звезды, и Крыс крался за ним, затаив дыхание.

И вот нос, верный, безупречный вожатый, подал сигнал, и Крот провалился под землю, не издав ни звука, а готовый к любой неожиданности Крыс не растерялся и нырнул следом.

Туннель был узким и довольно длинным, в спертom воздухе стоял крепкий земляной дух, и минула, казалось, целая вечность, прежде чем Крысу удалось распрямить затекшую спину, встряхнуться и потянуться как следует. Крот чиркнул спичкой, из мрака выступили очертания просторного помещения с чисто выметенным и даже посыпанным песком полом, а прямо напротив обнаружилась дверца, маленькая парадная дверь Кротиного жилища с надписью готическим шрифтом «Кротий Турик» и болтающимся сбоку шнурком от звонка.

Крот снял с гвоздя фонарь, зажег его, и хорошенько осмотревшись, Крыс сообразил, что попал в передний двор. Рядом с дверью разместилась скамья, а с другой стороны — садовый каток: Крот, чистюля и аккуратист, терпеть не мог, когда посторонние животные вспарывали его землю тропами и коридорчиками, да еще с земляными нахлобучками на выходе. По стенам были развешаны папоротники в проволочных корзинах, а между ним на солидных подставках красовались гипсовые статуи королевы Виктории, Гарибальди и разных прочих знаменитостей современной Италии. Во всю длину двора тянулся кегельбан, уставленный лавочками и деревянными столиками, и темные круги на дощатой поверхности доверительно подсказывали: здесь не обошлось без пивных кружек. В середине поблескивал небольшой круглый прудик с золотыми рыбками, выложенный раковинами по краям, а слегка сместившись от центра, из него выростало причудливое сооружение, тоже одетое ракушками и увенчанное изрядных размеров посеребрен-

ным стеклянным шаром, который радовал глаз неожиданностью забавно искаженных отражений.

Крот при виде этих родных и милых его сердцу предметов расплылся в блаженной улыбке, проводок Крыса дальше, через дверь, зажег лампу в прихожей и обвел взглядом свой старый дом. Уныло глянуло в ответ заброшенное неприбранное жилье, подернутое толстым слоем пыли, жалкое, тесное, набитое ветхими, обтрепанными вещами, — и улыбка сползла с его лица. Он рухнул на стул и зарылся лицом в лапы.

— Кры-ыс! — тоскливо заскулил он. — Зачем мне это только пришло в голову? Чего ради приволок я тебя в такое холодное, убогое место — глухой ночью, Крысик! Ты бы давным-давно добрался до Берега, ты бы уже грел пяточки у пылающего камина, среди своих вещей и вещицек, таких обихожанных и уютных!

Но Крыс пропустил эти горячие стенания мимо ушей. Он был ужасно занят. Он носился по дому, распахивая настежь двери, обследуя комнаты и шкафы, и зажигал лампы и свечи, и расставлял их повсюду.

— Экий замечательный у тебя домишко! — оживленно сообщил он. — Ничего лишнего — отличная планировка. А все необходимое, наоборот, тут как тут — да под рукой, да в образцовом порядке. И мировую же ночьку мы здесь проведем. Первым делом надо развести огонь. Огонь я возьму на себя: я ведь мастер разыскивать всякие штуковины. А тут, выходит, гостиная? Дивно! Это ты сам придумал — коечки приделать к стене? Потрясающе! Слушай, я притащу дровишки и уголь, а ты раздобудь тряпку, Крот, — по-моему, они в ящике кухонного стола — и попробуй немножко прибраться. Не тяни времечко, старина!

Вдохновленный бодрими призывами, Крот встрепенулся и ринулся на сражение с пылью, в упоении размахивая тряпкой и до блеска натирая потускневшую мебель. Крыс охапками таскал топливо, скоро в трубе весело и ровно загудело, и он окликнул Крота, приглашая погреться. Но Крот снова захандрил: в глубоком отчаянии бросившись на койку, он уткнулся носом в тряпку и запричитал:

— Крыс, бедняжка! Что же будет с твоим ужином — продрогший, голодный, усталый ты зверь?! Мне нечем тебя угостить — нечем, слышишь? — даже крошки не найти!

— Нельзя так легко сдаваться, — с упреком покачал головой Крыс. — И вообще, не мели чепуху: я только что видел открывашку для сардин — на столе на кухне — не могло же мне померещиться! А это, как всем известно, означает, что и сами сардины найдутся где-нибудь поблизости. Ну-ка, встряхнись, возьми себя в руки, и пойдем поищем, чем поживиться.

И они отправились на промысел. Искали усердно, обшаривая каждый шкаф, выдвигая каждый ящик. Добыча оказалась не слишком скудной, хотя, наверное, могла бы быть и поразнообразнее: баночка сардин, почти полная коробочка сухариков — и немецкая колбаса, завернутая в папиросную бумагу.

— Вот, это, я понимаю, пир, — отметил Крыс, накрывая на стол. — Некоторые — я знаю, что говорю, — дорого дали бы за честь поужинать вместе с нами.

— Хлеба нет! — скорбно застонал Крот. — Масла нет! Даже...

— Подумать только — шампанского тоже нет и — ах! — паштета из гусиной печенки! — ухмыляясь, продолжил Крыс. — Кстати, ты мне кое о чем напомнил: что это за дверка в конце коридора — не твой ли, случайно, винный погребок? Так ты у нас любитель красивой жизни! Минутку...

Он исчез за маленькой дверцей и тут же вернулся, слегка запыленный, зажав в лапах по бутылке пива и еще по одной запихнув под мышку.

— Да-а, плутишка, ты ни в чем себе не отказываешь! — хохотнул он. — Ты просто раб собственных желаний. Давненько я не бывал в таких восхитительных местах. Ого, а где ты достал эти гравюры? Чертовски уютный у них вид. Теперь понятно, почему ты так любишь свой дом. Выкладывай — как ты обустроивал его, Кротишка?

Он озабоченно расставил тарелки, принес вилки с ножами и, взбив в рюмочке для яиц горчицу, расположил ее в самой середине стола. А Крот, хотя его грудь и продолжала вздрагивать от недавних рыданий, принялся рассказывать — стесняясь поначалу, но постепенно, воодушевляясь собственной повестью, все более непринужденно: как он планировал то и задумывал это, как неожиданно-негаданно свалилось на него наследство от тети, как повезло ему однажды с удачной сделкой — и потом еще раз, когда прямо на улице он нашел замечательную вещичку, — но и как приходилось экономить, изворачиваться, пребываясь буквально с хлеба на воду, чтобы сделать определенные покупки. Окончательно взбодрившись, он почувствовал настоятельную необходимость как-то приголубить свои владения, схватил лампу и увлек гостя на экскурсию и сам до того увлекся, похваляясь красотами и достопримечательностями, что совсем позабыл об ужине, в котором так остро нуждались оба зверька. Крыс, сиюсья скрыть безумный голод, серьезно кивал, наморщив лоб, разглядывая стены и мебель и в паузах глубококоммысленно замечал: «Дивно!» — или: «Просто удивительно!»

В конце концов оратора удалось приманить к столу, но лишь только Крыс вонзил открывашку в сардинную банку, как странный шум привлек его внимание. Звуки доносились со двора — шорох, напоминающий шарканье крохотных ножек по гравию, и неразборчивый гомон писклявых голосков, из которого время от времени вырывались обрывки предложений:

— Ну-ка, всем построиться... Томми, подними фонарь повыше... горлышки прочистить... когда скажу «раз, два, три»... не кашляйте! А где малыш Билл?.. Эй, давай быстрее, тебя только и ждем...

— Что, собственно, происходит? — поднял брови Крыс, замерев с открывашкой в руке.

— Это, должно быть, полевые мышки, — приосанившись, объяснил Крот. — Теперь ведь как раз время Рождественских песен, вот они и обходят всех: так уж тут заведено. И всегда заглядывают ко мне — Кротий Тулик вроде как оставляют напоследок — я им обычно наливал горяченького попить, а если позволяли средства, то и ужином угощал. Сейчас они запоют, и все станет, как прежде...

— Бежим скорее, посмотрим на них! — вскакивая, закричал Крыс и понесся к двери.

Славную декабрьскую картину увидели они, распахнув дверь. Во дворе, освещенном тусклыми лучами фонарика, полукругом стояли восемь или десять полевых мышат с красными шерстяными шарфами на шейках, их передние лапки были глубоко засунуты в карманы, а ноги приплясывали, чтобы согреться. Они робко переглядывались блестящими бусинками глаз, сдавленно хихикали и шмыгали носами, употребляя рукава своих пальтишек вместо носовых платков. Когда открылась дверь, мышонок с фонарем, казавшийся чуть постарше прочих, командовал: «Раз, два, три!» — и пронзительные тоненькие голоса взмыли в воздух, и зазвенел старинный святочный гимн, сочиненный предками, — посреди вспаханных под пар и прихваченных морозом полей, а может, наоборот, в тепле у каминов, куда загнала их неласковая ме-

тель, — и с тех пор передававшийся из поколения в поколение, чтоб всегда петь его на Рождество, стоя в грязи и слякоти под освещенными окнами.

СВЯТОЧНЫЙ ГИМН

Все, кто зимой здесь, в деревне, живет,
Сдвиньте засовы с дверей и ворот!
Снег к вам ворвется и ветер с дождем —
Вы все равно пригласите нас в дом,
Мы вам обещаем Веселье.

Свет вашему дому и мир очагу
Несем издалека — блуждали в снегу,
Дошли и вот зябнем и топчемся тут;
А там, у вас в доме, тепло да уют,
И в дверь к вам стучится Веселье.

К полуночи миру явилась Звезда —
Внезапно, — она и вела нас сюда.
Блаженство-Звезда и Звезда-Благодать
Явились, чтоб нам Благодать даровать
И каждому утру Веселье.

По снегу бредя, увидел он сквозь снег
Над хлевом Звезду; добрый тот человек
Иосифом звался. В ту зимнюю ночь
Марии идти было дальше невмочь,
А утром ей было Веселье.

Ибо сказали: кто первыми Весть
Нам объявили? Живущие здесь
Божии твари. И Голос им был:
Всех бессловесных Он благословил
Как приносящих Веселье.

Голоса стихли, певцы, смущенно улыбаясь, украдкой косились друг на друга, и на мгновение наступила тишина. И тогда откуда-то сверху, пролетев сквозь туннель, по которому путешествовали они в столь поздний час, полился приглушенный расстоянием мелодичный гул: это далекие колокола ликующе и звонко вызванивали праздник.

— Ну молодцы, мальчишки! — восхитился Крыс. — А теперь заходите, погретесь у огонька, выпьете чего-нибудь — смелее, смелее!

— Вот именно: проходите в дом, полевые мышатки, — восторженно поддержал его Крот. — Тряхнем стариной! Закрой за собой дверь, пожалуйста. А вы двое — подвиньте-ка эту скамейку поближе к огню. И подождите немножко, пока мы. . . О Крыс! — взвизгнул он в панике и, обмякнув, осел на стул. На глазах у него закипали слезы. — Мы с ума сошли! В доме-то — шаром покати!

— Предоставь это мне, — снисходительно похлопал его по плечу Крыс. — Эй малыш с фонарем, поди сюда! У меня к тебе дельце. Вспервых, докладывай, как у вас тут насчет магазинов — не поздно еще?

— О, разумеется, нет, сэр, — почтительно ответил мышонок. — По-моему, в это время года они вообще не закрываются.

— Тогда слушай внимательно, — наклонился к нему Крыс. — Отправляйтесь — на пару с фонарем — немедленно, не теряя ни минуты, и принесите мне. . .

Он понизил голос, и Кроту, как он ни наострял уши, не удалось разобрать больше ничего, кроме дразнящих аппетит и любопытство разорванных фраз:

— Непременно свежая... нет, фунта будет достаточно... запомни, только от Биггинса, я другой не ем... конечно, самый лучший... сбегай в другую лавку, если у них кончился... ну, естественно, по-домашнему, никакой консервированной дряни... постарайся, покажи нам, на что ты способен!

Монетки, позвякивая, пересыпались из лапы в лапу, и мышонок, снаряженный вместительной корзиной для покупок, отправился в путь вместе со своим фонарем.

Остальные полевые мыши примостились рядком на скамейке, свесили крохотные ножки и, подставляя себя огню, наслаждались теплом, пока не замельтешили в обмороженных конечностях иголки блаженной, сладостной боли. Крот, потерпев неудачу в попытке склонить их к необязательной светской беседе, вынужден был углубиться в лабиринты семейной истории и, прилежно кивая, вслушивался в имена бесчисленных братьев, пока еще слишком юных для участия в Рождественских песнопениях и с нетерпением ждущих будущего года, чтоб получить вождеденное родительское соизволение.

Крыс тем временем сосредоточенно изучал ярлык на одной из пивных бутылок. Внезапно лицо его просияло.

— Да это никак Старый Бертон! — хмыкнул он. — Умница, Кротик! Именно то, что нужно. Теперь-то никто не помешает нам подогреть капельку эля. Сделай милость, приготовь тут все, а я пробки вытащу.

Наполнив жестянку пивом, они бережно засунули ее в раскаленную сердцевину огня, и вскоре каждый полевой мышонок, получив свою порцию, уже прихлебывал и отчаянно кашлял, поперхнувшись (потому что с подогретым элем шутки плохи!), и хохотал, утирая брызнувшие слезы, напрочь позабыв о том, что на свете существует холод.

— Они и в театре представляют, эти ребяташки, — с гордостью сказал Крот. — Сами сочиняют и играют сами, — между прочим, у них здорово получается! В прошлом году, к примеру, показывали чудную пьесу — про полевого мыша, которого захватил в плен Берберейский пират, увез в море и заставил грести на галере, а потом он совершил побег, и вернулся на родину, и обнаружил, что его возлюбленная ушла в монастырь. Постой-постой, тебя я помню, дружок, ты участвовал в спектакле. Встань, подекламируй нам немного.

Зверенок поднялся, стыдливо хихикнув, посмотрел по сторонам — и начисто лишился дара речи. Поднялся шум: полевые мышатки хором пытались вдохнуть мужество в своего товарища, Крот уговаривал и ободрял, а Крыс даже схватил бедолагу за плечи и крепко встряхнул — ничто не смогло преодолеть его страха перед публикой. Злощастного актера тормозили еще некоторое время, и только лязг щеколды прекратил это бессмысленное занятие. В дверях возник мышонок с фонарем, пошатывающийся под тяжестью корзины. Как только ее содержимое — весьма солидное и основательное — вывалили на стол, театр был немедленно забыт. Крыс взял на себя командование, поручив каждому посылное дело, и через несколько минут Крот занял место во главе стола и, не веря своим глазам, разглядывал готовый ужин, призывно и изобильно расположившийся на недавно еще совершенно голых и унылых досках. Он увидел, как маленькие личики его гостей засветились радостью и восторгом, как жадно набросились они на ароматные кушанья, — и тогда тоже дал себе волю, потому что умирал от голода, и вдоволь вкусил столь волшебным образом явившейся пищи, и никак не мог поверить, что и вправду так

счастливо закончилось его возвращение домой. Пируя, вспоминали старые добрые времена; полевые мыши поделились самыми свежими сплетнями здешних мест и старательно ответили на сотни вопросов, без которых никак нельзя было обойтись. Крыс говорил мало, больше молчал и следил только, чтоб каждый получил в избытке свое излюбленное блюдо и чтобы Крот ни о чем не тревожился.

Наконец гости, тысячу раз поздравившие хозяев с праздником, галдя и топая ножонками, удалились, очень довольные, с карманами, набитыми мелкими подарками для оставшихся дома младших братьев и сестер. Когда за последним из них затворилась дверь и дребезжание фонарей затихло вдали, Крот и Крыс подбросили в огонь пару полешек, придвинули поближе стулья и, подогрев себе по последнему стаканчику эля, пустились в обсуждение событий этого долгого-преддлого дня. В конце концов Крыс с чудовищным зевком промямлил:

— Кротинька, старина, я, кажется, больше ни на что не гожусь. Засыпаю — просто не то слово. Там твоя койка? Отлично, значит, я занимаю эту. Классный у тебя дом — все под рукой!

Он забрался на койку, завернулся в простыню, и дремота в тот же миг подхватила его, словно жатка — сноп ячменя.

Усталый Крот тоже не имел ничего против безотлагательного отхода ко сну, и скоро голова его лежала на подушке, слегка кружась от удовольствия и удовлетворения. Прежде чем закрыть глаза, он обвел ими комнату, мягко освещенную отблесками пламени, играющими на знакомых вещах, которые, так долго и так строго храня тайну, составляли с ним одно целое, а теперь с приветливой улыбкой принимали обратно и не держали зла. Весь вечер Крыс прилежно и незаметно гнул свою линию, и Крот наконец пришел в надлежащее настроение: он ясно понял, каким незатейливым и простым, чуть ли не примитивным было его существование, но и как много значило оно, и как важно в принципе иметь надежное убежище, проверенный, постоянный приют. Он не собирався, отвернувшись от солнца и воздуха и предлагаемых ими соблазнов, ползком вернуться восвояси, — могучий зов верхнего мира был слышен даже здесь, и Крот знал, что рано или поздно снова выберется наверх, из укромного убежища на широкую сцену большой жизни. Но до чего же приятно было чувствовать, что есть на свете местечко, где все принадлежит тебе и радо тебе и где всегда можно рассчитывать на незатейливое, но искреннее гостеприимство.

(Продолжение следует)

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Дмитрий Геннадьевич ШЕВАРОВ (1962), выпускник Уральского государственного университета (1984), спецкор «Комсомольской правды». Статьи и очерки публиковались в журналах «Смена», «Урал».

Наталья Сергеевна АРИШИНА. Окончила Литературный институт им. Горького. Стихи публиковались в журналах «Москва», «Огонек», альманахе «День поэзии». Книги: «Терновник», М., СП, 1983; «Зимняя дорога», М., Современник, 1985.

Дмитрий Николаевич ГОЛУБКОВ (1930—1972). Поэт, прозаик. Основные книги: «Влюбленность», 1960; «Отцовский табак», 1966; «Светаёт», 1968; «Человек, как звезда, рождается», 1968; «Милёля», 1969; «Белый свет», 1972; «Недуг бытия», 1974, 1981, 1987.

Юрий Павлович КАЗАКОВ (1927—1982), прозаик. Основные книги: «Арктур — гончий пес», 1958; «Голубое и зеленое», 1963; «Двое в декабре», 1966; «Осень в дубовых лесах», 1969, 1983; «Во сне ты горько плакал», 1977; «Северный дневник», 1961, 1973.

Владимир Николаевич ЛЕОНОВИЧ (1933), поэт. Основные книги: «Во имя», М., СП, 1971; «Нижняя дебря», М., СП, 1983; «Время твоё», Тбилиси, Мерани, 1986.

Валерий Михайлович ПИСКУНОВ (1949). Автор четырех книг в жанре научной фантастики. Рассказы публиковались в журналах «Знамя» и «Согласие», повести — в «Новом мире»: «Чью душу жалеете», 1991, «По роду их», 1993.

Ольга Юрьевна ЕРМОЛАЕВА, автор трех поэтических сборников: «Настасья», М., Молодая гвардия, 1978; «Товарняк», М., Молодая гвардия, 1984; «Юрьев день», М., СП, 1988.

Наталья Анатольевна ЛАВРЕЦОВА, работник музея в Пушкинских горах.

Валерий Алексеевич АЛЕКСЕЕВ (1939), прозаик. Основные книги: «Светлая личность», М., Молодая гвардия, 1968; «Прекрасная второгодница», М., Молодая гвардия, 1989. Повесть «Сон золотой» публиковалась в журнале «Согласие» в 1992 году.

В. КАРДИН (1921), критик, прозаик. Основные книги: «Достоинство искусства», М., Искусство, 1967; «Обретение. Литературные портреты», М., Худ. лит., 1989; «Открытый фланг», М., СП, 1989.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Вацлав МИХАЛЬСКИЙ
Алла МАРЧЕНКО
(зам. главного редактора)
Светлана БУЧНЕВА
(отв. секретарь)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.

Подписано к печати 20.05.93. Рег. № 01872 от 10.12.92 г.
Формат 70×108^{1/8}. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Физ. печ. л. 14,0. Тираж 5000 экз. Заказ 1634. Цена договорная
Производственно-издательский комбинат ВИНИТ,
140010, Люберцы 10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,
редакция — 235-14-10
Корректоры *С. И. Горшунова, В. Н. Крылова*

© Журнал «Согласие», № 5, 1993

В 1993 г. ЖУРНАЛ ОПУБЛИКУЕТ:

Роберт Штильмарк.

ГОРСЬ СВЕТА. *Роман.*

Виктор Соснора.

БАШНЯ. *Роман.*

Петр Алешковский.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ВАСИЛИЯ ТРЕДИАКОВСКОГО. *Роман.*

Антуан де Сент-Экзюпери.

ЦИТАДЕЛЬ *Пер. с франц.*

Дерек Картун.

ПРОГУЛКА С ДАМОЙ НА БОЛЬШУЮ ВОЙНУ.

Роман. Пер. с англ.

Кеннет Грэм.

ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман для детей. Пер. с англ.*

В «Согласии» будут напечатаны также новые произведения Т. Бек, А. Будникова, Ю. Кашкарова, А. Кушнера, Л. Миллер, О. Павлова, В. Соколова, А. Терехова и др. прозаиков и поэтов.

В разделе публикаций будут представлены: «Эпистолярный портрет» В. Г. Короленко; неизвестный очерк Георгия Иванова «По Европе на автомобиле»; воспоминания В. Петрова о Михаиле Кузмине и др.

Будет продолжена публикация воспоминаний Марины Тарковской «Осколки зеркала».

Критические рубрики в журнале постоянно ведут Лев Аннинский, В. Кардин, Алла Марченко.

SUMMARY

«Dreams of Something More», an essay by Dmitry Shevarov, an artistic research into the peculiarities of Russian provinces, opens the 5-th (22-d) issue of «Soglasye».

The same theme develops from the short story «Vityok Salomatin» by a fashionable prose-writer Valery Piskunov — through all the poems of the issue — and finally in the documentation «In a German Town» by Valery Alekseyev, a writer, who presently teaches Russian literature in the Bochum University.

We continue the publication of the novels: «A Handful of Light» by Robert Shtilmark, «The Citadel» by Antoine de Saint Exupery, «The Wind in the Willows» by Kenneth Grahame and the documentary narration about Anton Chekhov by Alevtina Kuzicheva.

The regular author of our new heading «Out of the Context» is V. Kardin, a well-known literary critic and journalist.

The central place of this issue take «The Abramtsevo Diaries» written by Dmitry Golubev, a poet and proseman who shot himself in his countryside house nearly 20 years ago, when the Stagnation was at its height. The literary works which accompany «The Diaries» (the short story «The Illness» by Yevgeny Shklovsky and the essay «Kazakov's Call» by Lev Anninsky) will explain the reader that the mystery of this suicide still worries people who happened to know Mitya Golubev.

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1993, № 5

РЕДАКЦИОННО–ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексей,
А.М.Адамович, Г.П.Алференко,
В.С.Алхимов, В.М.Борисов,
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков